

Д. И. ГРАЗКИН

Воспоминания  
старого  
большевика

# ЗА ТЕМНОЙ НОЧЬЮ ДЕНЬ ВСТАВАЛ...

Д. И. Гразкин —  
член РСДРП с 1909 г.,  
вожак солдатских масс,  
редактор «Окопной правды»  
в годы империалистической  
войны член ВЦИК  
после Великого Октября.  
Ему было тогда 26...

ПОЛИТИЗДАТ

Д. И. ГРАЗКИН

**ЗА ТЕМНОЙ  
НОЧЬЮ  
ДЕНЬ  
ВСТАВАЛ...**

---

Воспоминания  
старого  
большевика

Издание  
второе

Москва  
Издательство  
политической  
литературы  
1982

Литературная запись *Н. М. Мора*

**Гразкин Д. И.**

**Г75** За темной ночью день вставал...: Воспоминания старого большевика.— 2-е изд.— М.: Политиздат, 1982.— 271 с.

Рабочим-подростком Д. И. Гразкин познакомился с большевиками Петербурга, юношей стал профессиональным революционером, изведal трудности подполья, аресты, тюремную одиночку, не раз бежал из ссылки.

В первую мировую войну его мобилизуют в армию, отправляют на фронт. Он — один из организаторов и ответственный редактор знаменитой «Окопной правды».

В воспоминаниях Д. И. Гразкина читатель найдет интересный рассказ о трех русских революциях, о борьбе большевиков за армию, об участии автора в работе всероссийских крестьянских съездов, о встречах и беседах с В. И. Лениным, о работе во ВЦИК и в ВЧК.

Книга адресована массовому читателю.

Г  $\frac{0902020000-184}{079(02)-82}$  93—82

66.61(2)2  
ЗКП1

© ПОЛИТИЗДАТ, 1975 г.

С Дмитрием Ивановичем Гразкиным мне впервые пришлось встретиться в 1956 году. В Центральном партийном архиве Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС готовился тогда сборник «От Февраля к Октябрю» — обстоятельные анкеты активных участников Великой Октябрьской социалистической революции, заполнявшиеся ими по просьбе Истпарта в 1927 году. Среди них была и анкета Д. И. Гразкина. Мы разыскали его адрес, телефон, созвонились — и на следующий день в точно указанное им время Дмитрий Иванович пришел в институт.

У историков (да и не только у них) часто случается так, что с тем или иным человеком они сначала неоднократно встречаются в документах, и лишь потом происходит очное их знакомство. Так было и на сей раз.

Д. И. Гразкин был человеком необычайно интересной судьбы, он активно участвовал в трех русских революциях, встречался и беседовал с В. И. Лениным, с рядом других выдающихся деятелей большевистской партии и Советской республики. Для тех, кто внимательно изучал деятельность Петербургской организации большевиков в годы реакции и в период нового революционного подъема, или работу большевиков в армии во время первой мировой войны и в семнадцатом году, или первые шаги социалистического строительства, фамилия Гразкина о многом говорила...

И вот — первая встреча. В комнату вошел человек небольшого роста, в синем полувоенном френче, в зубах прокуренная трубка; у него совершенно седая голова и удивительно живые, с эдакой мужицкой лукавинкой глаза. Он внимательно перечитал довольно обширную анкету<sup>1</sup>, почти тридцатилетней давности, с минуту помолчал, а потом несколько удивленно сказал: «Вот уж не думал, что и это сохранилось».

Тут-то и начался старый, как, наверное, сама история, спор о сравнительной ценности архивных документов и мемуаров. Кто-то из нас, архивистов, бросил реплику: дескать, для периодов, о которых сохранился достаточно широкий круг документальных источников,— для таких периодов воспоминания, особенно написанные много лет спустя после событий, не представляют значительной ценности... Последовал короткий вопрос Дмитрия Ивановича: «Вы каким периодом занимаетесь?» И, услышав ответ, начал: «А помните эту историю с типографией?..» И полился изумительно живой, захватывающе красочный рассказ.

Рассказчик он был удивительный. Говорил так, будто перед ним сидели его ровесники, с которыми он вместе переживал памятные события.

Мне казалось, что историю подпольной питерской большевистской типографии 1909 года, в которой работал также и Гразкин, я знал неплохо, во всяком случае смог бы сразу ответить на вопросы: что? кто? где? когда? Но в изустном рассказе Дмитрия Ивановича было и другое, нам неведомое, именно: живые персонажи с их привычками, мыслями и эмоциями, ощущался осенний сырой ветер, гулявший по улицам и проходным дворам Питера, возникали комичные и драматические ситуации. История, точнее знакомая схема, костяк исторического факта, на наших глазах обростала живой плотью.

---

<sup>1</sup> В книге она занимает свыше 12 страниц (см.: От Февраля к Октябрю (Из анкет участников Великой Октябрьской социалистической революции). М., 1957, с. 121—133).

О себе он говорил как-то между прочим, даже немало иронически. Например, о раскрытии типографии и первом аресте: «Дело такое, можно сказать, «историческое», а мне спать хочется. Который уж день до поздней ночи на ногах! Свалился на койку, в чем был. Вдруг слышу, стучат, барабанят в дверь...» О событиях чуть ли не полувековой давности он рассказывал так, будто они произошли с ним сегодня утром, может быть, по дороге к нам в архив, или, по крайней мере, вчера.

Затевавшийся было в начале разговора спор о ценности мемуарных источников по сравнению с архивными решился сам собою... Когда Дмитрий Иванович кончил свой рассказ, мы все хором заговорили: «Вы должны, обязаны написать обо всем этом», а он все с той же лукавинкой отвечал: «Что ж, как-нибудь напишу». И так повторялось при каждой новой встрече, пока наконец мы не услышали: «Уже пишу...»

В 1958 году появилась книга Д. И. Гразкина об «Окопной правде», в 1962 году издательство «Детская литература» выпустило небольшую его книжку, популярный рассказ для детей «Путь в партию». Теперь перед читателем — посмертное издание обширной работы Дмитрия Ивановича «За темной ночью день вставал...». Увы, сам автор уже не сможет взять в руки и раскрыть книгу своих воспоминаний<sup>1</sup>.

Эту книгу писал, отчасти диктовал человек преклонного возраста, безнадежно больной. Он знал об этом. Но ни тяжелый груз пережитого, ни больничная палата, ни почти полностью утраченное зрение не погасили оптимизма, жизнелюбия старого рабочего-революционера, не сломали его убежденности в правоте и победе наших великих идеалов. Его книга радуется прежде всего своей бодростью, сочностью языка, светлым звучанием, верой в человека труда, в Коммунистическую партию, которой он отдал всю свою жизнь.

---

<sup>1</sup> Д. И. Гразкин скончался в марте 1972 года. Похоронен на Ново-Девичьем кладбище.

Гразкин написал воспоминания о своей юности и молодости. В 1905 году его, малограмотного и малосознательного подростка, захватила, увлекла за собою революционная стихия. Два года спустя, шестнадцатилетним юношей, он уже сознательно вступает в большевистский кружок и ревностно исполняет поручения организации. С 1909 года он не только фактически, а уже и формально член РСДРП. Иначе говоря, Дмитрий Иванович принадлежал к тем рабочим, которые влились в партию большевиков в пору самой жестокой реакции, когда трусы, малoverы, ренегаты бежали из лагеря революции. Проходит еще несколько лет, и в тяжкие годы мировой империалистической войны Гразкин действует на фронте; вожак солдатских масс, он становится популярным человеком как страстный оратор, агитатор, организатор, редактор «Окопной правды». В 1917 году он возглавляет большевистскую организацию XII армии, делегатом от солдат-крестьян участвует во Всероссийских крестьянских съездах, встречается с В. И. Лениным и Я. М. Свердловым, а после Октябрьской революции избирается членом первого советского парламента — ВЦИК, переводится в столицу на работу в главном органе Советской власти.

Сколько же ему тогда было? Двадцать шесть лет! Возраст нынешних комсомольцев. Вот еще одно подтверждение давних ленинских слов: да, мы — партия молодых.

Мемуары Д. И. Гразкина «населены» множеством персонажей. Последовательные марксисты и трусливые оппортунисты... забастовщики и бойцы баррикад... рабочие и деревенские мужики... студенты и солдаты... жадные хозяйчики и кровососы приказчики... штрейкбрехеры и провокаторы... чины полиции и жандармерии... опустившиеся актеры и обитатели ночлежек... Подростком он оказался в самой гуще этой «смеси одежд и лиц». Попробуй-ка разберись в эдаком людском калейдоскопе! Попробуй решить, самостоятельно решить, кому верить, а кому не верить, за кем пойти,

а с кем тебе не по дороге. Гразкин решил, и решил правильно.

Конечно, этот выбор он сделал не в вакууме, а в насыщенной революционным электричеством атмосфере пятого года. Конечно, сказались и пролетарская среда, к которой он, «мальчик» из пекарни, чернорабочий, всей душой тянулся, и умные, сердечные наставники, которых он встречал на своем жизненном пути. Но проявился и собственный характер, свободолюбие, лютая ненависть к злу, жестокости, хамству, горячее стремление к знанию, к общественной деятельности, к социальной справедливости.

Если первым «университетом» автора было пребывание «в людях», то вторым и главным — работа в питерской большевистской организации. Именно в ней он получил революционное «крещение», воспитание, закалку, именно в ней прошел суровую школу большевистского подполья. Эта школа дала ему не только знание основ марксистской теории и политики, умение самостоятельно анализировать сложные общественные явления и ситуации, не только помогла овладеть приемами и навыками конспиративной работы. Она еще сформировала Гразкина как личность, окончательно определила его характер, его нравственный облик.

Известно, что личную честность, честность с самим собой, В. И. Ленин считал важной, неотъемлемой чертой каждого революционера. Это ленинское высказывание невольно вспомнилось, когда уже после смерти Гразкина я листал документы партийной чистки 1921 года. Ветераны партии хорошо помнят ее. Тогда избавлялись от примазавшихся к РКП(б) карьеристов и мазуриков, от «закомиссарившихся» бюрократов и прочих непартийных, «чуждых» элементов. На открытые партийные собрания приглашались беспартийные рабочие и крестьяне, и в их присутствии — открыто, гласно — шла чистка. Выступавшие, глядя своим товарищам прямо в глаза, откровенно говорили об их недостатках, промахах, ошибках, проступках.



Передо мною отзывы коммунистов, знавших Д. И. Гразкина, кто по подполью, кто по семнадцатому году, кто по работе после Октября. Прочитую лишь некоторые отзывы. Как в них во время партийной чистки характеризовали Дмитрия Ивановича?

Первый товарищ: «За время революции (Гразкин.— В. Л.) занимал ответственные должности в разных областях. Ничем не изменился как коммунист, в личной жизни, будучи скромным, безусловно честный». Второй товарищ: «Занимая целый ряд ответственных постов... сохранил пролетарски-революционную чистоту нравов». Еще один товарищ: «Вся его деятельность протекала на моих глазах. В ней совершенно отсутствуют элементы честолюбия, карьеризма и т. п. ...Человек исключительной честности, прямоты, искренности. Его преданность рабочему делу безгранична. Трудно представить себе такой случай, когда бы т. Гразкин мог «закомиссариться», зарваться, увлечься личными целями... В этом смысле т. Гразкин может считаться образцом честности и чистоты»<sup>1</sup>.

Ну, а где же о недостатках? Неужели Гразкин был их начисто лишен? Нет, разговор шел и об этом. Товарищи упрекали его в недостаточной «житейской гибкости» и в «чрезмерной прямоте»... Остается вспомнить не раз повторявшийся Лениным афоризм: наши недостатки суть продолжение наших достоинств...

Мемуары Д. И. Гразкина нередко рассказывают и о таких событиях, которые известны читателю по монографическим исследованиям и по издававшимся ранее воспоминаниям видных партийных и государственных деятелей. Однако книга «За темной ночью день вставал...» отнюдь не повторяет прежние издания. Она принадлежит перу человека, который до 1917 года был рядовым партийным функционером. Это обстоятельство и определяет особенности его мемуаров, специфиче-

---

<sup>1</sup> Центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма, ф. 124, оп. 1, д. 514, л. 5, 5 об., 6 об.

скую — как бы «снизу», от массы — точку зрения на события, которые автор видел и в которых участвовал.

В этой связи уместно напомнить одну мысль В. И. Ленина. Говоря в 1904 году об организации большевистской газеты «Вперед», он особо подчеркнул необходимость обеспечения ее корреспонденциями рабочих, рядовых членов партии. «Очень и очень часто бывает,— писал Владимир Ильич,— что особенно интересны письма сравнительно «сторонних» (удаленных от комитетов) людей, более *свежо* воспринимающих многое такое, что слишком привычно и упускается из виду опытным старым работником»<sup>1</sup>.

Прочтите в книге Гразкина хотя бы зарисовки глухой русской деревушки, или быта рабочего люда Санкт-Петербурга, или эпизоды повседневной будничной подпольной работы большевиков, описания стачек, демонстраций, массовок, вербовки рабкоров для «Звезды» и «Правды», бесед с солдатами в окопах и землянках, и вы поймете, что именно имел в виду Ленин.

Дмитрий Иванович Гразкин принадлежал к числу рабочих, наделенных острой наблюдательностью, высоко развитым чувством партийности, свежо воспринимавших противоречивую действительность, умевших мыслить самостоятельно и смело. Не случайно поэтому, что мысли его, выношенные зимой 1920/21 года в захолустной волости, изложенные по возвращении в Москву в письме для ВЦИК и ЦК РКП(б), столь заинтересовали В. И. Ленина. Прочитав письмо, Владимир Ильич пригласил Гразкина. В кремлевском кабинете Ленина состоялась долгая беседа о крестьянских настроениях и нуждах, об экономическом положении послевоенной деревни, о мерах, которые следовало бы предпринять. Впрочем, читатель узнает об этом из последней главы книги.

Работая над своими воспоминаниями, автор сверял память с партийными документами, с печатными и

---

<sup>1</sup> Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 9, с. 108.

архивными источниками, нигде, однако, не нарушая строй и ход живого рассказа, идущего от первого лица.

Когда Дмитрий Иванович бросил фразу: «Уже пишу...», литературные планы его были обширны. В данной книге Гразкин упоминает о своей деятельности после Великой Октябрьской социалистической революции: работа в ВЧК под руководством Ф. Э. Дзержинского, работа в Реввоенсовете республики, в Наркомате путей сообщения, учеба на курсах марксизма Коммунистической академии, затем назначение в Сибкрайком ВКП(б), оттуда — снова в Москву, в ВСНХ РСФСР...

Обо всем этом он тоже намеревался писать, и нетрудно представить себе, какие бы это были интересные и поучительные главы. Однако чего нет, того нет. Тяжкий недуг помешал Д. И. Гразкину полностью осуществить свой замысел. Будем же благодарны автору за свершенное им. То, что он успел сделать, бесспорно, станет в ряд лучших образцов нашей мемуарной литературы и, не сомневаюсь, будет по достоинству оценено массовым читателем.

*В. ЛОГИНОВ,  
доктор исторических наук*

«Улома дура, белянки без крупы». — Изыскания статистика из Кирилловского уезда. — Наследие крепостного права. — Трехклассная деревенская школа. — Мне уготовлена роль «мальчика» в Петербурге. — Выпадет ли «фарт», найду ли «линию жизни»?

Моего отца звали Иваном Грызкиным. Я и сам двадцать с лишним лет был Грызкиным. При каких обстоятельствах моя фамилия стала писаться «Гразкин» и как благодаря этому я избавился от военно-полевого суда, расскажу впоследствии.

Родился я 22 октября (по старому стилю) 1891 года в деревне Великий Двор Зауломовской волости.

В просторечии волость прозывали коротко: Улома. Кирилловский уезд, в который входила Улома, расположен в северо-западном углу Новгородской губернии. Существовала поговорка: «Улома дура, белянки без крупы». В детстве и я ее, вслед за взрослыми, повторял, а потом начисто забыл. Как вдруг, десятилетия спустя, когда Владимир Ильич Ленин расспрашивал меня о жизни и настроениях моих земляков, я, характеризуя дореволюционное прошлое родной стороны, неожиданно для себя вымолвил: «Улома дура, белянки без крупы». За этими словами вот что крылось: жили крестьяне в такой ужасающей бедности, так голодно, с такой терпеливой дуростью сносили гнет и кабалу, что не имели возможности даже даровое блюдо — грибы (белянки) — приправить хотя бы овсяной крупой.

Памятную мне картину заброшенности, бедности наших мест нетрудно подтвердить статистическими данными. Беру их из 15-го тома энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона. Этот том вышел в 1895 году; он содержит последние по тому времени сведения.

Знакомлюсь с ними, и приходит в голову мысль: поклонюсь благодарный потомок, неизвестным русским интеллигентам-разночинцам, участникам освободительного движения. Сосланные царскими властями в медвежьи углы, эти люди иногда добывали пропитание

службой в земствах статистиками. Не только, а может быть, и не столько заработок привлекал их, сколько возможность осветить жизнь обездоленного мужика. Сначала такими статистиками были, как правило, народники или сочувствовавшие им, а с девяностых годов XIX века также и марксисты. Каковы были политические убеждения статистика из Кириллова, я не знаю, да и вряд ли кто-нибудь нынче знает. Жилось ему, наверное, не очень сладко. Населения в уездном городке было немногим больше четырех с половиною тысяч, до Новгорода верст шестьсот пути, точнее бездорожья. Но он трудился, трудился усердно. Изыскания его и послужили основой для статьи в энциклопедии.

О чем же поведал неизвестный наблюдатель? Почва Кирилловского района каменистая или глинисто-песчаная, мало пригодная для хлебопашества. Уезд богат водами. Значительнее других реки: Ковжа с Кемой, Ухтома, Шексна, Свидь, Порозовица, Вожга, Иткла. Есть озера: Белоозеро, Воже, Лаче, Благовещенское и другие. Климат суровый; снега в лесах и оврагах нередко лежат до середины мая (значит, по нынешнему, новому стилю почти до июня). Уезд редконаселенный, на одну квадратную версту в среднем по 9 человек. Всего населения 112 тысяч (я округляю цифры), из них 106 тысяч крестьяне. В сельскохозяйственном пользовании (пашни, покосы) только 170 тысяч десятин земли, остальное под лесами и болотами. Обилие грибов создало особый промысел; грибы солят и сушат и отправляют за пределы уезда, преимущественно в Санкт-Петербург. Средний урожай ржи и овса — «сам-четыре». Крестьянских хозяйств в уезде около 19 тысяч. Лошадей около 18 тысяч. Школ министерства народного просвещения — 5, церковноприходских, начальных земских — 88, учащихся в них — около 3 тысяч. Две трети новобранцев призыва 1893 года не знало грамоты.

Расшифрую некоторые цифры. Лошадей в уезде было приблизительно на тысячу меньше, чем крестьянских дворов. Из этого вовсе не следует, что была только тысяча безлошадных крестьянских хозяйств. Ведь лошадей держали и помещики, и купцы, и пзвозопрмышленники, кулаки, монастыри (последних в уезде было предостаточно; пазову: Кирилло-Белозерский, мужской, Нилосорский, тоже мужской, Горицко-Воскресенский, женский). Не счастье, сколько безлошадных дворов было у нас! А какое ж крестьянское хозяйство без лошади? Что безогий без костылей.

Автор сообщает: средний урожай — «сам-четыре». В Великом Дворе он был побольше: сам-пят, сам-шест. «Сам-четыре» значит, что если на посев десятины ушло, скажем, 5 пудов, то собрал крестьянин 20 пудов. Считайте: семян надо оставить 5 пудов, остается 15 пудов «на все про все». И это в урожайный год! А в неурожайный?

В статье приведена цифра учащихся — около 3 тысяч. Это тоже в среднем. Хорошо помню, что многие выбывали из школы еще в первом классе. Причины были разные: нет обуви и одежды, не на что купить учебники, тетради, работник в доме нужен. Я и сам начал работать, когда мне пошел только седьмой год (но школу кончил).

Еще одна цифра из статьи: в 1890 году из Кирилловского уезда уходило на сторону тринадцать с половиной тысяч крестьян, 13 процентов общего их числа. Это яркий показатель процесса «раскрестьянивания», о котором говорили марксисты, споря с народниками. Позднее я в Петербурге часто встречал земляков.

Позволю себе привести сокращенную выдержку из одного статистического труда, которую В. И. Ленин включил (и прокомментировал) в свою книгу «Развитие капитализма в России». Это о Тихвинском уезде нашей же губернии: «Земледелие составляет побочный источник дохода, хотя во всех официальных данных вы найдете, что народ занимается хлебопашеством... Все, что получает крестьянин на существенные свои надобности, зарабатывается им на заготовке и сплаве леса у лесопромышленников». «Занимающийся на лесных промыслах скорее бурлак; зиму он проводит в стану лесной трущобы... а на весну, по отвычке от домашних работ, его уже тянет на сплав и сгонку дров; одна только страдная пора да сенокос заставляют его сделаться оседлым»... Крестьяне находятся в «вечной кабале» у лесопромышленников»<sup>1</sup>.

Хотя Кирилловский уезд и не граничил с Тихвинским, а написано будто бы про нас. Помню из разговоров (да и сам наблюдал, на Шексне), как лесопромышленники закабалили крестьян-бурлаков. В лице этих лесопромышленников «его величество Капитал» вломился в наш край.

Начиналось с того, что в деревню прикатывал подрядчик, ставил одно, два ведра водки и основательно

<sup>1</sup> Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 3, с. 527—528.

сплавал мужиков. «Солидных», более влиятельных он сверх того угощал особо. Когда мужички оказывались под сильным «градусом», с ними, мало что соображавшими, подрядчик столковывался о работе. Из «солидных» вербовал будущих десятников, остальных рядил под его руку. Выдавался задаток — 3 или 5 рублей, нередко задаток тут же сообща пропивался. Деревня брала делянку (участок) и, разделив по дворам, принималась валить лес.

Пилить, рубить, разделявать деревья, плотить плоты — все это инструментом лесорубов. На их средства и прокорм лошадей, и устройство жилья, и упряжь, и снаряжение. Обычно поблизости от лесозаготовок подрядчик открывал лавку: топоры, пилы, упряжь, веревки — все это второсортное, но по ценам первого сорта. Отпускались товары в кредит, по заборным книжкам. Кредит еще более усиливал зависимость лесорубов от подрядчика.

На всю жизнь запомнил, как крестьяне работали зимою по пояс в снегу, летом по пояс в болоте, зимою пронизывали их жгучие морозы, летом поедом ели комары и мошкара. И так по 12, по 14 и более часов каждый день. Когда же наступало время расчетов, то обнаруживалось, что в общем и получать почти что нечего: вычитали задаток, вычитали кредит, занесенный в заборные книжки, штрафовали за «несортность». А ведь гнули спину в лесу целыми семьями — и молодые, и пожилые, и старые, даже малые дети.

В памяти крестьян свежо было сравнительно недавнее крепостное право. Взрослые то и дело вспоминали всевластие помещиков. Крепостниками были и монастыри, они тоже владели и угодьями, и душами, а закабалили крепостных похлестче, чем иные помещики. К власти, которой располагали крепостники-«миряне», монастырские владыки прибавляли власть религии. Невежественного крестьянина легко было запугать «наказаньем божьим».

Когда пришел конец барщине и оброку, монастыри надумали «святую помощь» крестьянам (мужики говорили: «святая помочь»). Выражалась она в том, что за обработку монастырской земли — за вспашку, посев, уборку урожая, доставку зерна в монастырские закрома — платили «натурой», то есть четвертой, пятой, а то и шестой частью урожая. То же и дровосекам: одно из четырех, пяти или шести поленьев работнику, остальное — церкви. Бывало, что и такой «натуры» крестья-

нин не получал. Служители культа попросту выставляли водку, крестьяне напивались и возвращались в свои деревеньки с пустыми руками к голодным ртам. Бытовавшее у нас малопочтенное географическое название «Пьяная лужа» увековечило место, где монахи спаивали крестьян, да и сами не проносили мимо губ.

К чему свелось «освобождение крестьян» в 1861 году? Лучшие, самые удобные, наиболее плодородные земли остались за помещиками и монастырями, притом целыми массивами — по нашим, конечно, масштабам. Крестьянам выделили (за выкуп!) небольшие наделы, разрезанные на отдельные лоскутки, на полосы. Мало того, что надел не мог прокормить крестьянскую семью, попробуй, доберись еще до него. Пока доберешься, съезжая изрядный крюк, иной раз с версту длиной, объезжая монастырскую землю, хотя, в сущности, до твоего надела близехонько. По прямой нельзя пройти: это земля господская, монастырская. На каждом шагу крестьянину давали чувствовать, что хоть он уже и «свободен», а все же бесправен, незащищен.

Не кормила земля и моих дедов. Вынуждены они были искать другие средства к существованию. Мой дед по отцовской линии занялся было извозом, но предпринимателем оказался неудачливым — разорился. Моему отцу тогда 15 лет. Он покинул родную избу и нанялся на постройку «умжаков» (тип речного судна). «Умжаки» строил и дед по материнской линии. Работа была не только тяжелая, на износ, а и небезопасная. Однажды под вечер дед, измотавшийся за день, обварил лицо кипящим варом и ослеп.

Несчастье случилось и с моим отцом. Отставать от взрослых подростков не могли: подрядчик возьмет другого — желающих-то сколько угодно. Изнуренный работой, Иван Грызкин при спуске «умжака» на воду не справился со слагами, попал под плеть и сломал ногу. Его тут же и уволили.

Хромому, почти безногому все ж полегче, чем слепому. Слепой отдал за Ивана Грызкина дочь — мою будущую мать, взял в свой дом, но с условием: пусть молодые кормят старика и старуху. Отец был человеком, верным слову, и условие это соблюдалось до конца. Вскоре отцу удалось устроиться сторожем в имение. Прежний владелец, помещик, разорился и, как тогда часто происходило, продал свое имение богатому купцу Зайцеву (эту фамилию читатель моих воспоминаний не раз встретит в дальнейшем). Сторожить надобно было



и в будни и в праздники, а жалованье положили 40 рублей в год. Как на такое жалованье семье прожить?

Мой отец всегда был недоволен жизнью, всегда искал лучшего, искал идеала. Сначала искал в религии, ходил, рассказывала мать, на богомолья, даже подумывал, не принять ли постриг. Потом разочаровался в религии, но не порвал с ней (формально посещал церковь, того же требовал от детей). Охладев к религии, отец погрузился в книги. Читать он научился самоучкой, читал каждый день, с каким-то упоением. Из его реплик видно было, что в книгах искал он «правду жизни».

На склоне лет могу сказать: всю свою жизнь я любил, уважал, почитал печатное слово (не всякое, конечно). Любовь к книге и к знаниям перешла ко мне от отца. От него же — поиски истины. Я нашел истину — в революции, в социализме. Отец не нашел. Да и не мог он найти ее в условиях, в какие был поставлен. С кем он общался? С такими же забытыми и покорными мужиками, каким сам был. Книги он раздобывал, увы, не революционного содержания.

Вспоминая отца, с горечью думаю о погибших человеческих способностях...

Если не все, то почти все дети, за самым малым исключением, любят игрушки. Были и у нас игрушки, правда, самодельные, а все же игрушки. Они не очень-то занимали меня. Больше всего я любил перелистывать книжки, разглядывать рисунки. Наверно, подражал отцу. С отцовой помощью я незаметно и довольно легко научился читать. Грамотным помню себя с семилетнего возраста.

Теперь можно было и в школу. Мечтал о ней страстно. Было в школе три класса, все в одной избе, состоявшей из одной комнаты. Учителю, вероятно, нелегко было одновременно спрашивать и задавать уроки учащимся трех классов.

Учился я как-то странно. Очень любил читать и очень не любил учить уроки. Читал все, что попадалось под руку: старые календари, песенники, сонники, жития святых... Что ни прочту, запоминаю слово в слово. Дал как-то учитель нам хрестоматию «Родное слово». Не чуя ног, прибежал я домой, раскрыл хрестоматию, прочитал за вечер и всю запомнил. Куда хуже обстояло с правилами грамматики. Они мне почти не давались, а потом и взрослого изрядно допекали.

Отец неустанно следил за тем, чтобы уроки были выучены. Методы воздействия, которые он применял, были стары как мир: ставил на колени перед образами, приказывал сто раз прочитать вслух «господи, помилуй», положить сто поклонов, а то и порол. По воскресеньям и праздникам вел с собою в церковь, а мне бы побегать, пошалить с друзьями. Мальчиком был я своенравным: если меня принуждали к чему-то неинтересному, то это вызывало во мне глухой протест. И крепла во мне неприязнь к молитвам, ладану, попам, к церкви. Возможно, именно поэтому я подростком, уже в Питере, легко, даже радостно порвал с религией.

К работе меня приставили рано. Мне еще не было семи лет, а я уже знал постоянные обязанности: помогать сестре убирать сено, окучивать картофель, пригонять с пастбища скотину, кормить ее. Отцу-инвалиду физическая работа вообще была не под силу, а служба в имении отнимала все время. Мать была занята в поле и по дому. У нас была корова (иногда две коровы) и две овцы. Не следует, однако, думать, что мы катались как сыр в масле. Молочных продуктов перепадало нам самую малость: их отец задешево продавал хозяину маслодельного завода. Ведь денег было в обрез. Не хватало, чтобы уплатить налоги, купить керосин, мыло, мануфактуру, самое необходимое.

В первые же каникулы я стал почти заправским работником. Отец отвел меня к водомерному наблюдателю. Тот во все дни навигации в определенные часы и в определенных местах измерял глубину, записывал уровень воды и сообщал в Ковжу — участковому смотрителю. Хотя время от времени русло Шексны очищали от камней, все же в летние месяцы, в мелководье, некоторые суда садились на мель, отчего судовладельцы терпели убыток. Наш водомерный наблюдатель был по горло поглощен хозяйственными заботами: лето — это и сенокос, и жатва, вообще — страда! В то же время лето — самое мелководье. Водомерный наблюдатель и подрядил меня: как-никак, а грамотен. Каждое утро и каждый вечер я проводил измерения, записывал в тетрадку и аккуратно отвозил ее участковому смотрителю.

Жалованье мне положили — рубль в месяц. Стало быть, к началу нового учебного года отец получил за меня 3 рубля. Малый, но все ж довесок к скудной семейной краюхе. Увы, на следующий сезон водомерный наблюдатель меня не взял. Два лета кряду я ходил на маслодельный завод: мыл посуду, убирал помещение,

взбивал масло на сепараторе, делал, что велют. Еле-еле дотягивал до захода солнца, валился, как подкошенный, и засыпал. Спал, не шевелясь, до восхода. А солнце-то летом встает ранехонько. Уже тогда я на собственной шкуре познал значение слов: работать от зари до зари.

Но и на маслодельном заводе дело оказалось временным. Когда я кончил третий класс (а значит, и школу), то на завод не попал. Если и подвергивалась какая-нибудь работенка, то случайная, непостоянная и грошовая — такая меня, вернее моих родителей, не устраивала. Стали думать, как дальше быть, куда бы меня пристроить, и ничего другого не могли придумать, как отправить в Питер в «мальчики». Не я был первый, кого родители с болью душевной отрывали от родного дома и отсылали в большой город, не я был и последним.

Стали сговариваться с «заезжим человеком», как тогда говорили. Он твердо обещал, что довезет «до самого Петербурга» и там «устроит на место», а за расходы на дорогу и за хлопоты потребовал 10 рублей. Переговоры велись в моем присутствии, я даже ахнул: шутка сказать, 10 рублей, трехмесячное отцово жалованье! Но такая, должно быть, существовала такса, отец согласился и выложил 10 целковых.

Горько было на душе. Хоть и голодно-вато жил, а все же дома. Набьешь брюхо картошкой, сжуешь краюху хлеба — и вроде сыт, а в свободный часок и книжку считаешь, и с ребятами побегаешь. Хоть и заняты были вечно отец с матерью, и суровы были с виду, а нет-нет да и приласкают. А теперь... Теперь прощайте, детские игры и забавы, прощайте, родные поля, леса, перелески, прощай, Шексна, и, родительское тепло, тоже прощай. Ничего этого больше не будет. А что будет, не знаю, подумать даже страшно.

Сестра то и дело вытирала слезы, мать глядела на меня скорбными глазами, отец и тот глубоко вздыхал...

Но вот и собрана моя котомка, заполнила мать котомку снедью, и я вслед за «заезжим» в сопровождении хромающего отца отправился в сторону пристани. Было то в мае 1903 года. Долго ли шли, не скажу. Я был так расстроен, будущее виделось мне таким мрачным, что многое запомнилось неотчетливо.

На пристани отец прижал меня к себе, потом оттолкнул, потом снова приблизил и, глядя в глаза, сказал:

— Только будь человеком. Всегда будь человеком! — Передохнул, будто тяжелую работу сработал, и сказал: — Там-то, в Питере, будет тебе лучше. Не станешь спину ломать в лесу иль на «умжаках». Устроит тебя этот человек на место... Грамоту знаешь... Работы не боишься... Если выпадет «фарт», то попадешь на линию жизни.

«Фарт» — удача... Бывало, вечерами отец чинит обувь или сбрую, мать прядет, я читаю, рассматриваю рисунки. Отец, думая, что я ничего не слышу, неспешно ведет рассказ о том, что должно же сыну «пофартить», выпадет же сыну «линия жизни». Но не в деревне, здесь этой «линии» не найти, только в городе...

## 2

---

**С берегов Шексны на берега Невы.— Булочные заведения капиталистического толка и патриархального уклада.— Всегда в синяках и кровоподтеках, голодный и невыспавшийся.— Изнанка хозяйской «доброты».— Штрейкбрехеры.**

Город, городская жизнь начались для меня, можно сказать, еще на пристани и пароходе. Шум, гам, топот... Тесня, отталкивая друг друга, будто слепая и кем-то подгоняемая, толпа баб и мужиков с поклажей побежала по шатким мосткам, суматошливо отыскивая местечко, куда бы свалить котомки, корзины, ящики. С этим ревущим потоком очутился и я на палубе.

Я вздрагивал с каждым ударом плиц, отдалявших меня от отца, одиноко стоявшего на берегу. Ужас обуял меня, когда пароход поравнялся с землечерпалкой. С невыносимым грохотом и железным скрежетом поднимала она камни с речного дна. Я зажал уши руками.

А тут еще «заезжий» молодец приказал мне (и невесть откуда взявшимся четверым другим мальчишкам) схорониться от контролера. Оказалось, «заезжего» не устраивала одна десятка, ему нужно было зарабатывать сразу полсотни рублей. И чистыми. Уговор был, что билеты покупает «заезжий», а он и не думал раскошелиться. Прятал он нас, пятерых бедолаг, не только на пароходе, а и в поезде Рыбинск — Петербург; в вагоне запихивал под лавки или в большие порожние

корзины, которые взял с собой для этой цели. Мы так всего боялись, что даже голода не испытывали. А когда приехали в столицу и голод дал знать о себе, то обнаружили, что котомки наши опустошены: «заезжий» съел всю нашу провизию. У каждого из нас были и деньги — у кого пятиалтынный, у кого двугривенный, они тоже переключались в карман «заезжего».

Начисто позабыл, где мы в Петербурге ночевали. Кормил он нас пустым чаем и черствым хлебом. Две недели подряд ходил я за ним по пятам. Все он пытался меня пристроить, да неудачно. Вдруг на улице повстречался мой дальний родственник, он работал в булочной Бахарева, туда он меня и привел. Стал я «мальчиком» в пекарне.

Господин Бахарев был хозяином разветвленного предприятия: две большие пекарни на Выборгской стороне и на Васильевском острове, при них булочные; кроме того, у него были «холодные» булочные (не при пекарнях). Он брал и подряды на поставку хлеба, калачей, бубликов, саяк, пирожных, тортов чужим булочным и кондитерским, трактирам, чайным, сверх того хлеб доставлялся на дом богатым семьям.

Заведение Бахарева было заведением капиталистического толка. Сам хозяин уже не снисходил не только до работы в пекарнях, но и до повседневного наблюдения за ней. Это уж была забота верных служащих. А в тогдашнем Петербурге еще сохранились, хотя и вымирали, пекарни с патриархальным укладом — мелкие предприятия: их хозяева жили и питались вместе с работниками, жалование на руки не отдавали, а отсылали родителям в деревню. При такой семейной идиллии хозяин находился в заведении неотлучно, глаз не спускал. Стоило чуть зазеваться, получай увесистую затрещину.

Иерархическая лестница бахаревской фирмы была такова. На самой верхней ступени восседал, понятно, сам. Ступеньку ниже занимал старший приказчик — по одному на каждую пекарню с булочной. Еще ниже — просто приказчики, в том числе приказчик по отчету, что-то вроде бухгалтера или счетовода (самоучки, в прошлом пекари или продавцы). Затем шли: в булочных — продавцы, в пекарнях — старшие пекари, мастера по отдельным видам изделий, например хлебники, калачники, венские мастера (по венским и иным сдобам), подмастерья, а на самой низшей ступеньке — «мальчики», они же «серяки».

Пекарня и булочная на Выборгской стороне представляли собою как бы единое целое. Светлыми окнами и парадной дверью булочная глядела на Сампсониевский проспект. И внутри она была чистой, благоухала свежим хлебом, кондитерскими изделиями. Продавцы в белых курточках и передниках каждого «чистого» покупателя встречали и провожали ангельскими улыбками. И невдомек было покупателю, каков «антураж» соседнего с булочной помещения, где выпекаются столь аппетитные изделия. А помещение это было полуподвальным, с маленькими пыльными окнами, едва пропускавшими свет.

Как я потом сообразил, работники уже знали, что вот-вот появится новенький «серяк», и ждали моего прихода с нетерпением. Едва я появился, как был оглушен криком:

— Эй, деревня! Чего озираешься? Живо воду подлей в парашу!

Кто кричит, не вижу; что такое параша, не понимаю; где воду брать, не знаю. Стою истукан истуканом. Сильный удар по голове сбил меня с ног, я свалился в углубление близ устья большой печи, рядом стояла кадка с темной, как сажа, вонючей водой (эта кадка и была той самой парашей). От боли и обиды я не то что заплакал, а заскулил. Вокруг загготали. Кто-то из гогочущих рывком поднял меня, сунул в руки ведро, саданул кулаком в бок:

— Ослеп, что ли?! — заорал он. — Давай, бери воду, лей в кадку, не то еще получишь!

Это было первое «крещение». Назавтра состоялось второе.

В пекарню спустился продавец. Я с восхищением оглядел его фигуру в белоснежной, без единой морщинки куртке. А он, приметив меня, поманил пальцем:

— Мальчик, пойдика в магазин.

«Какое счастье! — думал я, попевая за щеголем продавцом. — Заберет он меня от этих извергов в булочную, найду там линию жизни...»

За прилавками стояли другие продавцы. Все, как на подбор, в белых блузах и белых передниках. Приказчик, старший над всеми, спросил, что мне надо.

— Это я его позвал, — объяснил продавец. — Надо деревню приучить к столичным порядкам. Возьми-ка, — обратился он ко мне, — пятак, сбегай вон туда — видишь лавку напротив? — да попроси у рыжего фунт колбасных обрезков, а в придачу не меньше фунта выволочки

с потасовкой или драчки с перцем, все равно, что даст. Запомнил? Ну, живо!..

«Выволочка с потасовкой», «драчка с перцем» хотя и насторожили меня, но лица приказчика и продавцов были непроницаемы, я отбросил всякие сомнения.

Рыжий колбасник, взяв из моих рук монету, с восторгом повторил: «Значит, выволочку тебе с потасовкой да еще драчку с перцем. И все на один пятак? Одной колбасы, значит, мало показалось? А может, тебе еще и фунт ветчины, серая деревня?» Тут он вышел из-за прилавка, крепко сжал своими коленями мое тощее туловище и, крикнув: «Получай, серяк, привесок!», левой рукой вцепился в мои волосы, стал их рвать, а большим пальцем правой руки с необыкновенной силой водил по голове от лба к затылку.

Я света божьего невзвидел. Рванулся, да не тут-то было! Я заорал благим матом, а мучитель только этого и ждал — с каким-то садистским наслаждением он повторил экзекуцию, но уже не в лавке, а на улице, на тротуаре. А напротив, у нашей булочной, стояли продавцы во главе с приказчиком и громко хохотали.

Чувствую: померк белый свет, все погибло. Погибла надежда найти «линию жизни», погибла вера в людей, вот в этих самых, чистеньких, улыбающихся, теперь хохочущих, перед которыми я еще несколько минут тому назад благоговел. Звери, все звери! И в пекарне, и в булочной, и в колбасной лавке.

Как ни бедовала наша деревенская семья, но все же там, в Великом Дворе, меня окружали лес, поля, знакомые мне люди; удавалось и на салазках прокатиться, и в реке искупаться; хоть и скупы были родители на ласку, но заботу их я всегда чувствовал.

В Петербурге ничего этого нет. Кругом сплошь чужие и злые люди. Какому бы взрослому я ни попался навстречу, каждый поровил наградить затрепачиной, тумачком, а некоторые с упоением избивали, выискивая к тому ничтожнейшие поводы, а чаще всего без всякого повода. Я всегда ходил в синяках, в кровоподтеках. Пьяненький мастер ударил однажды меня по физиономии, а увидев слезы, развел руками:

— Да ты, никак, дурачина, обижаешься? Для твоей же, брат, пользы. Иначе разве можно? И меня били. И приказчика лупцевали. И продавцов. А видишь, в люди вышли.

Позднее понял: копившуюся годами ненависть к тем, кто их самих мордовал и мучил, они изливали те-

перь на нас, беззащитных «серяках». Раньше они сами были беззащитны, пынче — сильнее меня. Разрядку они находили в глумлении над слабыми, в постоянной матерной брани, в пьянстве, почти беспробудном.

День шел за днем, неделя за неделей. Постепенно я получил представление о порядках в пекарнях — больших, в которых заняты были десятки работников, и мелких, где вместе с хозяевами работало по два-три, а иной раз один работник.

Харчи в каждой пекарне были бесплатные. Не очень-то Бахарев тратился на них. Приказчик наловчился добывать для нашего «рациона» вонючую капусту, мороженую картошку, прогорклые крупы и такое же прогорклое растительное масло.

«Квартира» (ее еще называли «спальней») тоже была бесплатной. Не ахти какими хоромами были наши бедные избы в Уломе, но когда я попал в «спальню» бахаревских работников, то, как и от вонючего варева, выдаваемого в «столовой», меня едва не стошнило. «Квартира» была расположена между пекарней, сообщавшейся с булочной, и мучным складом. Со склада в пекарню, из пекарни на склад по полу и нарам «спальни» шмыгали здоровенные крысы, их и коты боялись. В прошлом «квартира», очевидно, была сараем. С осеней щели досок забивали тряпьем, чтобы не выдувало тепло, по весне тряпье выковыривали. Воздух тут был спертый, шибавший сивухой, махоркой, крысиным пометом, человеческим потом, сальной одеждой, испарениями.

Узкий проход разделял нары. На них вповалку спали по десяти, а то и по пятнадцати человек, как придется. Постоянного места ни у кого не было. За 16—18 часов работы так намаешься, что об удобствах уж и не думаешь, добраться бы до нар, найти местечко — сразу как проваливаешься в мутный сон. Только-только разоспишься, тебя стаскивают: «А ну вставай!» Не успеешь глаза протереть и глотнуть варева, а уже гремит: «Мальчик, подай...», «Мальчик, убери...», «Мальчик, принеси...», «Мальчик, в магазин...»

Поскольку считалось, что хозяин — благодетель! — «даром» дает стол и кров, то жалованье, конечно, было ничтожно малым. Мне положили 3 рубля в месяц, молодые подмастерья получали от 12 до 18 рублей, искусные рабочие, да и то очень редко, — по 20, мастера — от 25 до 35, крайне редко — по 40, старшие мастера и кондитеры, да и то лишь в очень крупных



пекарнях,— по 45—50 рублей в месяц. «Мальчикам» годами не удавалось перейти в подмастерья, хотя они уже и дело их делали, а продолжали числиться в «мальчиках», получая мизернейшее жалованье. Долгие годы требовались подмастерью, угодничанье перед приказчиками и мастерами, лезть, взятки, чтобы выйти в мастера.

Терпит-терпит парень. Где выход горю? В водке... И начинает прикладываться к бутылке, и становится алкоголиком. Хозяева знали, что работник может и загулять, потому — предлог-то благовидный — не сразу выплачивали жалованье, долю оставляли на случай, если, запив, человек не выйдет на работу, а когда он, протрезвев, выходил, ему частенько объявляли, что ты, мол, все жалованье уже сполна получил, даже с тебя, пьяницы, причитается хозяину. Все знали об этих и других обчетах, знали, да терпели. Выдача жалованья «по чайной ложке» вообще была системой. При ней легче запутать работника, особенно пьющего.

Хозяева и приказчики прикидывались добряками: дескать, понимаем душу, не придираемся к запойным. Сия «доброта», конечно, имела свой умысел — она помогала разобщать рабочих, а разобщенность мешала совместным выступлениям в защиту своих прав, которые участились на заводах и фабриках. Загулы, сколь это ни парадоксально, были на руку хозяевам. Во-первых, загулявшего саднит чувство вины, он покорнее, во-вторых, его можно обсчитать, в-третьих, на те дни, когда он пьет, его заменяли «френщиком», готовым услужить за гроши.

Происхождения слова «френ» не знаю; в словаре Даля оно отсутствует, очевидно появилось позже. «Френ» — это кличка тех спившихся и погрузившихся на «дно» несчастных, которые уже физически не в состоянии были работать постоянно. Не потому, что у них сил не было, — отсутствовала воля, запить они могли в любой момент. Ходили они в обносках, были грязны, жалки, обитали в ночлежках, именовавшихся то «фатерой» (от слова «квартира», «фатера»), то «гопом» (та же «фатера» при второразрядной чайной). Бахарев и ему подобные были связаны с владельцами «фатер» или «гопов», и те в любой час поставляли им «френов». Так что «френы» — это были перелетные, сугубо временные работники, пусть даже в прошлом мастера своего дела. Они чаще всего становились штрейкбрехерами.

Каждый взрослый, или «френцик», которому я попался на глаза, норовил не только дать по физиономии, но и навалить черную работу. Мне приходилось чистить лари, причем множество раз на день, вытряхивать во дворе мучные мешки и складывать их, подметать помещение, выносить мусор, таскать со двора поленья, воду — всего не перечеть.

Вдобавок, когда в магазине не хватало своих «мальчиков», меня посылали туда в помощь. Там водружали на голову большую корзину с хлебом, весом от 2 до 3 пудов, — и валяй тащи иногда версту, иногда две, а то и три. Не сразу, далеко не сразу приобрел я навык удерживать такую тяжесть, балансировать, чтобы не натолкнуться на столб или на прохожего, не споткнуться о булыжник. Не удержишь корзину — пропадешь: хлеб или булки, особенно в слякотную погоду, запачкаются, за это избьют тебя в булочной. Но это еще полбеды, главное, попробуй-ка сам поднять корзину и водрузить ее на собственную голову. Хорошо, если подвратятся сердобольные люди, помогут...

Утренние часы — самая горячая пора. Открываются трактиры, чайные, лавки. В это время меня чаще всего посылали «вразнос». Когда таких, как я, рассыльных, не хватало, хлеб нагружали на ручную тележку. В ней помещалось 10—15 пудов хлеба. Нас, толкавших такие тележки, звали «ярославскими лошадками». Но лошадиная сила во много раз превосходила силу подростка, изнуренного работой, плохим питанием, коротким сном. Лошадь тянет телегу всем своим корпусом, а мы, «серяки», действовали только руками и ногами: держишь ручки на весу, отталкиваясь ногами. И гляди в оба: попадет колесо в рытвину, наскочит на булыжник — тележка опрокинется. Вечное напряжение — физическое и нервное, вечный страх, особенно в гололедицу или в дождь с ветром, и так до той минуты, пока, вконец обессиленный, не доберешься до места назначения.

Возвращаешься в пекарню, и будто тебя только и дожидались: «Мальчик, подай...», «Мальчик, принеси...» — и матерная ругань, и зуботычины...

В грязи, в духоте, полуголодный, награждаемый оплеухами, в окружении пьяных, грубых, циничных людей, начал я получать «столичное воспитание». Не счесть, сколько слез я пролил в слепом отчаянии, сколько молчаливых проклятий срывалось с моих уст.

*И на Васильевском острове не слаще.— Три моих самых страшных врага.— Маленькие радости.— Первое столкновение с полицейским.— «Есть на свете и правильные люди...» — Цепочка вопросов. Кто на них ответит?*

Бежать, бежать отсюда! Но куда? К нам, в Улому? Нельзя. Искать другую работу здесь, в Петербурге? Но я нередко видел, как к нашим пекарям наведывались деревенские — новгородские, тверские, ярославские, олонечские, вологодские. Все искали работу. Безработным людом кишел Петербург.

Однажды я отпросился на 2 часа. Пришел к дальнему родичу. Он работал на Васильевском острове в «холодной» булочной того же Бахарева. Рассказал о своих горестях, размазывая слезы по щекам.

Земляку давно перевалило за тридцать; был он малого роста, щуплый, лысый, с искривленным позвоночником. Он слушал, вздыхал, потом заговорил нервно, торопливо:

— Погляди, какой я стал! Видишь? Ты небось думаешь, таким и приехал в Питер? Не-е-ет, брат, не таким! Это меня он наградил, Бахарев! И горб, и лысына, и кривой — все от него, от Бахарева! — Тут земляк вроде бы испугался: озирается, глаза по сторонам бегают — не подслушал ли кто, не подглядел ли? Поник, помолчал, затем устало махнул рукой: — Ладно уж, попрошу старшего приказчика. Но только пеняй на себя, потому как хрен редьки не слаще.

Так состоялся мой переход на Васильевский остров. Жалованье и харчи — такие же; спальня, правда, почище, и на том спасибо. А били здесь «серяков» пребольно. И спозаранку те же окрики: «Мальчик, почисть...», «Мальчик, принеси...», «Мальчик, помой...», «Мальчик, в магазин...»

Зато близко к центру города, красивые улицы, площади, набережные, есть чем полюбоваться. Но работы «вразнос» на Васильевском острове привалило. Тяжелые корзины, особенно тележки, выматывали все силы. Случалось, чуть в чайную или трактир припоздаешь — получай зуботычину: «Где, лодырь, шлялся?» А меня непогода задержала.

Земляк предупреждал: у вас, мол, на Выборгской, покупатель мастеровщина, «тюхи-матюхи», а у нас, на

Васильевском, «тюх-матюх» маловато, побольше «чистого народа». И добавил: «У нас ин-тел-ли-гент, соображаешь? Тут, парень, гляди в оба. «Чего изволите?», «Сию минуточку!», «Не беспокойтесь!» — вот как. И одежда чтоб справная, шик-блеск! Соображаешь?»

Сообразить-то было нетрудно, а вот «гардероб» за свою трешку справиться было немислимо. Обувь прямо-таки горела — попробуй, отшагай версты по булыжнику, особенно в гололедицу. В пенастье сапоги были всегда полны воды. Когда в холодные ранние утра, а в зимнее время еще и затемно в такую непогоду толкаешь изо всех сил окаянную тележку — пот с тебя градом катится, а только остановишься — дрожь пробирает.

Некоторое время спустя я так определил: есть у тебя, Митя, три главных врага.

Первым был старший пекарь. За глаза, а порой и в глаза называли его Граммофоном (он обладал противным скрипучим голосом, ни дать ни взять — треснувшая граммофонная пластинка). Родственник нашего старшего мастера Тихона, Граммофон в пекарне надо всеми издевался, а меня прямо-таки мордовал. Врагом номер два был старший приказчик. Сам он не столь уж часто «списходил» до затрещин, но целиком одобрял Граммофона. Третьим врагом я считал Бахарева. Он меня и вовсе никогда не тронул пальцем (зачем ему мараться о грязного «серяка»), но стоило в пекарне и булочной проведать, что в такой-то день пожалует хозяин, как все начинали суетиться, нервничать, тут уж берегись, не попадайся. В этот день мы, «серые», ходили до полусмерти избитыми. Бахарев искоса, никого не коря, поглядывал на наши распухшие от побоев и слез физиономии.

Случались и маленькие радости. Хорошо было принести корзину с хлебом такому заказчику, которому некогда было разгружать ее, и он говорил: «Ладно, оставь, сами пришлем». Вот уж тогда можно было возвращаться не спеша, рассматривая и улицы, и дома, и витрины, и прохожих.

Иду как-то с Малого проспекта. Вижу, строят дом. Каменщики, согнувшись в три погибели, тащат по шатким лесам кирпичи; кирпичи — на «козе», «коза» — на спине. Неподалеку от стройки девчужка и мальчонка-карапуз собирают щепки в рогожный мешок. Вдруг подкатывает коляска, из нее выходит богатая дама, за пей — подросток в бархатном костюме с белым ворот-

ничком. Тотчас появился инженер в форменной тулупе, в фуражке с гербом, а за инженером — подрядчик.

Подросток скучающим взглядом окинул все окрест, на беду заметил ребятшек с рогожным мешком — и к ним. Слышу, грозно спрашивает: кто это-де позволил «воровать доски»? Карапуз молчит, ничего не понимает, а девочка испуганно что-то лепечет. Я приблизился. Барчук повышает голос, требует ответа. Инженер объясняет даме: «Тут у нас, видите ли, один рабочий разбился, свалился с лесов, разиня. А это вот его дети. Ну-с, мы им разрешили собирать щепки. Все равно ведь увезут на свалку». Барчук, хоть и слышал разговор, со злостью пнул по рогожине со щепками. «Жорж!» — ласково попрекнула свое чадо нарядная дама, а Жорж уже колотил несчастного малыша.

Во мне все закипело. Я бросился на барчука — он, должно быть, был моим сверстником, может, даже постарше, — одной рукой схватил за воротничок и рванул, другой ударил по носу, вдобавок пригнул и вложил сапогом ниже спины.

Дамочка завизжала: «Убивают, убивают!» Я перескочил канаву и... очутился в объятиях городского. (Это была моя первая, но далеко не последняя встреча с чинами полиции.) Стою, не в силах двинуться: ухо мое в пятерне городского. А мадам топает ногами и вопит: «Этот оборванец», «Этот хулиган...» Подрядчик вторит: «Этот босяк напал на порядочного юношу».

Мгновенно собралась толпа.

— А кто бил маленького мальчика? Кто?! Он, оп, ваш Жорж бил! — кричу я, несмотря на сильную боль (городовой молча сжимал и выкручивал мое ухо).

Из толпы вышел вперед студент и громко, раздельно произнес:

— Полюбуйтесь, господа! Блюстителъ хватает только бедных!

Раздался другой голос:

— А как барчук-то лупил мальчика, так этого, извините, не замечают!

Городовой несколько смешался:

— Я что? Я хотел только приструнить драчуна.

Снова голос:

— Не того схватил! Другого надо!

Студент веско заявил городовому:

— Вы, конечно, можете тащить его в участок, — жест в мою сторону. — Но бить — слышите? — бить не смейте!

Полицейский разжал кулак, я воспользовался этим и убежал. Услышал свисток, припустился бежать еще шибче. В пекарню вернулся с синим, опухшим ухом, да и с сильно ушибленным коленом. Лег на нары, но долго не мог уснуть. Стал размышлять о случившемся. Жалко бедных сироток. Как они испугались! Зато я защитил их. А городской-то за господ. И подрядчик за них. Все они мои враги. Все до одного. И в пекарне, и на улице... Нет, не все. Толпа-то мою сторону приняла. И студент заступился. Выходит, есть на свете и правильные люди...

Нет нужды подчеркивать, что я тогда был совершенно неразвит. Но жизнь властно толкала к политическим рассуждениям, к сбивчивым, путаным, наивным, а все же рассуждениям. Почему я попал на сущую каторгу, нет ли из нее выхода? И каков он, этот выход? Почему так вольготно даме и барчонку в бархатной курточке? Почему и подрядчик, и Граммофон, и городской — почему все они за богачей и против бедных? Почему студент заступился за меня?

Эти вопросы выстраивались передо мною в цепочку. Ответов я не находил. Цепочка рассыпалась, потом вповь и вповь возникала и опять рвалась.

#### 4

---

**Разговоры о Кровавом воскресенье.— Впервые услышанное слово «революция».— Студенты, листовки, бомба.— Прокламация в пекарне.— Что такое «РСДРП»? — «Серяк» досаждаёт своим врагам.**

Признаться, не помню, какое впечатление произвел на меня день 9 января 1905 года. Объясняю это не только своим возрастом (мне едва минуло тринадцать), не только своей политической неграмотностью, но — главное — тем, что окружающая среда была настоящим темным царством, была политически пассивна.

Прошло, однако, совсем немного времени, может быть, недели две, может быть, больше, и в пекарне заговорили о Кровавом воскресенье, о злодейском побоище у Зимнего дворца, о рабочих волнениях. Пронеслось в этих разговорах взрослых и незнакомое, но странно волнующее слово: «Революция».

Как-то послали меня в трактир за кипятком. Прочувенный покупкой колбасных обрезков, я заподозрил пеладное. Было часа два пополудни, время делового затишья, когда продавцы, приказчики, «кустики» («кустиками», не знаю почему, называли владельцев мелких пекарен) любят поразвлечься. Ну как сделают подножку и я грохнусь с большим медным чайником, полным кипятка? А то, глядишь, подбросят в чайник какую-нибудь дрянь?

Иду, а сердце екает. Едва свернул за угол, как на Среднем проспекте что-то громко и звучно треснуло. Тотчас в мою сторону ринулась испуганная толпа, а по мостовой, бешепю нахлестывая лошадей, помчались извозчики. Раздались свистки городских. Прижимаясь к стенам домов, я стал скользить к булочной. Два здоровенных мясника сбили меня с ног, чайник со звоном покатился по тротуару. Тут меня будто оглушила тишина: на улице — ни души.

А наш магазин был уже битком набит. Все громко говорили, перебивая и не слушая друг друга. Ко мне метнулся приказчик, я закрыл лицо руками, но он не стал меня бить, а испуганно шепнул:

— Ты видел, что там было?..

Я не успел раскрыть рта, как рассыльный из гостиницы (он одновременно со мною вбежал в булочную) начал взахлеб рассказывать, что студент разбрасывал листовки, околоточный и городской побежали за студентом, он — на бульвар, а там другой студент, тот, второй-то, как гаркнул на городского: «Стой!» — да и швырнул оземь какую-то черную банку, она и взорвалась. Это была бомба...

Пока рассыльный рассказывал, все молчали, стоило ему кончить, все заспорили. Одни ругали «этих студентов», другие возражали: нечего-де людям вмешиваться в «ихние дела», полиция хорошие деньги получает, вот пускай и ловит. Только и слышалось: «листовки», «бомба», «бомба», «листовки»...

Особенно злился наш старший приказчик Тихон. А я подумал: «Коли Тихон так испугался, значит, студенты хорошее дело делают».

У нас работал непревзойденный мастер изготовления венских шоб. Звали его «венским мастером», а то и «немцем». Объездил он чуть ли не все большие города, работал в Варшаве, в Гельсингфорсе. Одевался чисто, аккуратно, «по-господски». Читал газеты — либеральное московское «Русское слово», «Биржевые ве-

домости» («Биржевку»). Никогда не бранил подмастерьев, учил их выпекать сдобы (чего другие мастера, храня свои секреты, не делали). Относились к «немцу» пастороженно, но задевать не решались, потому что его ценил сам Бахарев.

Так вот в разгар суматохи появился в пекарне этот «немец». Граммофон, не без иронии, спросил:

— Уж не принес ли листок, что студенты разбрасывали?

— Один листок подобрал,— серьезно ответил «немец».

К нему пристали мастера, подмастерья, продавцы: «Прочтите, интересно!» Он и прочел. Всего я не понял, но кое-что ухватил: первое — про тяжелое положение рабочего класса, а второе — о том, что не надо нам царя.

Разгорелся спор. Одни говорили: «Трудно жить. Разве это жизнь, как мы живем? Много ли видим света?» Калачник сказал:

— Не жисть, а жестянка, сорок лет работаю, как залез в эту хламиду, так и хожу в ней.

Граммофон сердито буркнул:

— Пил бы больше, совсем голым ходил бы.

Это задело хлебника:

— Ты, Граммофон, часом, не записался в общество трезвости?

На подмогу хлебнику пришел кондитер — он был толстым, ходил важно, за что получил прозвище «Папа Римский». Так вот он воскликнул:

— Граммофон пьет только тогда, когда его задобрить хотят.

Все расхохотались. Граммофон брал взятки водкой, и в немалых дозах. Нападение на Граммофона было неслыханной дерзостью.

— Это,— сказал «немец»,— было когда-то, а больше быть не должно. И рукоприкладству пора положить конец. Не то время, слышите, вы?! — Эти слова были обращены прямо к Граммофону.

Тот смешался.

В течение полчаса — и столько событий! А главное для меня — заявление «венского мастера»: не то нынче время, нельзя рукоприкладствовать...

Все, что плохо для такого вот Граммофона, хорошо для меня, это я усвоил. Но истина-то была коротенькая, а хотелось большего. И я начал с того дня прислушиваться к разговорам взрослых — в трактирах и чайных, в лавках, на улицах...



Поражения на полях Маньчжурии в войне с далекой и неведомой Японией, гибель многих русских солдат и матросов находили горестный и недоуменный отклик даже в пекарне. Участились забастовки фабричных и заводских рабочих. И темные, разобщенные пекари стали ощущать революционное возбуждение. Особенно те, в чьих губерниях начались крестьянские волнения. Ведь наши работники, как правило, были люди деревенские, корнями связанные с деревней. Что-то и у нас сдвинулось с мертвой точки. Правда, меня, как и других «серяков», продолжали бить, но не столь часто, а так, по инерции.

Как-то носил я хлеб в мелочную лавку на 7-й линии Васильевского острова. Возвращаюсь налегке. Вдруг вижу бегущего человека, за ним — городской и какой-то штатский. Бегущий на всем ходу вскочил на проходившую конку, при этом из его кармана выпало несколько печатных листков. Один я подобрал, быстро сунул за пазуху и, придя в пекарню, стал читать. Незаметно ко мне подошли двое рабочих: «И нам покажи». Мы прочли прокламацию вслух. Содержания ее совершенно не помню. Помню лишь, что подпись: «РСДРП» — никто из нас растолковать не смог. И еще помню замечания этих двоих. Один сказал:

— Листки бывают разные, которые — за рабочих пишут, а которые — за нас, за мужиков, за деревенских.

— Ну, эта-то, вестимо, за рабочих, — сказал второй.

Через несколько дней после истории с листовками и бомбой нам подали совсем уж несъедобные щи. Поднялся шум.

— Вся наша болтовня яйца выеденного не стоит, — сказал «немец». — От нее щи лучше не станут. Вон конюшники поднялись за себя, добились льгот. Могли бы и мы, если...

Грамофон стукнул кулаком по столу:

— Что «если»? На бунт подбивать? Сколько, сука, взял за компанию со студентами? Бить таких надо, руки заломить — и в Сибирь!

«Немец» спокойно сказал:

— Никаких денег я ни от кого не получал. А в Сибирь всех не загонишь. — Встал из-за стола и вышел.

Грамофон в ярости грохнул табуреткой. Рабочие тоже вскочили на ноги. Отпетые пьяницы кинулись было за «немцем», но другие набросились на пьянчуг:

— Вы что, заодно с «фараонами»? С Граммофоном заодно?!

А один вплотную приблизился к Граммофону.

— Бить, говоришь, надо? Это чьи же слова? Думаешь, не знаю, чьи слова-то? Я слышал, как Тихон тебе говорил: «Я тебя в люди вывел, мастером сделал, а ты, такой-рассякой, рот раззевашь, не можешь народ обучать! Напони ребят, пусть побьют одного-двух «умников», остальные хвост подождут».

Тут все не выдержали, двинулись на Граммофона:

— Ах ты, Иуда! Продажная тварь! Тебя самого нужно избить! Мало ты нас тиранил?!

Но после этого взрыва негодования рабочие как-то притихли. Нельзя сказать, что они перестали интересоваться вестями из Маньчжурии, сообщениями о забастовках и манифестациях. Снова, однако, возродился страх перед Граммофоном, приказчиком, хозяином, разговоры велись тихо, не столь открыто. Если кто узнавал новенькое, то тихонько подзывал друзей, и они удалялись за штабеля мешков с мукой. Место было почти потаенное и стало вроде клуба. (Слова «клуб» я тогда еще не знал.) Соблюдались предосторожности. Ставили мальчика на стрему, в случае тревоги он сигнализировал, изменив голос, произносил скороговоркою: «двадцать один» (при появлении приказчика), «двадцать» (приближался Граммофон), «школа» (подлипали приказчика).

Мне нравилось стоять на стреме: узнаешь кое-какие новости. Как-то одного нашего подмастерья навел на земляк и рассказал: у них на заводе вывезли на тачке мастера-кровопийцу<sup>1</sup>. Рассказ вызвал большое оживле-

---

<sup>1</sup> В старое время многих мастеров ненавидели рабочие. «Низовое звено» фабричного и заводского начальства — такие мастера, подлаживаясь к хозяину, угодливо прислуживая ему, тиранили рабочих, выжимали из них все соки, часто облагали поборами — водкой, деньгами. Нет ничего удивительного, что рабочие их боялись и ненавидели. Поэтому-то в первую голову вывозили из цехов на тачках мастеров, а также тех инженеров, которые безжалостно относились к рабочим.

В конце двадцатых или в начале тридцатых годов (я тогда работал в ВСНХ) газета «За индустриализацию» вела кампанию против такого пережитка капитализма, как мастеровщина, дававшего себя знать на некоторых предприятиях. Выражался он больше всего в том, что иные старые мастера держались надменно, противопоставляли себя рядовым рабочим, берегли секреты производства, не делились ими с молодежью, тем самым стараясь монополизировать накопленный годами опыт, навешивать себе цену.

ние. В газетах о таких случаях уже писали, а тут живой свидетель, даже участник. Все собравшиеся одобрили: наказание не зверское, однако позорное, может быть, оно похлеще скуловорота будет... «Вот бы Граммофона да на тачку!» — раздался голоса.

Граммофон прослышал об этой угрозе и вздрагивал каждый раз, когда в его присутствии произносилось слово «тачка». Например, рабочий тащит со склада в пекарню увесистый куль муки, а поблизости оказывается Граммофон. Тут уж непременно слышалось: «Эй, зачем надрываешься? Лучше бы *на тачке!*» Свидетели такой сцены улыбаются, Граммофон темнеет, молча отходит в сторону.

Жизнь быстро учит людей. Другое дело, как и чему учит, но учит, пожалуй, всех. Я загорелся желанием действовать, самоутвердиться. Не сознанием, а инстинктом чувствовал врага и старался насолить ему.

Одежда, в которой я приехал из деревни, сильно обносилась, была засалена, пропитана мукой. На улицах «чистая публика» брезгливо меня сторонилась. Это я еще прощал, но не прощал тем «чистюлям», которые взирали на меня с откровенным отвращением, называли «оборванцем», «босяком». Первое время я сам обходил их, а потом, завидя франта или франтиху, норovil задевать, запачкать мучной пылью.

Смелее повел я себя и в пекарне. Раньше я покорно исполнял приказания любителей затрецин: «Мальчик, подай...», «Мальчик, отнеси...» Теперь я научился без слов наказывать мучителей. «Мальчик, живо листы!..» Несу чистые холодные листы, а между ними изловчусь положить раскаленный, взятый, можно сказать, с пылу-жару. Обидчик схватит, обожжется и зарорет как сумасшедший. Я получаю очередную оплеуху, но ведь все равно получил бы ее, а между тем насильник пребольно наказан, впредь, беря от меня листы, он делает это осторожно, недоверчиво, а мне того и надо: я успеваю удрать. Или «ненароком» пролью воду на скользком каменном полу, мастер грохнетя...

Но чем досадить Граммофону? Однажды я увидел его дремавшим на табуретке, схватил бумагу, написал крупно: «На тачку!» — и мучным клейстером тихонько прилепил ее на спине Граммофона. Вскоре поднялась такая суматоха, что хоть святых выноси. Граммофон неистовствовал, Тихон пожаловался хозяину, что это дело рук «немца»: он-де и газеты вслух читает, и студентов-разбойников расхваливает, и против царя выска-

зывается, вообще готовит бунт пекарей. Хозяин крупно повздорил с «немцем», тот сразу потребовал расчета. А за ним покинули Бахарева «Папа Римский» и калачник. Превосходные мастера, они трое поступили в новую пекарню на Гороховой, и та прославилась отменными изделиями. Наш «товар» стал качеством похуже. Бахарев терпел убытки и выместил злобу на Граммофоне: предложил ему убираться вон.

Рабочие, понятно, ликовали. Никто так и не узнал, что падение всеильного Граммофона — результатделки ничтожнейшего «серяка». А «серяк» тоже радовался, но при этом подумал: впредь надо быть осторожнее, чтобы не подводить таких хороших людей, как «венский мастер»...

## 5

---

**Старший приказчик «вразумляет» нас примером пекарей Лондона.— Студент называет мне имя Карла Маркса.— Первый урок политграмоты.— Тетрадка, с которой началось мое политическое самообразование.— Прокламация о крестьянстве.**

Мне трудно восстановить даты, но, кажется, это произошло через несколько дней после ухода Граммофона. Во всяком случае, его не было, когда в пекарню забрел малый с фабрики Паля. Он жаловался, что фабрикант в ответ на требования сократить рабочий день до 9 часов и увеличить заработок заявил: «Закрою фабрику, всех уволю, затем найму новых». У них был митинг, речи говорили социалисты-революционеры и социал-демократы.

— А кто из них за мужиков и кто за рабочих? — допытывался новый хлебник, страстно желавший зашибить в Питере деньгу и купить землю (раньше у него была земля, да пришлось продать кулаку и податься в город на промысел).

Палевский рабочий развел руками: не знает, какая партия за кого стоит; он только запомнил, что и те и другие против царя, чтобы был президент, вроде старосты, которого будут выбирать все: и рабочие, и мужики, и даже бабы.

— Даже бабы? — переспросили его недоверчиво. Он подтвердил, и это произвело впечатление.

Мог бы привести и другие сходные эпизоды. Но, думаю, достаточно ограничиться только этим, чтобы понять, какой сумбур был в головах рабочих мелких предприятий, вроде нашего, и даже крупных, как текстильная фабрика Паля, где работали многие вчерашние крестьяне, мечтавшие возвратиться «к земле». Металлисты, потомственные рабочие — те, конечно, были куда сознательнее. Но с ними я еще не был знаком.

У Тихона были в пекарне осведомители, они донесли о брожении среди рабочих, о разговорах с фабричными. Однажды, когда почти все были в сборе, вошел Тихон и, держа в руке какие-то листки, громко объявил:

— Ну, любители бунтов, послушайте, что умные люди пишут.— И громко стал читать:

«Работа лондонского пекаря-подмастерья начинается обыкновенно в 11 часов ночи. В это время он делает тесто — чрезвычайно утомительная процедура, продолжающаяся от  $\frac{1}{2}$  до  $\frac{3}{4}$  часа, смотря по величине и качеству выпечки. Затем он ложится на месильную доску, служащую одновременно и крышкой для квашни, в которой делается тесто, и засыпает часа на два, положив один мучной мешок под голову и покрывшись другим. Затем следует спешная и непрерывная пятнадцатичасовая работа: надо месить тесто, взвешивать его, придавать ему форму, сажать в печь, вынимать из печи и т. д.»

Надеюсь, читатель не посетует за столь большую выдержку, тем более что скоро я раскрою «секрет» приказчиьего довольства самим собою.

Тихон продолжал:

«Температура пекарни колеблется между 75° и 90° по Фаренгейту, или 24°—32° по Цельсию, причем в небольших пекарнях она скорее бывает выше, чем ниже. Когда хлебы, булки и т. д. готовы, начинается распределение выпечки, и значительная часть рабочих, окончив только что описанный тяжелый ночной труд, в продолжение дня разносит хлеб в корзинах или развозит его в тележках из одного дома в другой, а в промежутках производит иногда еще какую-нибудь работу в пекарне. Смотри по времени года и размеру предприятия, работа заканчивается между часом и шестью часами пополудни, тогда как другая часть рабочих занята в пекарне до позднего вечера».

Старший приказчик читал, как проповедовал: выразительно, чуть нараспев, поднимал перст, иногда вставлял: «Слышите, голытьба?» Или: «Я не выдумываю, умный человек писал, знает дело».

Приказчик сложил листки, передал их пекарям и сказал:

— Можете и сами прочитать. И зарубите себе на носу: англичане поумнее нас с вами — это же Европа! — а понимают, какой должен быть порядок в пекарнях. А вас студенты мутят, вы и задумали беспорядок учинить.

Когда приказчик удалился, новый кондитер сказал:

— Наверное, бахаревский сынок, студент, листки ему сунул — прочти-де работникам, пусть знают, как в культурной Англии...

— Как так? Ведь студенты — за народ! — воскликнул я.

— Видал? — расхохотался подмастерье. — Да разве народ может детей в студенты отдавать! В студенты идут одни богатые.

Легко представить себе, как я обрадовался, когда меня рано утром отправили с корзиной булок в буфет Горного института. Уж там-то, думаю, зацеплю какого-нибудь студента, попробую разузнать, чем дышат.

Вестибюль и лестница института были полны возбужденными студентами. О чем они толковали, я, как ни старался, понять не смог. Сторож Панфилич поманил меня пальцем и сказал, что заявился я не вовремя, лучше б мне уйти со своею корзиною, не ровен час, полиция нагрянет:

— Вишь, беспокойно у нас. Бунтуют, чего-то требуют, а начальство занятия запретило.

Я стал расспрашивать: как же так, студенты народ богатый, а бунтуют? Институтский сторож с видимым удовольствием, даже с некоторой важностью, отвечал мне. Из его объяснений я понял, что денег учење в институте стоит немалых: и форму надо справить — шипель, тужурку, фуражку, и комнату снять, и учебники, тетради покупать. Так что деньги у них, студентов, конечно, ба-альшие, должно быть, водятся. А вот пойми их, часто случается, у двух студентов только одна пара штанов: один ходит в институт, другой дома сидит.

— Значит, бедные? — недоумеваю я.

Панфилич молчит, сам не понимает.

— А чего бунтуют? — допытываюсь.

— Да они, парень, за идею.

Я впервые слышу это слово и спрашиваю, что оно означает. Но мой «лектор» явно утомился от умственного напряжения, роняет несколько слов:

— Они царя не уважают...

Вдруг вижу на лице Панфилыча радостную улыбку. Он заметил в толпе знакомого студента и подозвал его:

— Вот парнишка с булками. Не таскать же полную корзину назад! Может, подмогнете сдать в буфет? — И шепотом, показывая на меня: — Малый-то интересуется, из богатых ваш брат или нет да отчего бунтуете.

Студент кивком пригласил меня следовать за ним. Нам предстояло с улицы обогнуть здание и попасть во двор.

— Так-так, — протянул мой провожатый. — Богаты мы или бедны? Разве у вас в пекарне это кого-нибудь беспокоит?

Я уже упоминал об одной особенности моей памяти, обнаружившейся еще в сельской школе. Все, что я в детстве и в юные годы прочитывал, запоминал почти дословно. Разрозненные книжные странички, оставленные нам приказчиком, я прочитал дважды. Не все в них понял, но зато накрепко запомнил, поэтому мне не составило труда довольно сносно изложить студенту содержание «листочков» про пекарей Лондона.

— Bravo, bravo! — Мой собеседник хлопнул в ладоши. — Эти мерзавцы уже пытаются и Маркса привлечь к себе в помощники! Ты, знаешь, мальчуган, что сообщил нечто важное?

— Вы говорите: «Маркса привлекают...» Вы меня не ругайте, но кто он такой, Маркс?

— То, что вам читал приказчик, написал Карл Маркс. Запомни: Карл Маркс. Это великий социалист, коммунист. Он и его замечательный товарищ Фридрих Энгельс — учителя рабочего класса всего мира. Они написали много книг, много статей. У Маркса есть большое, серьезное сочинение, «Капитал» называется. Это о том, почему так происходит, что богатые мучают рабочих, наживаются на их труде. Из этой-то книги и взял ваш приказчик «листки»<sup>1</sup>. Маркс писал о страданиях английских пекарей, о том, как покончить с угнетением рабочих и с самим капитализмом. А ваш приказчик изобразил дело так, что таков, мол, порядок во всех странах и этот порядок незыблем. Ох, и ловок, шельма! Все перевернул шиворот-навыворот, с ног на голову поставил.

<sup>1</sup> Старший приказчик в «назидание» рабочим нашей пекарни прочитал отрывок из восьмой главы «Капитала» — «Рабочий день» (см.: *Маркс К., Энгельс Ф. Соч.*, т. 23, с. 261).

Он рассмеялся, потом весело посмотрел на меня:

— Вижу, коллега (и это слово я в первый раз услышал), вижу: хочешь знать, а за кого я сам стою? Ну, слушай. Отец умер, мать живет на небольшую пенсию, часть мне отдает, но этого совсем мало, вот и бегаю по урокам, учу митрофанушек-барчуков. Так что, друг, мы с тобою почти в равном положении. Я даю уроки, ты таскаешь корзины, оба зарабатываем на жизнь.

Я глядел на него во все глаза. Такой образованный, а как просто держится!

— Впрочем,— продолжал студент,— тебе ведь хочется знать, за кого я? Ладно. Давай напрямик. Вот окончу курс, наверно, буду за богачей. Стой, ты чего ошестинился? погоди возмущаться, погоди. Подумай: для чего меня учат? Кому я, инженер, понадобится? Хозяину рудников. Зачем? А затем, чтоб получше дело наладить, побольше барыша для хозяина выжать.

Я еле вымолвил:

— Вы... вы будете жать на рабочих?

— А хозяин для этого меня и нанимает.

Моя физиономия стала совсем кислой.

— Вот ты недоволен, а между тем ты тоже работаешь на хозяина... Чем больше будет жать на тебя приказчик, тем больше прибыли получит твой хозяин. Таково, брат, устройство общества. Мы оба с тобой рабы денежного мешка и, чем больше работаем, тем больше закабалием себя.

— Так зачем же вы этого хотите?

— А разве я тебе сказал, что хочу этого? Я как раз другого хочу. Хочу, чтобы все шахты, рудники, и фабрики, и заводы, и ваша пекарня принадлежали не отдельным хозяевам, не капиталистам, а всему народу. И хочу, чтобы я, и ты, и вот они,— он показал на прохожих,— работали не на хозяина, а на себя и на все общество.

Я спросил, какая разница между партиями. Студент отвечал: разница есть, и разница весьма существенная. На словах-то все они за народ, а надо судить по тому, что каждая партия делает, чего добивается.

— Эх, жаль, времени нет, ждут меня, а то бы потолковали...

Я схватил его руку.

— Ну, еще немножко.

— Ты лучше всего бы сделал, если бы интересовался партией социал-демократов, эсдеков сокращенно.



Не верь тем, кто говорит, что эта партия только за рабочих. Она борется за освобождение также и крестьян, всех трудящихся. Запомнишь еще одну фамилию?

— Запомню!

— Ленин. Побольше читай. Теперь тебе еще трудно, но читай, становись образованнее. Ходи, когда сможешь, на митинги, собрания. Слушай речи. И думай своей головой.

Я умоляюще просил ответить еще на один вопрос: что же, эти эсдеки хотят, как во Франции (кондитер рассказывал), отрубить царю голову и чтобы правили выборные? Студент сказал:

— Коротко не ответить. Ну, я в двух словах. Имей в виду, во Франции нет короля, вроде нашего царя, и считается, что там правят выборные, депутаты парламента. Но это только кажется, будто они правят. На самом деле Францией управляют богачи-капиталисты. В Англии есть король и есть парламент, а ни король, ни парламент вовсе не правят, а правят те же капиталисты, английские капиталисты. Все это сложно, поживешь, считаешь книжки и газеты, слушаешь людей, многое узнаешь. Но головой-то всегда думай своею, чтоб тебя с толку не сбили.

Студент схватил меня за руку, бегом потащил в сторону буфетчика, что-то быстро сказал ему — и улетучился. Булки у меня приняли...

Больше ни разу в жизни я этого студента не встретил, но вспоминал часто. И теперь хорошо помню его лицо, даже интонации голоса. Как сложилась его судьба, какой дорогой он пошел, не знаю. Но я и поныне благодарен этому человеку, преподавшему мне первый урок политграмоты. Урок был, правда, краткий, беглый, но все ж полезный. Много новых вопросов возникло, надо было искать на них ответа...

А проза жизни была прежней. Как-то утром понес я булки в чайную на 5-й линии, рядом с типографией. Владелец чайной начал кричать: типографы уже пришли, а булки опоздали. Пока он сердито пересчитывал товар, я прислушивался к разговорам за столиками. Один посетитель возбужденно рассказывал про собрание петербургских наборщиков, об их требованиях к хозяевам, в частности о требовании охранять детский труд в типографиях, не ставить детей к верстакам вместо взрослых наборщиков.

В пекарне я поделился этой новостью с каким-то подмастерьем, а он сказал, что, слышно, питерские бу-

лочки тоже союз устраивают. Я спросил: а «мальчиков» будет союз защищать? Подмастерье этого не знал.

Мое воображение заработало. Намерения наборщиков, слух о союзе булочников слились. А тут в магазин заявился «мальчик» с Выборгской. Я ему шепнул, как уже о свершившемся: создан союз булочников, и будет союз требовать, чтобы «мальчикам» установили рабочий день покороче, не больше 9 часов, и чтобы жалование им прибавили и не смели драться.

А дня через два, когда я вернулся после разноски товара и налил себе кружку чая, в пекарню вошел приказчик, направился прямо ко мне и свирепо крикнул:

— Ты-то и нужен! А ну-ка встать! — И дал такую затрещину, что у меня искры посыпались из глаз. Еще удар — и я упал головой на каменный пол. Приказчик в ярости продолжал бить меня по голове, по лицу, пинал ногами по животу. И приговаривал в бешенстве: — Союза булочников захотел, стервец! Ах ты неумытое рыло! Если еще раз что выкинешь, изобью до смерти, выгону, в полицию сведу!

Еле я добрался до ящика. Появившийся калачник помог мне умыться, налил чаю:

— Выпей, полегчает малость,— и спросил, кто это меня так.

Отдышавшись, я рассказал, как дело было.

— Ну и продажная шкура этот Тихон! — возмутился калачник. — Как взбесил его союз-то. — И успокаивал меня: — Ты не плачь, парень, не плачь... А союз все равно будет, увидишь, будет...

Деревенская моя одежонка сильно поистрепалась, сапоги и вовсе пришли в негодное состояние. Взрослые подсказали: голенища еще ничего, продай на Александровском рынке, приплатишь рубль-другой, купишь сапоги поновее. Получил еще один совет: пройдя мост, идти прямо по Садовой, не сворачивая, в сторону Крюкова канала.

Отлично запоминал я не только прочитанное, но и площади, улицы, переулки, проходные дворы Петербурга. И сейчас, как мне кажется, даже с закрытыми глазами мог бы пройти по ним. А вот память на имена всегда была похуже. Иной раз встречу товарища, в лицо знаю, а фамилию забыл, неловко даже. Эта досадная особенность в дальнейшем, по ходу моего рассказа, не раз помешает мне назвать многих по именам, а поэтому прошу у читателя извинения,

Встал я очень рано, еще до рассвета. Выиграл время, чтобы пойти именно к Крюкову каналу, где раньше не бывал, и поглядеть на новые для меня улицы. «Торговую операцию» с сапогами провел я довольно успешно, но не так целехонькие сапоги меня радовали, как нежданная «добыча».

Едва я миновал канал, как услышал за спиной шум. Оглянулся: с верхнего этажа жилого дома из распахнутого окна летят связки книг и газет, а из подворотни выскакивают друг за другом городовые и штатские. Я кинулся подбирать это богатство, но меня опередил откуда-то вынырнувший шустрый парнишка. Мы с ним сцепились, мне достались обрывки нескольких газет — большая часть у него, меньшая у меня. Обрывки пихнул за пазуху, а когда подбежавшие городовые крикнули: «Отдай!», я только развел руками: «Не брал ничего». Оказывается, на верхнем этаже шел обыск, обнаруженную пелегальщину полиция складывала на подоконник, часть свалилась на мостовую.

Возвращался в пекарню, предвкушая радость от предстоящего чтения. К калачнику я проникся симпатией, поэтому тотчас показал ему свою находку. Мы разглядели куски тоненькой бумаги, на которой были напечатаны, к несчастью, изорванные газеты. «Бумага, — сказал калачник, — не такая, как в петербургских газетах. Наверно, заграничная». Прочитанное мало что сообщило нам. В каком-то районе члены РСДРП обсуждали вопрос об отношении к либералам... (Кто такие «либералы», мы не знали.) Там-то распространены революционные прокламации и брошюры... (Что такое «прокламация», мы знали, а что значит «брошюра»?) А в одном газетном отрывке содержался призыв к рабочим отметить должным образом полугодие Кровавого воскресенья...

Рассказываю об этом, во-первых, потому, что эпизод помогает восстановить дату события. Полгода со дня Кровавого воскресенья исполнялось 9 июля; значит, политикой, «политиками» у нас в пекарне уже в июле (если не в мае) интересовались достаточно живо. Во-вторых, стало быть, еще до июля пятого года услышал из разговора со студентом-горняком я про Маркса, Энгельса, Ленина, про политические партии.

Незнакомые термины в газетах натолкнули меня на мысль купить тетрадку. Я стал в нее записывать непонятные слова: «РСДРП», «пролетариат», «брошюра», «либералы», «классы», «экспроприация», «конфиска-

ция», «эксплуатация»... Тетрадку, конечно, тщательно прятал. С нее, с этой тетрадки, и началось мое политическое самообразование.

Прилагал все старания разыскать студента. Ходил в Горный институт — не встретил. Потом ходил в университет: может быть, он там? В университет попал во время студенческой сходки. Отозвал двоих в сторону, стал спрашивать про горняка, описывать его внешность. Нет, они его не знают.

— А тебе, собственно, зачем? Он твой родственник? Земляк?

Я коротко рассказал, почему ищу. Один из моих собеседников похлопал сочувственно меня по плечу, сказал, что если хочу, то вот две прокламации, могу взять с собою, пойму ли, однако? Первая показалась мне неинтересной. Вторая, помню, была о крестьянстве, ее я прочитал дважды, на следующий день еще раз. Не все слова и выражения понял, но смысл прокламации уловил точно: РСДРП стоит за весь трудовой народ. «Правильно, — подумал я, — говорил студент из Горного института: социал-демократы хоть и рабочая партия, а поддерживает мужиков, желает им добра, освобождения от помещичьей кабалы».

Поскольку пекари и булочники были народ деревенский, то пересудам и толкам о положении крестьянства не было конца. Большинство мечтало подзаработать в Питере денег, вернуться домой — кто в Ярославскую, кто в Тверскую, кто в нашу Новгородскую или еще какую-нибудь губернию, выкупить (если заложена) или купить (если продана) землю, завести собственное хозяйство. Многие не отказывались от этой мечты, хотя втайне сознавали ее призрачность. А находились и такие, которые про себя решили: в деревню путь заказан, надо поразмыслить, как быть дальше, на два дома жить невозможно.

Передал я листовку о крестьянстве калачнику. Он прочитал вслух, и развязались языки. Особенно горячился хлебник, его у нас звали «мужичок». Суть спора, аргументация «сторон» запомнились.

**Мужичок.** Мне, паря, деньги во как нужны! Я не буду до гроба у печки потеть, землю куплю.

— А зачем покупать-то? Отымут у бар, бесплатно дадут.

**Мужичок.** Это кто же такой отберет и мне задарма подарит? Уж не рабочая ли партия? Так она только о рабочих хлопочет.

— Да что ты знаешь о рабочей партии? Ходишь куда-то, черт не разберет куда, а там и дурят тебе голову.

**Мужичок.** Не такая уж я орысина, как ты думаешь. А люди там дельные, они говорят: «Дадут или не дадут мужику землю бесплатно, а деньги ему завсегда нужны, чтоб и коней купить, и коров, и машины». Помещику-то часть земли непременно оставить надо, ему тоже жить охота.

— Нашел пахарей... помещиков! Оно и видно, чему тебя учат какие-то умники...

Спор закончился тягостным молчанием.

— Ни черта-то мы толком не знаем,— проговорил калачник.— Фабричным про политику рассказывают, ходят к ним студенты, другой образованный народ, разъясняют, что к чему. А к нам, к мелкоте, кто придет? И где такого толкователя сыщешь? А у самих образования ни на грош.

Большое расстройство вызвали во мне эти горькие признания. Ничего, кажется, я не хотел так, как учиться, набираться знания. Но каторжная жизнь этому мешала...

## 6

---

*Перевод на Румянцевскую площадь.— Катастрофа: меня выгоняют с работы.— Только рабочие помогают рабочим.— Заработок на Калашниковской набережной.— Ночлежка для беспаспортных.— Знакомство с «дном».*

В августе Тихоп объявил мне, что я перевожусь в «холодную» булочную на Румянцевской площади. Остаюсь «мальчиком» с трехрублевым жалованьем, я, однако, освобождался от изнуряющей пекарни. Это был плюс. А минус заключался в том, что в «квартиру» и в «столовую» я буду приходить только поспать и поесть,— значит, теряю возможность слушать разговоры про стачки, про листки, про новости, услышанные от земляков, работающих кто на заводе, кто на фабрике. (Продавцы магазина такими вопросами не интересуются.) Был еще один плюс: управиться быстрее с доставкой хлеба, можно дольше поболтаться на улицах, побывать на митингах, а если попадется книжка или

прокламация, то почитать, расположившись где-нибудь в сторонке.

Купили мне каламянковую блузу, белый передник без нагрудника (не за хозяйский, ясно, счет, а за мой собственный), поставили за прилавок взвешивать ситный, отпускать булки, сайки, крендели, пирожные. Взвешивать — это одно, а вот обвешивать... Именно к тому, чтобы незаметно обвешивать, обманывать, и стали меня приучать. Мне это претило, с детства всякий обман и надувательство вызывали отвращение.

К счастью, за прилавком приходилось стоять не так уж долго. Много времени уходило на разнос и развоз товара. И не счесть буфетов, чайных, трактиров, куда я доставлял хлеб, квартир, в которых я появлялся ежедневно. Носил я хлеб чиновникам, офицеру, адмиралу, помещику, двум вдовым генеральшам, фабриканту, издателю, бухгалтеру, присяжным поверенным, экономке... Каких только людей не перевидал! Разные, понял я, богачи бывают, да и не все квартиранты богачи.

Крупным клиентом нашей булочной был приют при Евангелической общине. «Мальчик», которого я сменил, делал мне какие-то намеки: «Вот там экономка, так она тебя сладеньким накормит и...» Тут он умолкал и многозначительно хихикал.

Экономка оказалась очень высокой, сухощавой и некрасивой, с пушком на подбородке и верхней губе, с мужскими ухватками и голосом. Было неприятно смотреть на нее, особенно отпугивал странный взгляд. В начале октября мне предложили отнести в приют хлеб — не днем, как обычно, а к восьми вечера. Экономка была пьяна. Еле ворочая языком, она предложила мне сесть и выпить с ней сладенького вина. Я сказал, что не пью, мне пора в булочную. Она глянула на меня как-то плотоядно, вцепилась в мои плечи, прижала и стала что-то несвязное бормотать. Охваченный ужасом и отвращением, я вырвался из ее объятий и пустился наутек. Заявился в «спальню» поздно ночью, не мог уснуть, вспоминал случившееся.

Меня ждала катастрофа. Утром к старшему приказчику Кузьме (он был тираном, под стать Тихону) явилась экономка с прислугой, швырнула на стол счета и, ссылаясь на запуганную служанку — свидетельница! — закричала:

— Больше не будем у вас хлеб покупать. У вас воры и жулики. Вот этот ваш, — показала на меня, —

вчера украл в приюте банку варенья и бежал, оставив счета.

Приказчик рассвирепел. Потерять оптового заказчика! Кузьма схватил сметник (щетку с ручкой) и ринулся на меня: «Убью!» Я нырнул под прилавок, выскочил на улицу, а затем безостановочно бежал: через Румянцевский сквер, по Университетской набережной, по мосту. Остановился передохнуть только у здания Адмиралтейства. Сел на скамейку и горько заплакал. От пережитого ужаса, от обиды, оскорбления, от неотетного горя...

Сиюю сгорбившись у Адмиралтейства. Жжет и мучит мысль, что хлебник, калачник и другие поверят, что я украл, что я вор. Потом другая мысль: кругом я одинок, нет во всем этом Петербурге ни родных, ни пристанища. И средств к существованию никаких. Ничтожный заработок я хранил в сундучке, в нем и теперь лежит трешница. Сколько же в кармане? И рубля не насчитал. Пойти на хозяйскую квартиру за деньгами? Боязно... Встал со скамьи, побрел куда-то. Не заметил, как и смерклося: октябрьский день короток, дождлив. Жизнь мне казалась беспросветно мрачной, безысходной.

В ту ночь и в следующую ночевал на голой лавке разгруженной баржи у Тучковой набережной. Вставал затемно, потому что было очень холодно, и боялся: придут люди, сведут, чего доброго, в полицию. А днем ходил по городу, искал работу.

Питерские улицы бурлили. Собирались толпы, виднелись красные флаги, слышались песни. То было время массовых забастовок, охвативших Россию. Я забыл о своих бедах: митинг у Нарвских ворот, митинг на Лихтенбергской улице и на Балтийской... Только возникнет — налетают городовые или казаки...

На Петергофском шоссе нос к носу столкнулся с землячком. Он спрашивает, как дела, я отвечаю: аховые, хуже нельзя.

— Н-да-а, дело-то, землячок, у тебя табачок.— Он рассмеялся, но тотчас осекся, добавил озабоченно: — Ан и табачок подмоченный... Где ныне работу сыщешь? Видал, какая кутерьма?

Сознавая, что значит для меня ночлег, он повел меня в одну рабочую семью. Жили эти люди бедно и тесно. В комнатенку набилось немало стачечников. Меня очень заинтересовали их разговоры. Было поздно, когда хозяйка предложила мне остаться у них до

утра и уложила на полу в кухне, другого места не оказалось. В 6 часов она меня разбудила, угостила чаем, куском черного хлеба, огурцом.

— Ешь, малый, ешь на здоровье! Не стесняйся! Уж если мы не будем друг другу помогать, то кто ж нам поможет?

Я подумал: очевидно, поддержка рабочими друг друга — это старая и очень хорошая, очень полезная привычка (я еще не знал слова «традиция»). Издавна бедняк помогает бедняку, обездоленный обездоленному. Может, и мне помогут забастовщики?

В этот день подвернулся заработок. На Калашниковской набережной высокий, сухощавый старик — узколиций, злой, глазки запавшие, щелочками, бороденка реденькая, звали его Крысой, — старик этот набирал людей, чтобы поскорее, до морозов, сгрузить зерно с барж в амбары. Ищущих заработка было много. Крыса остро вглядывался в толпу, быстро выносил «приговор»:

— Ты, ты и вот ты — марш на баржи, мешки насыпать, а вы, — показывал он пальцем, — в грузчики, мешки носить в амбары, да живо пошевеливайся, без задержки! Каждому — рупь в день... А вы, — он воззрился на плохо одетую женщину и на меня, — вы в амбар, на сусеки. По двугривенному...

— Только двугривенный? — выдохнул я.

— А что, может, в грузчики наймешься, щенок?! Не хошь, другого кликну, вас тут, босяков, хватит.

Я поспешно согласился.

Во всю стену амбара тянулся широкий и глубокий ящик, разделенный на секции (сусеки). Нам с женщиной предстояло поспевать за грузчиками. Один за другим, нескончаемой цепочкой, они ссыпали зерно, мешок за мешком, а от нас требовалось разгребать и ровню его разверстывать.

Лопата оказалась тяжелой, рассчитанной на взрослого и сильного человека. Сквозняки гоняли тучи пыли, она застилала глаза, набивалась в нос, в глотку. Затхлая сырость пронизывала до костей. Стоило миг промешкать, переменить позу, Крыса или его помощник с выразительным прозвищем Верблюд оказывался тут как тут:

— Давай, давай, лодырь! Выгоню!

Время тянулось бесконечно, томительно медленно. Наконец услышал: «Шабаш, ребята!» — перерыв на обед.



С трудом переставляя ноги, шатаюсь, я вылез, нет, выполз из сусека. У выхода из амбара женщину, работавшую бок о бок со мною, остановил Верблюд и, не говоря ни слова, хрястнул ребром ладони по лицу. Женщина упала. Я закричал не своим голосом:

— За что вы, звери, человека убили?! За что?

Верблюд вышвырнул меня на тротуар. Крыса, не смущаясь, задрал женщине подол, спустил и вывернул чулки — оттуда посыпалось зерно. Рабочие проходили мимо молча, не обращая ни на что внимания, будто ничего и не произошло. А я, поднявшись на колени, с ужасом и жалостью смотрел на плачущую, полураздетую женщину, распростертую на грязных досках.

Грузчики побежали к реке. Я — за ними. Как и они, разделся до пояса и, несмотря на холод, стал смывать с себя грязь. Потом все направились в чайную. Как ни был я голоден, а не смог проглотить варево, которое здесь именовалось обедом. Свинья и та, паверное, от-вернулась бы от этой гадости, за которую пришлось выложить гривенник — половину дневного заработка. Впереди еще были многие часы амбарной каторги.

В тот день ночевал — привел туда какой-то босяк — в так называемом пансионе Просвирни. Помещался «пансион» в Перекупном переулке, в глубине двора, в каменной пристройке, которая в прошлом, очевидно, прилежала к монастырскому зданию. Спустились в сырой подвал. Босяк кликнул Просвирню — иначе хозяйку этого притона не называли. Где-то наверху заскрипела дверь, грязная, жирная баба хрипло спросила: «Паспорт есть? Нету? Гони пятак». Уплатив, я очутился в самом «пансионе». Низкий сводчатый потолок, как и стены, покрывали пятна и разводья плесени. Наверху едва очерчивалось узенькое оконце, никогда должно быть, не открывавшееся. Комната была разгорожена не то фанерой, не то картоном на мужскую и женскую половины. На нарах вповалку спали человек двадцать пять, может, и все тридцать, кто полураздетый, а кто совсем голый, так здесь было душно и жарко.

Только-только стал засыпать, как вздрогнул от прикосновения рук, шаривших в моих карманах. Одновременно кто-то принялся тащить с меня сапоги. Я стал отбиваться, громко закричал. Появилась Просвирня, сразу оценила обстановку и, ткнув пальцем в троих подростков, приказала какому-то Карпу:

— А ну-ка выбрось этих на улицу!

После этого я провалился в сон. Проснулся от хриплого баса Просвирни:

— Очищай помещение!

Это — чтобы все было шито-крыто, хотя, как сказал мне один из ночлежников, и дворник, и городской, и сам пристав получают от Просвирни взятки и глядят на притон для беспаспортных сквозь пальцы.

Больше я в сей «пансион» не приходил, такой страх он на меня нагнал. Последующие ночи спал (точнее дрожал в тупой дремоте) то на дне лодки, то в каких-то сараях. Однажды ночевал в какой-то котельной, в другой раз — в сторожке богобоязненного деда, из жалости приютившего меня на несколько часов, и даже в покойницкой (о ночи, проведенной в морге, еще расскажу).

Когда иссяк мой «капитал», я решил пойти на Румянцевскую за своими сбережениями. Все обошлось. В «спальне», куда я пробрался крадучись, пусто, сундучок на месте, я вынул заветные три рубля. И снова стал с утра до вечера искать работу и крышу над головой.

Как-то на Фонтанке озарила мысль: где-то здесь проживает богачка Зайцева, вдова того купца, который у нас в Зауломовской волости приобрел имение. Может быть, купчиха сжалится над сыном сторожа своего имения?

Разыскал квартиру, вошел в нее с черного хода, попал на кухню, поздоровался с кухаркой — она была из наших мест, узнала меня. Затем пожаловала хозяйка, стала расспрашивать, работаю ли, где, как живу. Я сказал правду. О, как богачка расвирепела! Молокосос, сопляк, дурачина, ему, видите ли, хозяин не нравится. Лодырь, дармоед, хотел бы небось, чтобы хозяин «за так» давал жалованье?! Наслушался проклятых забастовщиков!.. Долго бранилась разгневанная барыня, потом, сердито шурша платьем, удалилась в комнаты. Кухарка сокрушенно развела руками. На дворе меня догнал младший сын Зайцевых, Алексей, студент университета.

— Мамаша, — усмехнулся студент, — старых взглядов женщина! Деньги-то у тебя есть?

Я ответил: есть, дескать, но совсем немного. Он вынул из кошелька три рубля и пообещал, что попросит старшего брата (тот свое «дело» открывает) пристроить меня на работу. Затем напрямик объявил, что состоит в социал-демократической группе, если мне

что-нибудь понадобится, то я могу обратиться к нему, но только чтоб мать не знала.

Поблагодарив студента, я быстренько удалился. На душе полегчало. Шагаю в довольно приподнятом настроении. Вдруг меня хватает за плечо грязная, оборванная, вся в язвах женщина:

— Здравствуй, дружок!

Я шарахнулся в сторону, но женщина цепкая, не выпускает моего плеча.

— Ты что, забыл? Пойдем-ка со мною, увидишь меня в другом виде, сразу признаешь. Для твоей же пользы зову.

Что-то в ее голосе располагало к ней. Пересекли мы Рождественские улицы, свернули в какой-то переулок, очутились во дворе, в глубине которого я увидел не то флигелек, не то сарай. Женщина дернула дверь, обитую старой рогожей.

Мы вошли в просторную комнату. Рядом с несколькими большими столами находились широкие скамьи, наподобие деревенских лавок. Такие же скамьи — вдоль стен. На скамьях расположились — кто сидя, кто лежа — безрукие, безногие, слепые, глухие, немые, глухонемые, парализованные. Были тут старики и старухи, молодые мужчины и женщины, подростки, даже дети, и каждый с каким-либо увечьем или уродством.

Но что это такое?! Слепые отлично видели, глухонемые оживленно беседовали, безногие ловко передвигались, парализованные деловито переходили от одной группы к другой. Одни с аппетитом уплетали кашу, другие пили водку, третьи резались в карты, а некая пара, бросив костыли, лихо отплясывала «барыню».

Преобразилась и моя провожатая: содрала уродовавшие ее пластыри, смыла «синяки», «кровоподтеки», и я узнал в ней ту самую женщину, с которой работал в амбаре.

— Ты меня тогда пожалел, на набережной-то, — сказала женщина, — хочу и тебе помочь, горемычному.

Я понял, что она стала профессиональной нищенкой и предлагает мне пристать к нищей братии.

— Тебя обрядят, что и сам себя не узнаешь, станешь или слепым, или глухонемым, или горбатым, дадут тебе «место», сможешь легко настрелять копеек двадцать. Легко, понимаешь, не то, что в сусеке у Крысы.

Из дальнейшего выяснилось, что Петербург разбит «корпорациями» нищих на участки. Если кто-либо из

нищих заберется в «чужой» участок, на такого наведут полицию, и высылка из столицы обеспечена. «Корпорации» эти называются «сборнями». У лавры «кормится» сборня Федота, около Сенной — сборня Карпа, у Казанского собора и у Гостиного двора — Тимофея. Чем выгоднее место, тем больше причитается главарю. Главари — люди хваткие, жестокие, «сборню» держат в ежовых рукавицах под угрозой ареста и высылки из Петербурга, потому что все они тесно связаны с полицией, чинам которой постоянно перепадает часть поданий.

Я отказался нищенствовать, даже попытался мою доброжелательницу отвадить от этого занятия. Она горько улыбнулась:

— А с чего жить?

В те же дни я случайно познакомился с другими представителями «дна» — с опустившимися актерами. Их сначала было двое. От прежнего достатка на одном была поношенная пелерина, другой ходил в залатанных клетчатых брюках. У театрального подъезда Мариинки они ругали какого-то Потапа, который их обжудливает, платит за вечер только несколько гривен. Я подумал: тут можно заработать.

Когда подъезд к вечеру открылся, «пелерина» и «клетчатые штаны» (так я про себя называл незнакомцев) с жалким видом просителей вошли в театр. Я — за ними. А вот и тот самый Потап, человек, который набирал статистов. На меня он посмотрел с недоумением, потом, видимо, сообразив, что такого почти за дарма поставит в ряд бессловесных статистов, приказал: «Иди» — и повернулся к костюмеру: «Подправьте мальчишку посолиднее». Не успел я моргнуть, как мне прилепили усы и бороду, надели свитку, напялили на голову шапку, сунули в руку алебарду. Последовала команда выходить на сцену. «Разводящий» оторопело глянул на меня, малорослого, и проворчал:

— Становись вон там, у занавеса. Да стой смирно, не сморкайся, не кашляй, не чихай, ни с кем не разговаривай, не смейся, нос рукавом не утирай. Вообще — замри! Слышишь?! — И стремительно отскочил за кулисы: поднялся занавес.

Заиграл оркестр, на сцене появились освещенные ярким светом артисты. Мы, изображавшие «народ», были несколько затемнены, так что если бы я даже и нарушил строгую инструкцию, никто в зале этого и не заметил бы. Шла «Хованщина». Музыка, пение, крас-

ки, движение и яркий свет на сцене, публика партера и галерей — все это вызвало во мне восторг. Я забыл все на свете, только глазел, замирая от неземных звуков и красоты.

Окончился спектакль, меня разгримировали, я переоделся, вновь принял свой натуральный вид — почти что оборванца. Потап вручил мне 5 копеек (другим, я видел, он давал побольше) и напутствовал:

— Дня через два валяй опять сюда.

Я сказал «спасибо» и пошел за «пелериной» и «клетчатými штанами». Они снова ругали Потапа, этого «грабителя», который эксплуатирует артистов, попавших в беду, осведомились, сколько заплатил мне «кровосос», и, узнав, что 5 копеек, еще пуще разошлись и пригласили меня к «Афоне».

«Афонец» прогоревшие актеры прозвали кафе, которое, скорее всего, напоминало захудалую чайную, хоть и находилось вблизи Малого театра. Заведение было уже закрыто, но постоянных посетителей пускали со двора. Это был суший притон. Как и в последующие такие вечера, «пелерина» и «клетчатые штаны» все, что заработали у Потапа, пропили у «Афони». Пили здесь и другие неудачники актеры. Особенно отличался некий Варсонофий; отчества его никто, кажется, не знал, называли его фамильярно «Ворсой». О сцене он уже и не мечтал. Глуша водку, он громко бранил известных артистов: они-де и завистники, и клеветники, они виновники его провалов в театре.

Днем я бродил по городу, безуспешно искал заработка, слушал ораторов на митингах и собраниях, а по вечерам — не каждый, конечно, вечер — становился статистом. Меня прельщало не столько пятак, которого едва хватало на чай и булку с рубцом (холодцом), сколько спектакли. Балет не нравился, я полюбил оперу, больше других «Садко», «Кармен», «Пиковую даму», «Севильский цирюльник»; совсем не понравилась «Жизнь за царя», особенно главная ее ария — не соответствовала она моему умонастроению, противоречила моей ненависти к царизму.

Так как после закрытия «Афони» я помогал (бесплатно) перемывать посуду, мыть пол и т. п., то мне разрешили здесь спать. Пиджачок служил подушкой, пальтишко — одеялом, выщербленные доски столов — матрацем. Я даже не понимал, что общение со здешней публикой — многие предлагали выпить с ними — может затянуть меня в болото. Ничто грязное ко мне не прили-

пало. Напротив, помню, как я уговаривал «Ворсу» бросить пить, а он хмуро отмахивался от меня.

С «дном», которое многих засасывало и губило, я столкнулся в период нараставшего стачечного движения, подъема революции. Именно в октябре 1905 года разразилась всероссийская политическая забастовка. Она показала, какой грозной силой против царизма, произвола, тирании становится рабочий класс, когда действует едино.

Много лет спустя, когда я вспоминал свою далекую юность, то говорил себе: счастье мое, что я попал в Петербург незадолго до пятого года. Революционные события так быстро политически просвещали человека из массы, как раньше, до пятого года, не воспитали бы и десятилетия. Часто возвращаюсь к мысли: что было бы со мною, если, скажем, родился бы я лет на двадцать раньше? Конечно, поступи я на завод, попади в пролетарскую среду, я с моей склонностью искать справедливость стал бы, наверное, революционером. Ну, а в пекарне? И поныне, как живой, стоит перед моими глазами тот земляк, что помог мне перейти в «холодную» булочную. По меркам мещан он достиг «положения»: приказчик на учете! Но какой ценой? Его уродовали не только физически, но и нравственно. Он покорно сносил издевательства, вероятно, и не знал про чувство человеческого достоинства, пресмыкался перед хозяином и старшим приказчиком, а в душе люто их ненавидел и завидовал им. Он всех боялся, кроме «нижестоящих», у него не было решительно никаких общественных интересов, не было потребности в чтении. И это жизнь?..

## 7

---

**Как щепка в половодье...— «Хочу быть с вами, с революционерами».— Царский манифест.— Воззвание ЦК РСДРП.— На улицах Питера в день 18 октября.— Ночевка в покойницкой.— Как я чуть не стал штрейкбрехером.**

Может быть, и не следовало так подробно описывать события 1905 года? Ведь я в них не участвовал; они несли меня, как половодье несет щепку. Но, с другой стороны, и я, «щепка», льнул к «половодью». Случайные разговоры с революционерами, прокламации, митинговые речи не прошли для меня бесследно, сыграли важную,

решающую роль: вчерашний деревенский парнишка сначала медленно, затем все быстрее проникался сознанием необходимости своего личного участия в том, что совершалось на его глазах.

В тот вечер, когда получил от студента Зайцева 3 рубля, брел я по Забалканскому проспекту. Густой туман ложился на город, так что газовые фонари казались окутанными как бы многослойной паутиной. Впереди меня шли двое, по форме железнодорожники. У фонарного столба они остановились, быстро приклеили листовку, направились к следующему столбу.

Напрягая зрение, я стал читать. То была прокламация с призывом ко всеобщей политической стачке. Она начиналась словами: «Бастуйте, товарищи!» — и сообщала, что железные дороги уже забастовали во всей России. Этот призыв, помню, радостно взволновал меня. Упоминаю об этом не для общего, так сказать, фона, а чтобы пояснить, почему мне так претило «дно», с которым меня сводила жизнь безработного и бездомного...

В следующий день то тут, то там собирались забастовщики, то в одном, то в другом месте над толпой развевался красный флаг. Я подходил к людям, вслушивался в разговоры. Усталый от ходьбы по городу, я присел на скамейку и увидел сверток газет. То ли кто-то обронил, то ли, напуганный полицией, бросил. Наряду с буржуазными газетами — «Биржевые ведомости», «Сын отечества», «Торгово-промышленная» — лежали и номера «Пролетария». Я уже был наслышан, что это газета большевиков, и впился в нее глазами. Вдруг кто-то с силою ударил меня по рукам. Гляжу — двое в штатском (потом сообразил: шпики). Оба грозно вопрошают: где взял запрещенную газету? кто дал? куда и кому должен отнести? Отвечаю: под скамейкой валялись.

— Ну-ка, вставай! Марш за нами, там расскажешь.

Почему, однако, у них при свирепых рожах такие тихие голоса? Ага, нас окружили прохожие, и вот они уже бранят моих преследователей:

— Душегубы, вы чего парнишку-то донимаете? На всех стенках прокламации, а вы, ироды, за газеты уцепились!

Под общий хохот кто-то весело крикнул:

— Эх, фараоны, фараоны, разве не знаете, что парнишка-то у царя из-под трона газеты спер?!

Шпик ударил меня кулаком по лицу, я упал. Раздались крики, свист, проклятия, шпики пустились наутек.

Постепенно все разошлись, я утер лицо и пошел к Малому проспекту. А там во всю ширину улицы двигалась демонстрация. Я присоединился к ней. Люди пели «Вихри враждебные веют над нами...». Я этой песни еще не знал, но, уловив мотив, громко пел без слов.

Около завода Лесснера стояли казаки. Колонна повернула на Большую Вульфову улицу. Напали гренадеры, с тыла — казаки, а с боковых улиц, то есть с флашгоф, высыпала полиция. Колонна стала дробиться. Я оказался в группе человек из пятидесяти, не больше. Места эти я отлично знал по тем временам, когда разносил хлеб, поэтому крикнул своим спутникам, что покажу, как выбраться отсюда. Вскоре мы очутились на набережной Карповки, а там уже рассеялись кто куда. Я шагал с двумя молодыми рабочими: Иваном и Ильей, оба с патронного завода. Мы зашли в чайную. К нам подошел третий рабочий. Зашла речь о большевиках и меньшевиках, о Петербургском Совете, о всеобщей стачке, о том, как действовать дальше. Очень хотелось мне сказать им: «Возьмите меня с собой, дайте любое поручение, я выполню, я хочу быть с вами, с революционерами», но постеснялся.

После дня, полного таких событий, идти к «Афоне» не хотелось. Брел без цели, вспоминал демонстрацию, мотив революционной песни звучал в голове.

Так добрел до одного пустыря, на окраине его я заметил огороженный редким забором двор с двухэтажным флигелем и сараем. Только я забрался в сарай и устроился, благо сено было под рукой, как послышались топот сапог, приглушенный говор, лай собаки. Я выглянул: мелькнули какие-то люди, а следом появилась полиция. Я выбрался на улицу. Меня заметили городовые.

— Стой! Куда прешься? Говори, люди здесь пробегали?

— Не, не пробегали, тихо шли.

— Куда?

Я указал в противоположную сторону. Городовые ринулись назад.

Минут десять спустя раздался цокот копыт. Вдали показался разъезд стражников, их было всего трое. Я схватил здоровенный обломок кирпича и спрятался за поленницу дров. Стражники миновали поленницу, и тогда я запустил в них кирпичину. С головы одного следа папахы, он вскрикнул, стал вытирать кровь. Кто-то из стражников выстрелил, заметались они на своих лошадях, а я ползком перебрался на параллельную улицу.



Довольный собою, я добрался до Малой Невки, забрался в кубрик плоскодонки, там и проспал остаток ночи.

Утром направился к земляку за Московскую заставу. На углу Кронверкского и Каменноостровского проспектов несколько человек вчитывались в бумагу, наклеенную на стене дома. Я подошел и увидел крупные буквы заглавия: «Манифест».

То был известный манифест Николая II от 17 октября. «Манифест» был наклеен густо — на стенах, на столбах, афишных тумбах. И везде собирались группы людей, и каждый по-своему комментировал царский документ.

Невский проспект был затоплен громадной толпой. У Казанского собора виднелись красные флаги. Высокий студент произносил речь. До меня доносились лишь отдельные фразы. Из них можно было понять, что свободы, «дарованные» царским манифестом, куцые, верить им не надо, народ должен взять власть и установить подлинную свободу. «Долой самодержавие! Готовьтесь к вооруженному восстанию!» Запели «Марсельезу», потом «Вы жертвою пали в борьбе роковой...». Стоявший около меня юноша сказал своей спутнице: «Это в память жертв 9 января».

Тут появились распорядители, они предложили образовывать ряды, освободить тротуары и шествовать по мостовой. Я тоже попал в ряд.

Весь день, не чувствуя ни голода, ни усталости, я пробыл на питерских улицах, то шагал и пел песни с манифестантами, то перебегал от митинга к митингу.

У Румянцевского сквера, у зданий университета и биржи выступали ораторы. Если речь была скучная — я уходил, если речь была пламенная, революционная — я впивался глазами в оратора. У подъезда университета после зажигательной речи одного из выступавших несколько рук подняли над толпой красные стяги, раздались призывы: «На Невский! На Невский!» Захваченный толпой, я оказался в первых рядах колонны и был вынесен на Дворцовый мост, затем опять на Невский. Здесь я взобрался на тумбу, посмотрел в хвост колонны, потом в голову, уже продвинувшуюся вперед и прижавшуюся к другим демонстрантам. Такой громадной массы людей я никогда еще не видел.

Мимо Гостиного двора по Садовой на Невский, стремясь разрезать нашу колонну, шли с трехцветным

царским флагом монархисты, черносотенцы. Хотя их было много меньше, чем участников революционной демонстрации, вели они себя нагло, что есть мочи орали «Боже, царя храни». Кто-то пальнул из револьвера по монархистам. Смуглый студент зычно приказал: «Убрать провокатора!» Откуда-то появилась кавалерия. Нашу колонну оттеснили, и она двинулась к Марсову полю...

Просто удивительно, сколько улиц я исходил в день 18 октября, сколько впечатлений получил. На Загородном проспекте видел, как по толпе демонстрантов дали залп семеновцы, как упал, сраженный пулей, студент. Мне показалось, что это тот самый, который на Невском приказал убрать провокатора.

Были уже сумерки, когда я ощутил волчий голод и зашел в первую попавшуюся чайную. Посетители были сплошь лавочники Сенного рынка. Они ругали «проклятых бунтовщиков», пьяно кричали: «Виноваты студенты», требовали «порядка», усмирения «голытьбы». Один бородач надсаживался:

— Рази нас мало? Мы, торговый люд, — раз, полиция — два, казаки да войско — три. Стоит всем гуртом взяться и шугануть голодранцев к чертовой матери! Я не только сам пойду за царя-батюшку, я своих молодых поведу...

На Боткинской улице повстречалась мне толпа демонстрантов. Вдруг с гиком палетел отряд казаков. Демонстранты отхлынули, казаки орудовали нагайками. Я дернул за рукав рабочего, вместе с товарищами жавшегося к запертым железным воротам: «Помоги». Рабочий сразу понял мое намерение, согнулся, подставил спину, я взобрался на нее, перемахнул через ворота и отворил их. Все находившиеся поблизости рабочие бросились в проходной двор. Рабочий на ходу стиснул мое плечо:

— Молодец, парень! Здорово народу помог! Спасибо.

Я почувствовал себя на седьмом небе...

Долго я бродил в поисках ночлега. Увидел, как со стороны Боткинской улицы пронесли двоих на шинелях в Военно-медицинскую академию. Я подумал: а нельзя ли где-нибудь в этом здании прикорнуть? Приблизился, нерешительно потянул дверь, прислушался — ни звука... Я скользнул внутрь, споткнулся о какую-то койку, оцупал ее: никого — и улегся. Заснул мгновенно и так же мгновенно был разбужен голосами.

- Никанор, а Никанор! Откуда труп?
- Какой труп? Никто, кажись, не помирал.
- А погляди...

На меня навели фонарь. Послышался хохот: «Ожил!»

Я в страхе вскочил с койки. Оказывается, меня занесли в покойницкую Военно-медицинской академии.

— Э, нет, постой,— сказал тот, кого звали Никанором.— Давай к дежурному, он тебе клизму поставит.

Дежурный ординатор был в белом халате; еще двое, тоже в белых халатах, находились в комнате. Выслушав Никанора, один из них громко обратился к дежурному:

— Литкенс, полюбуйся, покойники оживают. Может, и те двое явятся?

Литкенс показал мне на стул: мол, садись — и угрюмо ответил:

— Рад был бы, да те не оживут.

(Из дальнейшего выяснилось, что «те двое» — демонстранты, убитые казаками.)

Литкенс что-то записывал. Потом отложил перо и дружелюбно спросил, как я попал в морг. Я рассказал обо всем.

— Наверно, Гаврош проголодался,— выставил диагноз ординатор.— Никанор, принесите-ка нам, пожалуйста, чаю.

— Клизму хотите поставить? — испугался я.— Не дамся!

— С чего ты взял?

— Никанор сказал.

— Никанор, пожалуйста, и чаю, и порожнюю клизму.

Когда принесли сосуд, Литкенс объяснил мне его назначение. Говорил он серьезно, не улыбаясь. Мне это понравилось. Потом мы пили чай. Литкенс и его товарищи обменивались мнениями о вчерашних событиях, весьма иронически отзывались о царском манифесте, потом разговор у них зашел о марксизме, о социал-демократах. Я так и замер.

— Эге,— улыбнулся один из собеседников,— а «покойник» наш любознательный. Полюбуйтесь, коллеги: каков интерес!

Литкенс нажал кнопку звонка, вошла служительница; доктор передал ей заполненные листы бумаги и попросил;

— А этого молодца проводите в швейцарскую и устроите там, пусть отдохнет <sup>1</sup>.

В швейцарской я выпался и хотел было уже уходить, как к швейцару пожаловал племянник. Он сразу высыпал короб новостей: заводы и фабрики бастуют, почта, телеграф, железные дороги тоже бастуют...

Как и накануне, улицы были запружены народом, во многих местах собирались митинги, ораторы произносили антиправительственные речи.

Земляк, к которому я пришел, повел меня «к интересному человеку». Тот оказался рабочим, у него собрались его заводские товарищи. Говорили о воззвании Центрального Комитета РСДРП «К русскому народу».

Собравшиеся называли воззвание — «наш манифест». Манифест Николая II был от 17 октября, а ЦК РСДРП принял воззвание на следующий день, 18-го. Народу, говорил ЦК большевиков, нужны не бумажные обещания, а действительно надежные гарантии: немедленное вооружение народа, снятие военного положения во всех местностях, где оно установлено, удаление оттуда войск, немедленный созыв Учредительного собрания, отмена сословных званий, введение 8-часового рабочего дня, немедленная и полная амнистия политическим заключенным.

Обсуждали большевистское воззвание допоздна, я сидел тут же, не все, о чем говорили, понимал, но помню, что всей душой был с собравшимися. Оставили меня ночевать, постелили на полу мешок, набитый соломой, и давно я так безмятежно не спал.

Не могу не рассказать об одном печальном случае, а именно: как в те дни чуть не стал штрейкбрехером и как выпутался из этого незавидного положения. Произошло это, очевидно, в конце октября или в начале ноября. Всеобщая забастовка закончилась, я ходил, искал работу. На Итальянской улице увидел на одном доме объявление рядом с медной дощечкой, из которой явствовало, что здесь помещается шоколадная фабрика.

---

<sup>1</sup> Случай свел меня с Литкенсом в 1924 году. Жил я тогда в Москве, работал в аппарате ЦК партии. Однажды утром шел на работу. Гляжу, знакомое лицо. Спрашиваю: «Вы не доктор Литкенс?» — «Да, я Литкенс, но вас не помню». — «Откуда вам меня помнить? Дело давнее. Видали-то вы меня всего раз, было это в девятьсот пятом, мне тогда еще и четырнадцати лет не стукнуло. Я тот самый «покойник», которого к вам привел санитар, а вы меня чаем поили и вдобавок просветили насчет «лизмы». Литкенс сразу вспомнил, расхохотался. Условились мы встретиться, поговорить о минувшем, да так эта встреча, к сожалению, и не состоялась.

Объявление гласило: фабрике срочно требуются рабочие и чернорабочие. Я постучал, дверь приоткрылась, некто плешивый спрашивает, что мне надо, я показал на объявление, тот саркастически ответил:

— Заходи, ра-бот-ни-чек.

Привел меня этот человек, видно приказчик или мастер, в большой зал. Посреди в три ряда стояли железные колонны, поддерживавшие потолок, между колоннами — столы вроде ларей, на них в беспорядке лежали чугунные плиты с углублениями — формы для конфет (в пекарне тоже были такие). Мастер отвел меня в угол, показал груды сваленных формочек разной конфигурации:

— Все это хорошенько почистить, протереть маслом и разложить вон там. Справишься — полтинник твой.

Работа изрядная, но иззаработок-то какой! Я мысленно подсчитал: за неделю три рубля, в месяц — двенадцать.

В углу копошились двое взрослых рабочих. Мастер понаблюдал за мною и удалился.

Вдруг за моей спиной раздался странный стук, еще стук, еще. Я оглянулся — никого. После небольшого перерыва стук повторился. Я сообразил, что кто-то с улицы стучит в окно, а кто, не видно, потому что стекла матовые с мелкой железной решеткой. Верхнее стекло было вышиблено. Я встал на подоконник, выглянул наружу. На тротуаре стоял средних лет рабочий. Он вполголоса сердито сказал:

— Ты что, сопляк, срываешь забастовку?

— Какую забастовку?

— Разве не видишь, фабрика пустует?

— Я не знал...

— Ты что, маленький ребенок или дурочку корчишь? Где это видно, чтобы фабрика работала без людей?

Я покраснел до ушей. Выходит, я штрейкбрехер, стачколом? Я готов был провалиться сквозь землю. А еще мечтал стать революционером! Как же это я не сообразил, что фабрика бездействует, потому что рабочие бастуют?

— Сейчас брошу и уйду, — пообещал я. — Ей-богу, уйду.

Рабочий с улицы перебил меня вопросом:

— А кроме тебя, там еще кто?

— Двое.

— Ты и их уговори. Чтоб ни одного не осталось!

Удалось убедить моих сотоварищей по невольному «штрейкбрехерству» бросить работу. Сначала они упирались: «Нас это некасаемо» («это» — значит забастовка).

— А вам не стыдно рабочих подводить? — стал я убеждать их. — Как хотите, а я не буду предателем.

Тут появился мастер. Он слышал наш разговор, кинулся на меня, схватил в охапку, чтобы вышвырнуть вон из помещения. А я руками и ногами зацепился за стопки железных листов, форм, подставок. Все это с грохотом повалилось на пол. Мастер пришел в иступление и тащил меня, схватив за шиворот, как котенка. Силен был мужик! Не помню уж, как я очутился на улице. За мною вышли и двое моих сотоварищей. Стали мы стучать в дверь и кричать:

— Деньги заплати, ирод!

А тот заорал:

— Городовой, городской!

Прохожих на улице было много, стали они сбегаться к фабрике. Гул возмущенных голосов напугал «ирода», он швырнул нам несколько монет, огрел меня кулаком по голове и захлопнул дверь. Что тут поднялось! Раздались крики из толпы: «Собака, гад! Мальчишку окровенил!» В окна полетели камни, зазвенели стекла. Плешивый, приотворив дверь, сунул нам троим еще денег.

Все это произошло в несколько минут. И вот уж толпа поредела. Рабочий, который меня упрекал в срыве забастовки, улыбнулся:

— Молодец, парень!

## 8

---

Снова «господин случай». — В новой пекарне. — Конфликт. — Первая годовщина Кровавого воскресенья. — «Спасибо, товарищ Дмитрий, за рабочую поддержку». — Поход за десятью гитарными струнами. — Читаем большевистскую «Волну».

По-прежнему безработный, с трудом, да и то не каждый день, нахожу грошовый заработок. Ночевать приходится в том же притоне у «Афони».

И снова «господин случай». И на этот раз он повстречался мне в лице уже известного читателю студента Алексея Зайцева. Я поклонился и хотел было пройти

мимо, чтобы тот не подумал, будто я надеюсь на подачку. Он остановил меня:

— Куда идешь? Почему не зашел? Я же говорил тебе...

Отвечаю, что постеснялся. Как живу? Да так же: нет работы, и пристанища нет. Студент соглашается: скверно... заводчики и фабриканты локауты объявляют, мстят рабочим... Он, Алексей Зайцев, просил брата пристроить меня к себе, но и у брата дела неважные... в торговле затишь, своих-то работников и тех отпустил в деревню... Вот поправятся дела, тогда уж поглядим-посмотрим...

— А ты все-таки заходи,— сказал напоследок Зайцев и смущенно сунул мне в руку кредитку.

Отойдя на порядочное расстояние, я расправил кредитку. Красненькая! Неслыханно! Никогда еще не было у меня 10 рублей!

Но одним чудом в этот день не обошлось. Надо же было так случиться, что мне повстречался сын владельца купальной («шалопай», как мы его прозывали), который всегда нуждался в деньгах для игры в бильярд и брал их у приказчика бахаревской пекарни взаймы под залог и проценты. Увидев меня, он предложил купить у него пальто.

— Оно,— говорит,— четвертную стоило, почти, видишь, невошеное, я за пять продам. Очень деньги нужны.

Соблазн был большой. Конечно, пальто уже далеко не новое, но и теперь, наверно, не меньше красненькой стоит. Я согласился. «Шалопай» отдал мне пальто и расписку в получении денег, я ему — пятерку. И вот, держа под мышкой свернутую в трубочку рвань, еще несколько минут тому назад считавшуюся моим пальто, я шагаю по Вознесенскому проспекту. У первой же зеркальной витрины останавливаюсь и осматриваю себя. Пальто просто шикарное, но, боже мой, какие штаны, какая измызганная фуражка! Явная неравноценность отдельных частей моего «гардероба» может даже показаться подозрительной. Пришлось пойти на новые расходы. Купил брюки, лицеванные и перешитые со взрослого, но все же много приличнее старых. И фуражку приобрел.

«По одежке встречают...» Я отправился в бахаревскую «спальню» взять из сундучка паспорт да заодно и похвастать своим нарядом. Старший приказчик Тихон не узнал меня:

— Что вам угодно?

Потом воскликнул:

— А, это ты! Ишь каким стал! Работаешь?

Я не торопясь ответил:

— Немного работаю. Вот за паспортом пришел.

— А то смотри, вертайся, — предлагает старший приказчик.

Я ответил отказом.

Одетый, как «порядочный», имея паспорт, я мысленно разбил город на кварталы, стал обходить их в поисках работы.

На углу Кронверкской и Большой Ружейной улиц, в булочной, спросил, не требуется ли подросток. Старший приказчик оглядел меня: где раньше работал, почему ушел? Я ответил: у Бахарева, а ушел потому, что низкий заработок.

— Сколько же хочешь?

— Семь рублей при ваших харчах и «спальне».

— Не многовато ль? Сначала посмотрю, на что годен. Жалованья дадим пять рублей, еда и спальня наши.

Правду сказать, мне не очень-то хотелось наниматься: булочная грязноватая, — значит, в пекарне еще грязнее. Но я так обрадовался постоянному заработку, что согласился.

Пекарня Костерина примыкала к булочной и делилась на две части: в одной, окнами на Кронверкскую, выпекали булки, сдобу и т. п., в другой, окнами во двор, — хлеб, сайки. «Спальня» напоминала бахаревскую: рядом с мучным складом, тесная, сплошные нары, пыльно, душно, смрадно.

Работала пекарня круглые сутки. По весне строительный сезон сгонял в Питер неимущий люд соломенной Руси. Всем этим бедолагам требовался черный хлеб и дешевый (четырекопеечный) ситный. В пять, а то и в четыре утра открывались чайные, ларьки, мелочные лавки, «холодные» булочные. К их открытию пекарни Костерина (была у него еще одна, на Белозерской улице) выпекали хлеба из низших сортов муки. К семи утра пекарни доставляли товар уже не для сезонников, а для мастеровых, к девяти — для чиновников, к полудню — снова для строителей.

Четыре оборота для четырех потребительских категорий с точным учетом сорта, наименования изделий, цены, времени выпечки и доставки, а в итоге — для нас, пекарей, работа круглые сутки. Хозяин, приказчики считали каждый рубль и каждую копейку. Считали и каж-



дую минуту нашей работы, не ограниченной временем и нормами. Грабил Костерин не только наш труд, но и наши желудки. О прескверном «рационе» у Бахарева я уже писал. Но Бахарев расщедрился на «матку» — мало что соображавшую кухарку, но все же кое-как старавшуюся что-нибудь сготовить из отвратительных круп, картошки, гнилой капусты, полутухлого мяса. Костерин «матки» не держал — невыгодно. Пищу готовили мы, «мальчики». Делалось это между другими делами, ни времени не было, ни, разумеется, сноровки. А так как «исходное сырье», закладывавшееся в грязный котел, было плохим, то легко представить себе костеринский «стол».

В общем, я снова впрягся в знакомое ярмо: «Мальчик, принеси...», «Мальчик, отнеси...», «Почисть...», «Возьми...», «Налей...», «Сбегай...» И разнос хлеба в тяжелых корзинах, сгибающих тебя в три погибели. И изнурительная упряжка «ярославских лошадок».

В начале января, точнее 8 января 1906 года, в пекарне возник конфликт. Поводом послужила крупа для нашей кормежки. Провиантом ведала хозяйская кухарка. В этот день варил обед «мальчик», по прозвищу Глина (он был одутловатым, медлительным, сонным). Глина получил крупу «малость тронутую», по выражению кухарки, и высыпал на железный лист «посушить», как он сказал. Рабочие обратили внимание на то, что крупа не только дурно пахнет, а и шевелится: червей было больше, чем зерен. Позвали приказчика. Тот равнодушно поглядел на лист и промолвил:

— Отмоется, и хорошо, сойдет.

— Что «хорошо»? — возмутились рабочие. — И черви отмоются?

Один подмастерье схватил кусок мяса, сунул приказчику под нос:

— Нюхай!

Тот пожал плечом:

— Малость затомилось. Обдать кипятком, и хорошо, сойдет.

— «Хорошо!» — вскипел подмастерье. — И это, скажешь, сойдет? — Он сжал в кулаке несколько гнилых картофелин, и на приказчика брызнула вонючая жижа.

— Ты что?! Безобразничать?! — заорал приказчик, отираясь. — Да я тебя, сукиного сына...

Мы и не видели, когда вошел сам Костерин. Властным жестом хозяин удалил приказчика, велел Глине отнести крупу, мясо, картошку кухарке и заверил: про-

дукты будут заменены доброкачественными, произошло недоразумение.

Но рабочих уже было не остановить. Посыпались жалобы на грязь, холод, сквозняки в «спальне». Костерин оказался на этот раз очень сговорчивым. Он сказал, что и сам собирался весной починить помещение, подновить его, расширить за счет склада, а склад соорудить во дворе. А покуда, до весны, купим новой бумаги и оклеим спальню. Сегодня же купим, сразу же и оклеим.

Хозяин удалился, а Глина стал восхищаться его добротой.

— Ну и дубина, как есть дурак, — сказал я ему. — С чего это Костерин вдруг подобрел, не догадываешься? Какое нынче число? И этого не знаешь? Завтра — девятое января, годовщина Кровавого воскресенья, понял? Не тебя он пожалел, себя пожалел. Бойтся, как бы мы по-своему не отметили завтрашний день.

— Правильно, — похвалил меня один из мастеров.

Схватка с приказчиком взбудоражила рабочих. Перебивая друг друга, стали возбужденно говорить о низких заработках, о длинном рабочем дне. Раздалось требование: бастовать! Калачник сказал: бастовать одной пекарней глупо — раздавят. «Венский мастер» сказал: нужно объединиться с другими, уже имеется союз булочников, а из нашей пекарни кто записан?

И почти весь день шли разговоры о союзе, о жадности хозяев, о необходимости действовать. А день этот, как и предыдущий, был крайне напряженным. Пекарня выпекла хлеба больше обычного. И весь он был продан. Объяснялось это просто: обывателей напугал слух о предстоящей годовщине, о «заговорах» и прочем, он и пустился запасать съестное. Костерины на этом нажились.

В том же дворе, что и костеринская пекарня, находился трехэтажный корпус картонажной фабрики. У нас в пекарне шло лишь глухое брожение, а вот картонажники действовали. Задолго до окончания рабочего дня распахнулись двери фабрики, из нее хлынула толпа рабочих с красным флагом.

По счастливой случайности я в это время возвращался с разноски хлеба и мог наблюдать происходящее. Наблюдали это и двое городских. Я восхищенно, они с негодованием. Полицейские свистели, вытащили револьверы, но тем не менее распорядители манифестации построили рабочих в колонну, затащили в память жертв

Крoвавого воскресенья: «Вы жертвою пали...» Городовой, по кличке Рак, побагровел и взмахнул револьвером. Рабочие схватили его за руку, вырвали револьвер, а заодно и свисток. Рак попытался ударить одного рабочего кулаком, но тут же получил такой пинок в зад, что, как мешок с трухой, осел на мостовую. А колонна проследовала дальше.

Выступление картонажников встревожило власти. Вокруг фабрики сновали не только городовые, а и какие-то штатские: один — в котелке, надвинутом на лоб, другой — в мягкой шляпе, третий — одетый под рабочего. Они прохаживались тут часами.

В соседней квасной лавке работал вечно голодный «мальчик» Васька. Как-то я вынес ему горячих булок, он и проникся ко мне доверием. Васька раскрыл мне глаза на странных штатских:

— А ты, мучной колпак, и не знаешь! Да ведь то «духи»! — И объяснил: — «Духи» — это сыщики, они следят за революционерами с картонажной фабрики.

— Разве там есть революционеры?

— Вот Петро революционер, и Василий, еще Степан.

Васька добавил, что учетчик фабрики и приемщик рассказывали хозяину квасной, что они передают «духам» разговоры рабочих.

Мысль, что сыщики выслеживают революционеров с картонажной и в конце концов посадят их в тюрьму, не давала мне покоя.

Я возвращался с разноски в то время, когда картонажники уже закончили работу. Кучка рабочих стояла у ворот. Я подошел к ним и спросил Петра. Мне показали. Я дернул его за рукав и глазами позвал в глубину двора. Там, в укромном уголке, сообщил ему о доносчиках.

— Как тебя звать? Митя? — Он пожал мне руку. — Спасибо, товарищ Дмитрий, за рабочую поддержку.

Обращение — «товарищ Дмитрий» — вызвало во мне восторг.

Прошло два дня. Опять возвращаюсь в пекарню, но у ворот задержался: длинный обоз, как это часто бывало, вывозил бумажные отходы. Удивило мычание на одной подводе. Всматриваюсь — два куля шевелятся! Вдруг один, потом другой свалились на мостовую, из кулей вылезли учетчик и приемщик. Доносчики были связаны, рты заткнуты кляпом, на одного нахлобучена миска с клеем... Что тут было! Как хохотали прохожие!

Через несколько дней Васька рассказал, что ночью арестовали Петра и Василия, взяли их дома. Степан не почевал у себя, так его взяли утром у фабричной проходной. Эта весть подействовала на меня удручающе. наших пекарей тоже взволновал арест рабочих-революционеров.

Однажды часов в шесть утра выхожу во двор. Меня окликает незнакомец и спрашивает, не знаю ли я паренка Дмитрия из этой пекарни.

— Я самый и есть.

— Очень удачно получилось,— обрадовался незнакомец.— А я к вам по поручению Петра с этой вот фабрики.— Незнакомец, увидев мое недоумение, кивнул: — Петро действительно арестован. Но до ареста он рассказывал о вашей помощи и сказал, что если будет большая надобность, то можно к вам обратиться.

Я был польщен.

Суть дела заключалась в следующем. За рабочими фабрики следят неотрывно, ничего отсюда не вынесешь, ничего туда не принесешь. Очень важно («Слушайте внимательно, товарищ Дмитрий!») побывать в музыкальном магазинчике возле зоологического сада, выбрать момент, когда не будет покупателей, спросить хозяина и, когда он подтвердит: «Я хозяин», сказать: «Вам заказывали десять гитарных струн, я пришел за ними». («Запомните, товарищ Дмитрий, десять!») Он ответит: «Гитарных струн не достал, а могу дать десять планок для голосов». Если хоть одно слово не совпадет, ничего у него не берите и постарайтесь улигнуть. Понимаете? Должно слово в слово все совпасть. Теперь повтори, что я тебе сказал.— Незнакомец перешел на «ты».

Я повторил.

— Молодец, парень! Получишь, значит, небольшой сверток, сунь за пазуху, а потом незаметно положи вон в тот ящик из-под квасных бутылок. Выполни это поручение, постарайся ради общего рабочего дела.

«Товарищ Дмитрий», «общее рабочее дело», таинственное задание — было от чего возликовать. Днем под каким-то предлогом отпросился на часок и отправился в музыкальный магазинчик. Каково же было мое изумление, когда я увидел за прилавком земляка из Кирилловского уезда Якова Сысоева! Мы друг друга в Питере встречали, я знал, что он эсер, а его брат Иван — большевик, но никак не мог ожидать такой встречи. И совсем растерялся, когда выяснилось, что Яков Сысоев «вро-

де здесь хозяин». Забыв о конспирации, я сказал, что меня привело сюда.

— Все это очень наивно, чтобы не сказать глупо, — рассердился Яков. — Глупость сделал не ты, а тот, кто тебя прислал. Если бы другой назвался Дмитрием, то засыпался бы. Да и ты хорош! Взятся за поручение, а не знаешь, кто его тебе дал. А вдруг из охранки? Ну, не красней, а в следующий раз соображай, что к чему! Раз ты уж пришел, бери свои «планки».

Возвращался в дурном настроении. От недавнего ликования ни следа. Сверток я, как обещал, спрятал в указанное место (вечером убедился, что ящик пуст, — значит, «планки» — то были прокламации — получили те, кто их ждал). Но все равно бранил себя. Несерьезным оказался человеком! Досаждало не только собственное легковерие, но и то, что пособил эсерам: ведь я-то мечтал познакомиться с большевиками...

Однажды у газетного киоска услышал, как покупатель пенял продавцу: что же это выбор у вас стал ограниченным? Тот оправдывался: запрещенные издания держать опасно, да и некоторые разрешенные тоже вызывают придирки полиции. Покупатель, вздохнув, осведомился, что ж все-таки газетчик<sup>1</sup> может предложить.

Тот шепнул:

— Берите «Волну», но чтобы незаметно...

Только покупатель удалился, я — к газетчику:

— Дайте и мне «Волну».

— А тебе зачем?

— Почитать.

— Почитай отца с матерью, читатель! — И рассмеялся.

Но я не унимался:

— Дайте!

Газетчик спрашивает, где работаю. Отвечаю. Он говорит:

— Да у вас там свой киоск есть.

Я доверительно:

— Верно, да городской все время вертится.

— У, смекалистый! — доволен газетчик. — Ладно, бери, только знай — молчок!

Вечером в «спальне» развернул, не таясь, «Волну», принялся читать, увлекся: здесь и про стачки, и о про-

---

<sup>1</sup> До революции, да и в первые советские годы газетчиками назывались продавцы газет,

тестах рабочих против притеснений хозяев и полиции, и политическая оценка событий. Наши заинтересовались «газеткой», и стал я читать вслух. Слушали очень внимательно. Под конец калачник сказал:

— Занятно, парень. Ты бы нам еще эту газетку принес.

В следующий раз купил «Волну» у того же газетчика. Я спросил: чья газета? Он сказал: большевистская. Я обрадовался: значит, на самую нужную попал, ловко получилось!

На рассвете меня разбудил Глипа:

— Вставай, политик!

Я вскочил, рассерженный. Гляжу, саечник читает «Волну». «Венский мастер» спросил его, где он взял газету.

— Говорят, «политик» потерял,— и показал на меня.

— Эге,— говорит «венский мастер»,— да он, оказывается, действительно политик.

Я было обиделся на кличку «политик». Но по опыту знал: если подам вид, что обижен, тогда задразнят этим прозвищем. И я смолчал. Тем не менее дня через два-три меня уже иначе как «политиком» никто не называл. Причем не только в нашей пекарне, но во всех заведенных Костерина. То тут, то там просили:

— А что, друг-политик, нам-то газету позабористее не принесешь?

«Волна» просуществовала недолго<sup>1</sup>, и мне, ни с кем из большевиков не связанному, было нелегко.

В пекарнях — не все, конечно, но многие — уже пристрастились к газетам: тоже знамение времени. Но какие газеты обычно покупали? «Петербургский листок» и «Петербургскую газету», которые почти все называли «Петербургский враль» и «Петербургская сплетница». Запомнилась сценка: читают в «спальне» газету. Кажется, полукадетскую «Русь». Она сообщает, что закрыты такие-то заводы и фабрики, уволено столько-то рабочих.

— Хозяева знай жмут! — бросает реплику «венский мастер».

— Сначала хвост поджали, а теперь трубой держат,— поддерживает калачник.

— Да что хозяева, вон и рабочие пошли против рабочих,— «венский мастер» ткнул пальцем в заметку про

---

<sup>1</sup> «Волна» выходила в Петербурге с 16 апреля по 24 мая 1906 года и была закрыта царским правительством.

нападения черносотенцев и про то, что в черной сотне имеются и рабочие.

— Небось этих иуд фараоны не трогают! — зло сплюнул саечник. — Сволочи! За чечевичную похлебку продались. Глушить их!

Возник разговор, что вот-де работники других пекарен и булочных записаны в профессиональный союз (произносилось коротко: «в союз»), а из наших — почти никого. Вскоре то один, то другой начали спрашиваться — кто к земляку, кто еще к кому-то, а на самом деле — на Казанскую улицу, где помещалось правление профсоюза булочников и кондитеров. Решительнее других держался калачник. Оставшись с ним как-то наедине, я спросил, примут ли в союз «мальчиков».

Он уныло махнул рукой:

— Тут и со взрослыми морока-то какая!

— Но ведь и некоторые «мальчики» могут быть полезными?

— А кто мешает? Ты приносишь дельные газеты — это полезно.

Стал я думать: если взрослые добьются хороших харчей, то не будут же для взрослых варить одно, а для «мальчиков» другое. Улучшатся общие условия труда, уменьшится рабочий день, и на нас, «мальчиках», это отразится к лучшему... Грубо говоря, мои рассуждения шли «от желудка». Но ведь если вникнуть, то разве не сама жизнь толкает рабочих на освободительную борьбу?

Однажды я принес прокламации, дал калачнику. Он сунул их в карман, через некоторое время вынул, разглядел, стал читать вслух. Подмастерье заинтересовался, откуда «листки».

— Сорока на хвосте принесла, вот откуда! — недовольно отпарировал калачник. Потом добавил: — О таком не спрашивают! Ясно? Вот дам тебе листок, а ты пойдешь языком чесать: Семён Терентьич, мол, листки раздаёт...

— Да я так... — оправдывался подмастерье.

Как-то земляк дал мне «Овода». Не описать впечатления, какое произвела на меня эта книга. От волнения, от чувств, разбуженных героем романа, я ходил сам не свой. Перечитал второй раз, передал калачнику. А потом книга ходила из рук в руки, только и слышно было разговоров «об этом парне» Оводе. Книгу так захватили руками, что даже боязно было возвращать ее.

*Первое собрание.— Профсоюз начинает забастовку.— Требования к хозяевам.— Разгаданный маневр.— Печи погашены, работа остановлена.— Держаться тесно, дружно, стойко!*

Удивительным для всех нас новшеством было собрание, созванное представителем союза (звали его Алеша).

— Вот что, братки,— сказал он,— наш союз составил требования к хозяевам.— Он легонько похлопал ладонью по листу бумаги с лиловыми машинописными строками и передал Семену Терентьевичу: — Бери, товарищ уполномоченный! Обсудишь со своими.

Калачник прочитал вслух бумагу. Там были требования десятичасового рабочего дня, полного отдыха по воскресеньям, повышения оплаты труда, приема на работу только через союз и другие.

Алеша добавил: если есть дополнения, то надо их записать отдельно. Поднялся шум, один перебивал другого. Тогда на середину вышел старший пекарь (он у Костерина служил недавно, а раньше работал в Москве) и внушительно произнес:

— Так галдеть, как мы галдим, проку нет. Говорить надо по очереди. Ты, Денис,— повернулся он к «венскому мастеру»,— будешь председателем, без твоего согласия никто не должен говорить.

Шум стих. «Венский мастер» спросил, кто просит слова. Все молчали. «Уполномоченный», «собрание», «председатель», «просить слова» — необычные понятия. Народ растерялся. Потом слова попросил старший пекарь. Он предложил обсудить требования по пунктам и записать: такой-то принимаем целиком, в такой-то вносим поправку. Чувствовалось: старший пекарь человек в этих делах опытный (может быть, даже политик).

Предложение понравилось. Началось обсуждение. Но дело было не только в этом. Мне запомнилась перемена, происшедшая в наших пекарях. Было что-то неподнятое, праздничное в их выступлениях, даже в коротких репликах. Участники собрания почувствовали себя людьми. Собрание подняло их в собственных глазах, разбудило чувство достоинства: вот и мы встали на защиту своих человеческих прав, и мы не хуже других.

Алеша в заключение напомнил: не все ваши записались в союз. Это плохо. Ведь если союз предъявит



хозяевам требования, а хозяева откажут, останется один путь — забастовка. А в ней надо действовать едино, чтобы никто не пошел на попятную.

Эти слова произвели должное впечатление. Кто раньше не состоял в союзе, записался в него тотчас после собрания. Отказались лишь трое: деревенский паренек, «мужик», прибывший к нам временно, чтоб, заработав хоть несколько рублей, вернуться «на землю»; хлебный мастер, эдакий Фома неверующий, который все твердил: «Не с нас началось, покуражимся и опять будем, как скоты, нет, ни в какой союз не подамся, а случись стачка — что ж, я человек артельный»; и прижимистый подмастерье: нечего-де тратиться на взносы (однако и он заверял, что подожки товарищам не подставит).

В один из майских вечеров к нам явился представитель союза. У нас уже почти все спали. Я было тоже задремал, но услышал негромкий разговор за штабелем муки.

Представитель союза. Так говорите, готовы?

«Венский мастер». Отступников не будет. Дайте сигнал.

Старший пекарь. А не повременить ли малость?

Калачник. Это еще зачем?

Старший пекарь. Затем, чтобы лучше подготовиться.

«Венский мастер». Да наши хоть сейчас забастуют!

Старший пекарь. Не сдвинешь сразу всех хозяев. Будут брать нас на измор. Нужно подумать, на что жить рабочим.

Представитель союза. Думали мы об этом и создали забастовочный фонд. В первое время — по двадцать копеек на день. Семейным, конечно, достанется солоно. Но больше дать не сможем.

Старший пекарь. А как дело затянется?

Калачник. Не затянется! Хозяевам убытки — нож острый. Да и как город оставить надолго без хлеба?

Старший пекарь. Город? Мелочные лавки не бастуют, накормят ситным. И пригороды не бастуют, а господа теперь на дачах.

Представитель союза. Правление постановило разослать уполномоченных по мелким пекарням, в пригороды, даже в Кронштадт и Шлиссельбург, в Лугу. С некоторыми уже есть связь, обещают поддержать.

Закопчился разговор согласием: 2 июня предъявить Костерину требования (такие же примерно, как и в дру-

гих пекарнях), а не примет — то с вечера 3 июня, как решил союз, бастовать.

Утром 2-го в пекарне разразился скандал. Я был на разноске хлеба, поэтому к началу опоздал. Когда вернулся, увидел картину: в пекарне сам Костерин, кругом возбужденные рабочие, старший пекарь держит в руках котел:

— Глядите, хозяин, из какой посуды вы нас кормите! Мужик и свиней из такой посуды кормить не станет, а вы — людей.

— Надо было, — вмешался приказчик, — заставить «мальчиков» чистить посуду, да каждый день, да как следует!

Тут неожиданно для всех (да и, признаться, неожиданно для меня самого) раздался мой голос:

— В других пекарнях «матки» варят обед, а вы заставляете «мальчиков»!

Приказчик разинул было рот, но я громко продолжал:

— Вы с нас семь шкур дерете! «Мальчики» у вас и грузчики, и разносчики, и чернорабочие, и в пекарне заставляете еще многое делать. Работаем, как лошади. Живем, как собаки. Но тех-то защищает общество покровительства животным, а нас кто?

Рабочие смотрели на меня во все глаза. Приказчик побагровел:

— Ах ты, сопливый политик! Немытое рыло! Тебе-то в торговый день ломаный грош цена, а туда же, бунтовать лезешь!

Калачник прервал приказчика:

— Зря кричите, никто еще не бунтует. Вам предъявлены требования? Предъявлены! А там не забыты и подростки.

В руках нашего уполномоченного находился листок из приложения к журналу петербургских булочников и кондитеров (вышло несколько номеров). В листке были требования, их и огласил калачник: установить 10-часовой рабочий день, включая 2 часа на обед и отдых (рабочий день подростков не должен превышать 6 часов); запретить сверхурочные; установить еженедельный воскресный отдых; повысить заработную плату (указывалось, кому сколько); ликвидировать выделенные хозяином «квартиры» и харчи, взамен установить добавочную плату; отменить штрафы; заработок выдавать еженедельно по расчетным книжкам; улучшить

санитарное состояние пекарни, булочных, других помещений...

Дочитав до конца, калачник передал листок Костерину:

— Вот, хозяин, подумайте и ответьте, согласны или нет. Если не согласны, то завтра в шесть вечера бросаем работу.

— Требования очень большие,— медленно проговорил Костерин.— Может, я некоторые и приму, а другие владельцы возьмут да и не согласятся — что тогда? Вот если все владельцы Питера согласятся кое-что принять, то и я соглашусь. Мало времени даете, ребята... Нужна отсрочка. Ну, на недельку...

— Нет, хозяин,— ответил старший пекарь.— Отсрочки сделать не можем. А требования наши небольшие.

Костерин молча удалился, за ним — приказчик.

Рабочие распалились. Послышались голоса: «Будет, поездили хозяин с приказчиком на нашей шее!», «Бастовать, бастовать!», «Пусть сам печет, узнает, почему сотня гребешков!»

— Спокойно, товарищи! — сказал старший пекарь.— Все вы согласны с требованиями союза?

— Согласны! Согласны!

— А Костерин, видать, не согласен. Слыхали, как он отсрочку придумал? Ловок, подлец! Другие, значит, забастуют, а мы будем ждать. Костерину отсрочка — и прибыль в карман. За счет чего, подумайте, прибыль? За счет нашей измены.

— Хитер, собака! — крикнул кто-то из подмастерьев.— Бросать работу, чего там канителить!

— Нет, товарищи,— возразил старший пекарь,— сейчас бросать работу ни в коем случае не следует. Нужно сделать, как советует союз. Потому что наша организованность сильнее всего подействует на хозяев и на правительство.

Калачник добавил:

— Нужно каждую копейку беречь. А вдруг придется долго бастовать? Дадим друг другу слово: не выпивать. Кто пропьет деньги, того легче переманить, такой пойдет на срыв забастовки.

...Наступило долгожданное завтра. Старший пекарь предложил скорее чаевничать, сделать последнюю выпечку — и шабаш.

Кто-то из нетерпеливых предложил добавить дрожжей, чтобы опара дошла быстрее и выпечка ускорила. Старший пекарь оборвал его:

— Неправильно! Мука и так неважная, положим больше дрожжей, тесто будет горчить. Нет, ребята, закончим по-честному.

Все его поддержали: закончим по-честному. Честность, добросовестность, серьезное отношение к делу, к своей профессии присущи рабочему классу, в крови у него.

3 июня выпало на субботу. В 4 часа 30 минут товар выдали в магазин. За кассой стоял Костерин: каждому сообщал, сколько причитается, и выдавал деньги, завернутые в бумажку. Такой способ выдачи заработка никогда раньше не применялся.

Рабочие собрались в баню. Калачник напомнил:

— Смотрите, уговор был: хмельного — ни маковой росинки!

Утром тот же калачник сказал:

— Вчера вечером погуляли, а теперь — за дело.

Все недоуменно посмотрели на него: чего, мол, городишь — ведь бастуем! А он объяснил, какое дело ждет: надо по одному, по два человека обойти город, съездить в пригороды, поглядеть, какие пекарни стоят, а какие нет. Не мешаает заглянуть и в мелочные лавки. Если где-то продолжают выпекать хлеб, разъяснить цели забастовки, предложить присоединиться. Но только на рожон не лезть, в скандалы не ввязываться.

Вскоре наше заведение опустело. Сам калачник и старший пекарь поехали в союз. Я увязался за ними.

## 10

---

Связной профсоюза.— В пикете.— На пароходе с красным флагом.— Безуспешные попытки хозяев расколоть ряды стачечников.— Соглашение. Забастовка окончена.— Почему старший пекарь покидает Питер.— Меня увольняют.

Когда мы пришли на Казанскую, квартира, занимаемая управлением профсоюза, была полна народу. Все время приходили и уходили люди. Сообщали о ходе забастовки, уходили, получив совет и указание. К вечеру управление располагало сведениями, что в Петербурге забастовали почти все пекари. На окраинах некоторые еще работали, но и те обещали с часу на час присоединиться к стачке. Обнадеживающими были сообщения из дачных местностей.

Я прямо впитывал в себя все эти сведения, ни на шаг не отходил от старшего пекаря и калачника, которые, видно было, считались здесь своими. Запомнил, как один из правления говорил нашим про владельцев:

— Они хотят расколоть стачку — не выйдет! Они грозят казаками и полицией — мы дали уполномоченным указание: держаться твердо, стойко, не поддаваться страху! Сегодня хотим провести собрание пекарей по району. Рабочих Петербургской стороны и Васильевского острова мы ждем к пяти часам вечера.

— К пяти? Да соберутся ли к этому времени?

— Кто не успеет к пяти, пусть приходят к девяти. Собраний мы наметили два, а вопрос один. Кто и на второе не попадет, тоже не беда: завтра на Охте наш митинг.

Я вызвался оповестить костеринских. Так я стал связным союза, точнее одним из связных. Эту роль я исполнял и в последующие дни стачки. Помню, перед митингом на Охте в правлении мне поручили уведомить всех уполномоченных на Петербургской стороне, что митинг будет в 7 часов. Я сказал, что сделаю мигом.

Член правления (по фамилии, кажется, Кокушкин) огляделся и проговорил:

— Кого бы на Васильевский послать?

Я сказал, что могу и на Васильевский сбегать.

— А успеешь?

— Так побегу, что и на рысак не догонишь.

— Что ж, беги. Постарайся для общего рабочего дела.

Я уже не первый раз слышал это выражение: «для общего рабочего дела», и каждый раз меня словно теплом обдавало.

Роль связного была несложной, но требовала физического напряжения. Зачастую не сразу удавалось застать уполномоченного. Тогда я спешил в другую пекарню, затем возвращался в прежнюю, хотя и во второй раз порою не везло. Из-за больших расстояний (все пешком!) ноги сбивал я в кровь, уставал, но это была какая-то совсем иная усталость, прежде мне не знакомая, — усталость человека, занятого важным и кровным делом.

Возвращаюсь, однако, к рассказу о первом дне. Прибежал я в пекарню Костерина. Рабочих в «спальне» было немного, я сказал им о предстоящих собраниях и попросил дежурного «мальчика» непременно передать каждому, кто придет, о собраниях.

К разговору прислушивался Васька из квасной лавки. Он рассказал, что его хозяин вечером уехал в Сестрорецк, накупил там булок по 3 копейки штука, а в дороге продал по 5 копеек. Барышу-то сколько! А для квасной хозяин берет хлеб в мелочной лавке Малькова. Тот за каждую выпечку обещал рабочим по 2 рубля.

Я стиснул зубы: изменники, на рублишки променяли своего же брата!

Тут подошел один наш подмастерье, Комолый (почему его так прозвали, не знаю; «комолый» — значит безрогий, но в случае, который описываю, он проявил себя отнюдь не безрогим). Его тоже возмутило, что пекари изменяют пекарям, он отправился к Малькову чуть раньше нас с Васькой. Васька быстро нагрузил тележку порожней посудой, и мы отбыли.

Когда подкатили к лавке, то увидели толпу и двух городских. Фараоны тащили за руки Комолого, а сам Мальков неистово пинал сапогом нашего подмастерья и орал: «Бунтовщик, бунтовщик!» Не знаю, как это пришло мне в голову, но я шепнул Ваське: «Давай тележку!» Он мигом сообразил, что от него требуется, разогнал тележку и пустил ее на городских. В ту же минуту толстый Мальков завизжал, закрыл лицо ладонями: оказывается, кто-то из толпы запустил в него камнем. Тележка сбила городских. Комолый исчез.

А дело было так. Комолый, зайдя в лавку, повел там «агитацию» весьма своеобразно. Он сцепился с хозяином. Слово за слово, Мальков стал ругаться, грозить. Комолый в сердцах возьми да и опрокинь опару. Тогда-то и прибежали городские. Тесто было попорчено. «Считай, рублей на полста», — сетовал потом Мальков, мотая забинтованной головой. Рабочие разошлись. Хозяин распорядился повесить на дверях замок.

Это был не единственный такой случай, характеризующий тогдашних работников мелких заведений: их ненависть к хозяевам-живоглотам и в то же время отсутствие у них выдержки, осмотрительности, упорства. Когда под вечер собрались на Смоленском поле, подмастерье из пекарни Сотова рассказывал сходную историю.

— Приехали мы, значит, с товарищем в Сергеево. Глядь, «кустик» продолжает выпечку, хлеб возит в питейский ресторан. Ну, мы, значит, зашли... поговорили, значит, с этим «кустиком»... Крепенько, значит, поговорили...

— Небось за шиворот потрясли? — спрашивает кто-то.

— Малость потрясли. Он, значит, заведение-то и закрыл...

Тут открыли собрание.

— Мы,— начал речь оратор,— живем, как скот. Из жадности хозяева отвергли наши справедливые условия. Мало того, стараются сорвать забастовку. Вот возьмите, Филиппов и Андреев предложили частично удовлетворить требования, лишь бы пекари вышли на работу. Но их хитрость разгадана, ничего у них не вышло. Другие мудрецы поставили угощение, думали спонсировать рабочих. Сорвалось! Ну, а самые несговорчивые господа, так те зовут городских и казаков, штука известная... Дальше вмешивается городская управа. Она просит генералов выпекать хлеб в полковых пекарнях...

Раздались крики: «Полиция!», «Полиция!»

Оратор затряс над головою фуражкой:

— Расходитесь в разные стороны! В девять вечера собирайтесь на Голодае!.. В девять!.. На Голодае!..

Наш старший пекарь, которого мы с Комолым заприметили, недоумевал:

— Откуда, сволочи, прознали про наше собрание?

Комолый предположил, что фараоны прятались поблизости.

— Да я о другом,— досадливо сказал пекарь.— Как они узнали, что будет собрание? Выдал кто? Или мы сами болтливы, раструбили на весь Питер?

На острове Голодае собрание тоже оказалось сорванным. Повсюду шныряли полицейские и казачьи патрули.

Калачник отозвал меня в сторону:

— Слушай, политик, днем пойдешь со мною в союз. Определят тебя на пост. Пикетчиком будешь. Только — молчок!

В союзе меня познакомили с рыжебородым веселым человеком. Лет ему было пятьдесят, может, больше, звали Абакумом. Мы оба составляли третий пост — а всего их было четыре,— чтобы обезопасить митинг на Охте.

Наш пост находился поблизости от Финляндской железной дороги, на берегу маленькой речушки. Абакум сыпал шутками, прибаутками и никак не мог сидеть без дела.

— Обретаться нам тут долгонько,— сказал он,— поговорим с тобою, за разговором я буду корзины плести, а тебя научу свистульки делать. Не дай бог, нагрянут фараоны — ни в чем не заподозрят.

Людей, приходивших по указке других постов, мы направляли дальше. Как было условлено, просидели часов до восьми и тоже пошли на митинг. Он состоялся в глубине леса, на большой поляне. Оратор к тому времени кончал речь. Доносились лишь обрывки фраз: «...надо уничтожить царизм... уничтожить помещичье землепользование... добиться демократической республики... при республике рабочие свободно организуются... успешнее бороться против капиталистов...»

Потом принимали резолюцию политического характера. Потом разбились на группы: кондитеры, рабочие венского товара, булочники, бараночники, калачники, саечники, хлебники. Часа через полтора опять состоялся общий митинг. Говорили о тактике борьбы, необходимой для успеха забастовки и привлечения к ней всех пекарей Петербурга, его окрестностей, близлежащих городов.

Митинг охранялся расставленными вокруг рабочими патрулями. Когда от них стали поступать сигналы о приближении казаков и конной полиции, организаторы объявили митинг оконченным и предложили расходиться в разные стороны. Толпа растекалась четырьмя цепочками, а в конце концов люди собирались у Охты. Дальше можно было ехать или на конке, которая вела на Выборгскую, или на пароходах по Неве.

Тут-то нас и встретили... Особенно горячо было у парама. Казаки изо всех сил хлестали рабочих нагайками. Рабочие бросились к пристани и вмиг заполнили до отказа три парходика. Пароходы отчалили. Забастовщики затянули революционные песни, подняли красные флаги. Казаки бессильно злобствовались на набережной.

Сошли мы все у Тучкова моста. Было около двух часов ночи. Удивительный, на всю жизнь запомнившийся день! И удивительная ночь! Группа стачечников, тоже с «моего» парохода, зашла в парк. Настроение было такое хорошее, какого я раньше, пожалуй, и не испытывал. Кто-то задумчиво сказал, что стачка наша как будто чисто экономическая, а нынешний день окончился революционной демонстрацией на виду всего Петербурга. Сидевшая с нами на скамейке молодая интеллигентная женщина объяснила, почему наша стачка из экономической перерастает в политическую. Она говорила, что бастуют самые отсталые и разрозненные рабочие; раз они бастуют, значит, организовались. Бастуют пекари, столица без хлеба, выходит, царское



правительство не владеет положением, а это уже не только экономика, но и политика.

На четвертый день стачки владельцы петербургских пекарен и булочных собрались на какой-то даче в Новой Деревне и там, рассказывали люди в союзе, проспорили несколько часов. Те, кто побогаче, решались на уступки, а владельцы пекарен помельче были против всяких уступок, говоря, что боятся разорения. Все же дотолковались: выделить комиссию для переговоров с представителями забастовочного комитета.

В конце концов было достигнуто соглашение: на уступки пошли обе стороны.

Запомнилось собрание наших пекарей. Обсуждал проект этого соглашения. В нем было четырнадцать пунктов. Меня в первую очередь интересовал пункт о подростках. Станет нам, «мальчикам», легче жить и работать? В соглашении говорилось: в «мальчики» можно брать детей не моложе 13-летнего возраста, их рабочий день — не выше 8 часов, размер месячного жалованья — 5 рублей. Конечно, это было меньше того, чего требовали, но куда значительно, лучше существовавшего раньше. Тем более что на подростков распространялось записанное в других пунктах: суточный воскресный отдых; все забастовщики принимаются обратно, ни один не должен пострадать; улучшение качества пищи, санитарного состояния «спален»; отмена штрафов.

Официально всеобщая стачка окончилась 15 июня, а фактически только 17-го, даже 20-го — в зависимости от того, когда хозяева подписывали соглашение. Костерин подписал поздно вечером 16-го. Днем 17 июня наша пекарня возобновила работу.

Меня озадачило, когда старший пекарь обратился к калачнику и «венскому мастеру»:

— Выйдемте, поговорить надо. — Затем отыскал глазами меня: — И, «политик» пусть пойдет, ему полезно будет послушать.

Во дворе старший пекарь вздохнул:

— Придется нам расстаться.

— Это почему? — удивились калачник и «венский мастер».

На все уговоры он только махнул рукой: мол, знаю, что делаю. Калачник и «венский мастер» ушли в пекарню. Старший пекарь приблизился ко мне вплотную:

— Тебе, малый, тоже надо уйти. Чем скорее, тем лучше.

Я ответил: готов уйти, да за время стачки поистра- тился, а без денег — хоть на мостовую.

— Это я понимаю,— сказал старший пекарь,— да только знай: приказчик тебе такое присургучит, что ты и охнуть не успеешь.

Потом он рассказал мне (меня растрогало его до- верие), что сам он московский, работал у Филиппова, в пятом году дрался с полицией на Тверской. Он на за- метке у полиции Москвы, а теперь, наверно, и полиции Петербурга.

— Тебе,— продолжал он,— житья здесь не дадут. Ты слишком горяч и малоопытен. Приказчик и Косте- рин знают тебя как «политика». Это волки, а не люди, съедят с потрохами, пойми.

Я отвечал, что хочу дотянуть до конца месяца; мо- жет, накоплю несколько рублей, тогда уж и уволюсь.

Старший пекарь ушел через два дня, больше я этого хорошего человека никогда не видел.

Его предсказание сбылось скорее, чем можно было ожидать. Мне предстояло отнести клиентам корзину саек. Приказчик незаметно вложил в корзину больше саек, чем значилось в накладной, распорядился пересчи- тать число саек (чего никогда раньше не было) и обви- нил меня в воровстве.

Все поняли, откуда дует ветер. Рабочие говорили: если сейчас не дать отпора, то нас всех перешерстят поодипочке. Было решено: калачник отправится в союз к юрисконсульту. Но старший мастер опередил. Он су- нул мне 2 рубля 40 копеек («Это то, что тебе причи- тается») и велел немедленно убираться вон, не дожидаясь, «пока выдворит с полицией».

Я опять очутился на улице. Произошло это 22 июня 1906 года.

## 11

---

**Земляки-революционеры.— В Народном доме Паниной впервые вижу и слушаю Ленина.— Я за- несен в черный список.— Попытка разобраться в экономическом учении Маркса.— Первое устное выступление.— Философская записная книжка.**

Ради последовательности изложения я в прежние гла- вы намеренно не включил некоторые эпизоды, в ча- стности о том, как в пору первой безработицы познако-

мился с революционерами — выходцами из Кирилловского уезда. В их числе были Николай Тетерин (впоследствии меньшевик), братья Сысоевы — Яков (эсер, я его уже упоминал) и Иван (большевик). У Сысоевых встретился с Павлом Тетериным и Василием Володиным. С Володиным мы подружились, оба стали большевиками, дружили и после революции, когда Володин был на политической работе в Красной Армии.

Среди моих земляков был один «проходящий» знакомый. Он служил на холодильнике, принадлежавшем какому-то англичанину, политикой не интересовался, стремился к образованию, чтобы достичь большего в жизни. Он учился на курсах в Народном доме Папиной и однажды предложил мне пойти с ним: он — на занятия, а я — чтоб посмотреть помещение.

Было это 9 мая 1906 года (дату я восстановил по Собранию сочинений В. И. Ленина). В этот день в доме Папиной состоялся митинг, на котором выступал Владимир Ильич. Мне редкостно повезло: я увидел и услышал Ленина!

В подъезд валил народ, я вклинился в толпу, направляющуюся в большой зал. Выступали ораторы. Из некоторых речей я понял, что кадеты обличены в переговорах с царским правительством, но отрицают это обвинение. Предоставили слово Карпову. Это имя мне ничего не говорило. Но когда он начал речь, я рядом с собой услышал шепот: «Да это же Ленин!» Я вытянул шею, поднялся на цыпочки — нет, плохо вижу. Протиснулся вперед, поближе к оратору. Речь часто прерывалась смехом, одобрительными возгласами, аплодисментами.

Много лет спустя я прочитал об этом митинге у Н. К. Крупской, Г. М. Кржижановского, А. Г. Шлихтера. Сошлюсь на их свидетельства.

Начну с описания данного Надеждой Константиновной: «Рабочие со всех районов наполняли зал. Поражало отсутствие полиции. Два пристава, повертевшись в начале собрания в зале, куда-то исчезли. «Как порошком их посыпало», — шутил кто-то. После кадета Огородникова председатель предоставил слово Карпову. Я стояла в толпе. Ильич ужасно волновался. С минуту стоял молча, страшно бледный. Вся кровь прилила у него к сердцу».

Я не видел, что оратор волнуется. А вот все, что дальше пишет Крупская, и мне бросилось в глаза: «И сразу почувствовалось, как волнение оратора пере-

дается аудитории. И вдруг зал огласился громом рукоплесканий — то партийцы узнали Ильича»<sup>1</sup>. (Тогда-то вокруг меня и разнесся шепот: «Это же Ленин!»)

Г. М. Кржижановский, описывая это первое открытое выступление В. И. Ленина в России на массовом собрании (в зале присутствовало около 3 тысяч человек), отмечает: «Он говорит только какой-нибудь десяток минут, но вы ясно видите, что этот оратор уже вполне завладел и по-своему зачаровал эту массу впившихся в него с напряженным выражением тысяч и тысяч глаз...»<sup>2</sup>

Речь целиком завладела и мною, мало искушенным в политике рабочим подростком. Не все аргументы были мне ясны, во многом я просто не разбирался, но то, что я сердцем был с Карповым — Лениным, это я сознавал и этому радовался.

Но у Крупской и Кржижановского ничего не сказано о самом содержании речи, которую я уловил весьма смутно. Говорится об этом в воспоминаниях Шлихтера.

Кадеты пытались доказать, что они вовсе не думали вступать в соглашение с правительством Николая II, в чем их обвиняли социал-демократы. До Ленина держал речь кадет Огородников; в своей партии «народной свободы» он ходил в «левых». Огородников утверждал, что были лишь так себе, переговоры, частные переговоры лишь с одним представителем власти, да и то по инициативе этого представителя. Какое же тут соглашение?!

Так излагает Шлихтер смысл речи кадета и добавляет:

«Но вот Ильич заговорил:

— По словам Огородникова, не было соглашения, были лишь переговоры. Но что такое переговоры? Начало соглашения. А что такое соглашение? Конец переговоров.

Я (это пишет Шлихтер) хорошо помню то изумление от неожиданности, какое охватило всех, положительно всех слушателей от этой столь простой, но такой ясной, чеканной формулировки сущности спора... В кратких, но точных выражениях Ильич дал анализ классовых интересов буржуазии в *данный момент*, он доказал контрреволюционную сущность ее партии «народной свободы» и объективную неизбежность открытого поворота этой партии против пролетариата и кре-

<sup>1</sup> Воспоминания о Владимире Ильиче Лешине. М., 1979, т. 1, с. 309.

<sup>2</sup> Там же, т. 2, с. 27.

стынства с того момента, когда буржуазии удастся сговориться с самодержавным правительством о разделе власти»<sup>1</sup>.

Шлихтер утверждает, что «по докладу Карпова — Ленина» собрание приняло резолюцию<sup>2</sup>. Этого момента совершенно не помню. Возможно, потому, что был захвачен одним: вот он, передо мною, Ленин! Я был зачарован взметнувшимися красными рубашками-флагами и бросился вперед, чтобы очутиться еще ближе к оратору. Увы, мне не удалось пробиться сквозь плотную толпу. Тогда, яростно работая локтями и пригибаясь, «дал задний ход», к дверям, рассчитывая увидеть Владимира Ильича на улице. Но и в этом меня постигла неудача.

Поскольку выступление Ленина в доме Пашиной было направлено против кадетской партии, то, вернувшись в пекарню (я тогда работал у Костерина), первым делом открыл свой сундучок и извлек оттуда одну листовку, которую и раньше читал. Она называлась: «Три конституции или три порядка государственного устройства». Хорошо запомнил ее внешний вид: три столбца, и в каждом ответы на вопросы. Ответы короткие и, что называется, в точку. (Я и не подозревал, что листовка принадлежит перу Ленина. Узнал об этом многие годы спустя, когда обнаружил ее, «старую знакомую», в Сочинениях Владимира Ильича.)<sup>3</sup>

Первый столбец разъяснял интересы и политику полиции и чиновников, второй — либеральных буржуа (кадетов), третий — сознательных рабочих (социал-демократов). Вопрос: чего хотят полиция и чиновники? Ответ: самодержавной монархии. Вопрос: чего хотят самые либеральные буржуа (кадеты)? Ответ: конституционной монархии. Вопрос: чего хотят сознательные рабочие? Ответ: демократической республики. И так далее.

Теперь я вновь перехожу к хронологическому изложению событий, начиная с того дня, когда приказчик выгнал меня на улицу.

Положение, в какое я попал, оказалось куда тяжелее и неприятнее, чем можно было ожидать. Какой бы пекарне я ни предлагал свои услуги, у меня первым делом спрашивали фамилию, извлекали из конторки

<sup>1</sup> Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине. М., 1956, т. 1, с. 338—339.

<sup>2</sup> См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 13, с. 93—94.

<sup>3</sup> См. там же, т. 10, с. 332—334.

тетрадь, водили по ней пальцем и указывали на дверь. Стало ясно: я занесен в черный список. В пекарне Максимова на Петербургской стороне мне откровенно заявили: «Союз хозяев запрещает принимать на работу таких, как ты». — «Это каких таких?» — спросил я. Последовал ответ: «Вредных забастовщиков».

Снова я без денег, без дела, без ночлега, без перспектив найти работу.

И опять помощь пришла от Алексея Зайцева. На сей раз мы столкнулись на Дворцовом мосту. Он спросил, как дела. Я рассказал. Он пригласил пожить пока у него. Мать на лето уехала в имение, квартира пуста, сам Алексей держит экзамены за полный курс юридического факультета. Обязанности у меня будут несложные: мести комнаты и вздуть самовар. Я обрадовался: месяца на два обеспечен кров, чай, а главное — книги.

В тот же день я поселился в громадной барской квартире. Студент, понимая мое «книжное нетерпение», сразу вручил мне два издания: политическую экономию Богданова и экономическое учение Маркса в изложении Каутского. Начал с Богданова. Но первобытный коммунизм, патриархальное общество были мне очень далеки, показались допотопными, а я ждал «сегодняшнего», поэтому, не углубляясь в книгу, отложил ее. Раскрыл Каутского, читаю-перечитываю, а мало что могу понять. Чем больше читал, тем больше запутывался. Даже отчаялся. Когда Зайцев вечером возвратился домой, он обратил внимание на мой мрачный вид. Я признался, в чем причина. Он рассмеялся:

— Да, брат, не учел я твоего уровня... — И пообещал после очередного экзамена заняться со мною «премудростью».

Действительно, дня через два он предложил:

— Ну, а теперь давай-ка побеседуем.

Разъяснял он популярно. Не все я сразу одолел, однако, вдумываясь, ухватил начатки знания о таких понятиях, как «товар», «стоимость», «меновая стоимость», «деньги», «прибавочная стоимость». Многое мне никак не давалось. Со «стоимостью» возился долго. Особенно трудно пришлось с «абстрактным трудом».

Как ничтожны ни были крупицы знания, добытые в то лето с помощью студента, все же для меня это было много. Я часто вспоминаю тогдашнее ощущение: окружающий мир словно бы вырисовывался в каком-то совершенно другом свете.

Раньше я чувствовал: мне плохо, очень плохо жи-

вется. Рядом видел богатых, сытых, праздных. Но почему так получается, в чем причины контрастов? Этого я не знал. Богатые относились ко мне с презрением. Я отвечал им ненавистью, от которой, впрочем, не уменьшалась моя зависимость от имущих власть и деньги. Постигая азы марксизма, я стал постепенно сознавать, что такое власть капитала, на чем она зиждется. И испытал что-то вроде восторга оттого, что достигаю такого понимания. Конечно, меня еще нельзя было тогда считать сколько-нибудь законченным социалистом, принципиальным и выдержанным бойцом революции. Но всем своим существом я стремился к этому.

В июле на афишном столбе увидел листовку с призывом к всеобщей стачке солидарности с восставшими матросами Свеаборга. В крайнем волнении пошел к Павлу Тетерину (он работал в яичном складе некоего Комендантова, отъявленного черносотенца). Павел сказал:

— Приходи в воскресенье в пять вечера в чайную на Седьмой линии. Около буфета комната есть, там потолкуем.

Собрались Павел Тетерин, Василий Володин, Иван Демин, всего человек семь. Заговорили о восстании в Свеаборге, о революции, вообще на политические темы. Каждый высказывал свои догадки о будущем. Я повел речь о недавней забастовке пекарей. Начал с условий труда, рассказал о профсоюзе, о перипетиях забастовки, о респрессиях против активистов-забастовщиков, о черных списках. Слушали меня внимательно. Этот рассказ на собрании земляков о всеобщей забастовке петербургских булочников я считаю своим первым устным политическим выступлением.

Володин служил в магазине-складе. Нередко я сопровождал его, когда он, нагруженный свертками, отнесил покупки клиентам. Часть свертков у него забирал, и мы беседовали по душам. Стремления были одни и те же: стать большевиками да преодолеть свою необразованность (я говорил: «неученость»). Оба соглашались: революция «накажет» притеснителей, освободит людей труда от гнета, невежества, произвола. Соглашались и в том, что надо иметь побольше знаний, а у нас их кот наплакал. Это последнее меня прямо-таки в тоску вгоняло. Вася был оптимистичнее.

— Вернее,— говорил он,— у нас мало знания. У нас вот на складе двое совсем неграмотные.

— Слабое утешение,— вздыхал я.

Володин стоял на своем: читать умеем — это уже что-нибудь да значит. Выходит, можем и должны читать, запоминать прочитанное.

— Знаешь,— сказал он однажды,— какие самоучки бывают? Ох, какие образованные! Возьми Ивана Сысоева. У него, правда, на два класса больше, чем у нас с тобою. Но два класса тоже не ахти как много. Зато он очень много читает, у него, знаешь, кругозор... В одном стихотворении... я не очень складно запомнил... Послушай: «Нас много, мы дружны и сомкнутыми рядами пройдем над головами нас проклинающих врагов». Нравится?

Мне эти слова очень понравились.

Начал посещать читальни. Читал как будто немало, но бессистемно, перескакивая с одного на другое. Хватался и за научно-популярные издания. Одна брошюра, помню, озадачила: почему это обыкновенная вода — «аш-два-о»?

Кто-то из земляков свел меня с конторщиком (фамилию запамятовал). Он экстерном готовился к экзаменам на аттестат зрелости и вызвался бесплатно заниматься со мною. Начали мы с русского языка и дробей. Дроби мне давались значительно легче. Мимоходом конторщик — спасибо ему! — познакомил меня с начатками алгебры, химии, физики, с латинским алфавитом, с некоторыми греческими буквами.

Однажды на собрании меня познакомили с пожилым рабочим, назвавшимся Семеном Семеновичем, и сказали, что смогу у него переночевать. Жил он на втором этаже невзрачного домика. Мы прошли по длинному коридору, пахнувшему мочалом и пеленками, вошли в его комнату, узкую, продолговатую, с низким потолком. У двери прибита вешалка, рядом стоял дырявый диван, у другой стены — железная койка с тощим тюфячком. Прибавьте колченогий столик, табуретки, этажерку с книгами — вот и вся меблировка.

Сколько раз до революции бывал я в таких комнатах наших рабочих-интеллигентов! Без книг они немислимы. Нелегальщину здесь, как правило, не держали из соображений конспирации, но всегда водились книги для самообразования: самоучитель Киселева по арифметике и алгебре, учебники русского языка, книжечка с началами химии, непременно что-нибудь из классической художественной литературы.

Семен Семенович предложил мне диван, сам улегся на койке и потянулся к этажерке: «Перед сном читать должен».



Не успел я задремать, как был разбужен странным стуком: кто-то швырял в окно камешек за камешком. Семен Семенович надел калоши на босу ногу, накинул на плечи пиджак. Вскоре он привел молодого человека в драповом демисезонном пальто, в фуражке реалиста. Тот воскликнул: «Э, да диван-то занят!» Нетрудно было догадаться, что он здесь не первый раз.

«Реалист» рассказал, что был в Соляном городке на философском диспуте, ввязался там в дискуссию, ушел поздно, глядь, а за ним «гороховое пальто», филер. Потратил время, чтобы избавиться от «хвоста», вот и пожаловал... Хозяин пристроил «реалиста» на своей койке, спали они «валетом», а рано утром, уходя из дому, разбудил нас. Мы с «реалистом» в чайной немного закусили, за чаем я его спросил, что такое диалектика, он объяснил, затем, видя, с какой жадностью я расспрашиваю, коротко рассказал о материализме и идеализме. Когда мы расставались, «реалист» сделал мне подарок — пухлую записную книжку:

— Возьми, здесь мои конспекты по философии.

Эта книжка и сейчас как бы перед моими глазами. Четким почерком писал автор об единстве противоположностей, о переходе количества в качество, об отрицании отрицания. Дальше разъяснялось, что такое возможность и действительность, необходимость и случайность, причинность и следствие, форма и содержание. Добросовестный владелец книжки исписал все ее страницы. Я был ей страшно рад. Книжечка стала для меня чем-то вроде философского словарика. Мои товарищи даже подтрунивали надо мною, говорили, что я «заболел философманией». Бесценный дар бережно хранил до первого ареста. Потом долго жалел о пропаже.

## 12

---

Уроки конспирации.— «У Каспари, у ворот, стоит Рачеевский завод».— В роли зачинщика забастовки.— Третьеиюньский переворот.— Вступаю в большевистский кружок.— Изучение основ политической экономии, дискуссии «на злобу дня».

Как-то на Среднем проспекте Володин и я увидели Ивана Сысоева. Он прошел мимо, но я громко окликнул его. Он оглянулся вокруг, не обнаружил, очевидно, ничего подозрительного.

— А вы, землячки, не особенные доки по части конспирации! — строго попрекнул он пас. — Зарубите-ка на посу: кого бы ни встретили на улице или на собрании, никогда не называйте по имени и фамилии. И вообще делайте вид, что незнакомы. Ждите, пока он сам начнет разговор. На сей раз вокруг нас нет шпиков, а мало ли что... Осторожность, осторожность, ребята!

Справедливо отчитав нас, Сысоев улыбнулся и позвал на квартиру, где намеревались собраться рабочие Балтийского завода, а он, Сысоев, должен был «обломать рога ихнему меньшевику».

Споры на собрании разгорелись горячче. Победил, как нам с Василием показалось, наш земляк-большевик. Когда расходились, я спросил Сысоева, кто такой человек с бородой клинышком и в пенсне. Иван второй раз в этот день нахмурился:

— Я же наказывал: не спрашивайте имен! Сегодня этот человек — Петр, завтра — Игнат, послезавтра — Матвей. Встретите меня на другом собрании, если я подойду к вам, не называйте меня никак, а называйте тем именем, которое я вам скажу, а если я сам не дам повод, то и не признавайте, что знаете меня. Это серьезное правило конспирации. Если хотите стать революционерами, следуйте ему.

Осенью возвратилась в Петербург мадам Зайцева, и я лишился пристанища. Редко-редко удавалось переночевать в рабочих семьях. Деньги копчились, поиски работы ни к чему не приводили. Бывали дни, когда ничего не ел. Спал (а точнее дремал) в поленищах, в лодках, под мостами.

Приближалась зима. Она меня всего более страшила. Я уже отчаялся, как вдруг на Лиговке был оставлен неким Яшкой, лихим, даже бесшабашным подмастерьем, с которым познакомился в дни стачки булочников. Узнав, в каком я аховом положении, он поскреб голову всей пятерней:

— Есть, браток, работа, но не работа, а сущий, поверь, ад, может, и похуже ада.

Я так и вцепился в Яшку:

— Хуже, чем теперь живу, вряд ли что может быть.

— Еще как может! — «утешил» Яшка и вдруг пропел:

У Каспари, у ворот,  
Стоит Рачеевский завод...

Я сразу сообразил, в чем дело. По соседству с типографией Каспари — «завод», пекарня Рачеева, это на

Воронежской улице. Рачеев пользовался дурной славой: кровосос из кровососов.

— А возьмет? — спросил я.

Яшка рассказал, что Рачеев, как кончилась всеобщая стачка, наплевал на соглашение, поувольнял всех, кто протестовал, и нанял разных босяков.

— Если жизнь не надоела, полезай, брат, в эту удавку.

И я полез... Чтобы не повторяться, скажу коротко: самое худшее, что я когда-либо наблюдал в других пекарнях, могло сойти за рай по сравнению с тем адом, в каком работали люди, нанятые Рачеевым.

Но я как-никак прошел профсоюзную и стачечную выучку. Донельзя уставая, проваливаясь в короткий соп между двумя выпечками, я через некоторое время стал ловчить, выкраивать время, толковать то с одним, то с другим работником, нашел, на кого можно опереться, в ком возбудить протест против жесточайших порядков, установленных Рачеевым и свирепо проводившихся его старшим приказчиком по выразительной кличке Горилла. Коротко говоря, я, самый молодой, в какой-то степени оказался зачинщиком, даже организатором забастовки на Рачеевском «заводе». Забастовка как вспыхнула, так и погасла. Меня, конечно, уволили.

Расскажу не о самой забастовке, а о курьезной перепалке между мною и Гориллой. Он позвал меня в магазин и, брызжа слюной, швырнув на пол пятирублевку, крикнул:

— Бери и катись отседова к чертовой матери. Думаешь, не знаю, кто подбил на бунт? Ты подбил, сукин сын!

Я поднял кредитку с полу и спокойно сказал:

— С вас не пять, а восемь рублей. Не «мальчиком» нанимали, а дощечником.

— И разговаривать не стану, бери деньги и катись.

— Не доплатите трешку, она вам в тридцатку обойдется.

— Как это так?

— Заявлю в полицию, что обсчитываете.

— Ха-ха-ха! Да полиция у меня вон где, — Горилла сжал кулак.

— Вы рыжему не доплатили пятерку, он вызвал городского, пришлось вам городовому сунуть трешку. А я вызову околоточного, ему уж придется сунуть пятерку. Кроме того, пойду в газету, чтобы о вас написали, как не даете расчетных книжек, надуваете рабочих, хлеб вы-

пекаете в грязи. Появится статья, придет к вам пристав. Приставу полагается четвертная, не меньше. Считать умеете?

С этими словами я вышел на улицу. Горилла догнал меня, остановил и вручил еще три рубля:

— Бери, щенок!

— И возьму. — Я рассмеялся. — Три рубля не валяются на улице. Пригодятся. Ведь мне по вашей милости опять «гранить мостовую»...

«Гранил» на этот раз не очень долго. Случайно узнал, что на углу Большого и Казачьего переулков в только что отстроенном доме некий «кустик» открывает большую пекарню и ему спешно нужны работники. Взял он меня подручным, но с обязанностью по утрам, когда много покупателей, помогать продавцам в булочной.

В пекарне запили двое рабочих. Хозяин дал мне адрес «фатеры» на Екатерингофском проспекте и велел живо привести двух «френов». Я и не подумал идти за босяками, а направился в общежитие профсоюза и привел оттуда двух человек. Прошло с неделю, не больше, как хозяин раскусил мою проделку и сказал:

— Прикидывался ягненком? Забастовщиков ко мне привел?! И сам-то ты, выясняется, забастовщик, да еще какой! — Он вытащил откуда-то тетрадку, ткнул в нее пальцем. — Вот, и ты тут записан! — Я понял: у него появился черный список. — Бери расчет! — И ткнул мне пять рублей.

Я в четвертый раз оказался безработным. На этот раз в очень тяжелое время — время начавшейся в России столыпинской реакции.

В ночь на 3 июня 1907 года, растоптав «неприкосновенность депутатов», власти разогнали II Государственную думу. Охранка сфабриковала грубую фальшивку насчет того, будто бы социал-демократическая фракция участвовала в подготовке вооруженного восстания, и она была объявлена подлежащей аресту. 3 июня появился манифест Николая II: Дума распущена, назначаются выборы в новую — III Думу. Но какие издевательские выборы! Помещики и буржуазия получали право избирать 65 процентов выборщиков, крестьяне — только 22, а рабочие — 2 процента (а уж выборщики избирали депутатов). Таким образом, состав будущей Думы был заранее предопределен как полностью послушный правительству Столыпина, архиреакционера, в 1906 году ставшего во главе правительства. В сущности, произошел государственный переворот. В историю он вошел под

именем «третьеиюньского». Это выражение было тогда широко распространено.

Неистовствовали карательные отряды и суды. Политические репрессии сопровождались репрессиями экономическими. Снова был удлинён рабочий день, снижена заработная плата. Бушевавший тогда мировой экономический кризис задел и Россию. Пошла полоса локаутов. Кривая безработицы подскочила вверх. «Чёрные списки» имелись в конторках чуть ли не у всех мастеров и приказчиков. Штрейкбрехеры, провокаторы, все разложившиеся элементы подняли голову.

Мне снова помог пресловутый «господин случай»: давняя просьба Алексея Зайцева к старшему брату «сработала» в то время, когда я уже совсем не ожидал помощи, и я стал рабочим янчного склада торгового дома «Зайцев и К<sup>о</sup>».

В другое время такой благоприятный оборот дела меня огушил бы радостью. Но его затмило событие, которое меня значительно сильнее обрадовало и взволновало: летом 1907 года Павел Тетерин предложил мне вступить в большевистский кружок.

В один воскресный вечер Тетерин, Володин и я поехали на Лахту. Там собрался кружок большевиков, человек десять. Никого из них я не знал. О чём тогда говорили и кто говорил, не помню. Не помню, скорее всего, по одной причине: я был переполнен одним чувством, одним сознанием: впервые присутствую на партийном собрании. И сейчас, по прошествии десятилетий, помню тогдашнее мое счастливое состояние.

Участники политических кружков (таких, в который и я вступил) изучали основы марксизма. Нашим кружком руководил Александр Левенсон, потом — Вадим Быстрянский (Ватин)<sup>1</sup>. Были и ещё пропагандисты. Они менялись довольно часто: то арестуют, то сменит место жительства во избежание ареста, то ещё какая причина. Начали мы с тех самых книг Богданова и Каутского, которые я с год назад пытался одолеть. Думал, что в кружке основательнее, чем год назад, изучу эти учебники, начну разбираться в политической экономии. Но вот беда: как правило, мы застревали на первых главах. Только их одолеешь — сменился пропагандист.

<sup>1</sup> Дальнейшая судьба Левенсона мне неизвестна. С Быстряским мы встретились после Октябрьской революции: оба были членами ВЦИК II созыва. Впоследствии он находился на научно-педагогической работе; скончался незадолго до Великой Отечественной войны, был тогда членом редакционной коллегии «Правды».

У меня и мысли нет упрекнуть руководителей кружка. Работа в кружках была лишь частью их партийных дел. Жили они бедно, бесприютно, то и дело меняя ночлеги. Полиция преследовала их. Преследовала она, впрочем, и нашего брата: само изучение марксистской теории считалось крамолой и «подрывом существующего строя».

Если изучение теории не очень-то быстро продвигалось, то зато нас, слушателей, несомненно, обогащали острые споры «на злобу дня». Дискуссии, в которые постепенно и я втянулся, давали эффект. А спорить, воевать было из-за чего.

Революция потерпела поражение. Ряды партии поредели. Ее покинули трусы, ренегаты. Уход ненадежных только укрепил партию: оставались стойкие.

У меньшевиков возникло и возобладаало ликвидаторское течение. Его участники настаивали на ликвидации нелегальной социал-демократии, на всяческих уступках господствующим классам, лишь бы действовать легально. Ликвидаторы утверждали, что буржуазная революция в России закончилась, самодержавие превратилось в буржуазную монархию, наступает «конституционная эра», задачи буржуазно-демократической революции могут быть решены «сверху», что же касается социалистической революции, то это дело далекого-далекого будущего. Среди большевиков объявились так называемые отзовисты. Они, эти «сверхлевые», требовали отозвать социал-демократов из Государственной думы, отказаться от работы и в легальных общественных организациях, действовать только в подполье. В сущности, как ликвидаторы, так и отзовисты (последних прозвали «ликвидаторы наизнанку») вредили революционной социал-демократии, и так поставленной в крайне сложные условия.

Если я кратко упоминаю о ликвидаторах и об отзовистах, то с одной целью: чтобы показать, в какой обстановке рабочая молодежь (скажем, Володин, я, да и не только мы) примыкала к большевизму. Большевики стояли за то, чтобы партия, после поражения революции уйдя в подполье, одновременно максимально использовала остающиеся возможности легальной работы: трибуну Думы, профсоюзы, рабочие клубы, просветительные общества и т. п.

На занятиях кружка (и вне кружка) внутривнутрипартийные вопросы обсуждались жарко и непримиримо. Споры в кружке помогали нам, большевикам и будущим большевикам, правильно ориентироваться.

Наш кружок входил в социал-демократическую группу Городского района Петербурга. В начале 1908 года эта группа слилась с группой Бориса Семёнова и стала называться центральной городской (центральной по географическому расположению, а не по значению). Почти все участники группы были земляками, выходцами из Кирилловского уезда. Единомыслие в группе отсутствовало. Например, Николай Тетерин, двоюродный брат Павла, примыкал к меньшевикам. Нам с Володиным особенно импонировал Иван Сысоев, чье имя я уже называл. В узкой партийной среде о нем говорили как о «втором Дицгене»<sup>1</sup>, таким начитанным и развитым он был. Это, конечно, было преувеличение, но оно свидетельствовало того, как мы уважали идейность революционера, постоянно занимающегося самообразованием.

Некоторые участники нашей группы из Городского района изредка собирались под видом чаепития то в чайной «Озеро Селигер» (на Сенной площади), то в дешевой ресторации «Ивановский» (на углу Садовой и Мучного переулка). Однажды (по-видимому, весной 1908 года) мы собрались в небольшой комнатке этого заведения вместе с нашим тогдашним пропагандистом Быстрянским. Я уже говорил, что самое интересное на занятиях было обсуждение злободневных политических тем, на этот раз — аграрного вопроса, которым я очень интересовался.

Один участник кружка сказал: хотя мы и отрицательно относимся к эсерам, а все же если подумать, то их требования передачи земли всем крестьянам и раздела ее поровну справедливы. Быстрянский предложил:

— Что ж, давайте подумаем сообща.— И спросил товарища, начавшего спор: — Скажите, в вашей деревне все мужики одинаковые?

— Нет. Есть безлошадные, есть имеющие лошадь и корову, а есть и крепкий хозяин — имеет две лошади и четыре коровы.

— Так, хорошо,— продолжал Быстрянский.— Предположим, крестьянам дали землю. Что, безлошадные смогут ее обработать?

---

<sup>1</sup> Иосиф Дицген (1828—1888), немецкий рабочий, по профессии кожевник. Талантливый человек, он самостоятельно пришел к диалектическому материализму. В течение четырех лет (1864—1868) работал на кожевенном заводе в Петербурге, здесь написал книгу «Сущность головной работы человека». Маркс и Энгельс, а позднее Ленин высоко отзывались о ряде философских трудов Дицгена.

— Если обзаведется лошадыю и коровой, то обрабатывает.

Третий вопрос пропагандиста:

— А где он возьмет денег, чтобы купить лошадь и корову?

Раздался смех. Кто-то поддел зачинщика разговора:

— Ты-то сам много ль заработал в городе? На лошадь хватит?

И посыпались вопрос за вопросом, в самом характере которых были и ответы. Может, кто из зажиточных даст денег безлошадному: работай, братец, на своей земле, а я тебе помогу осилить ее? Может, мироед и от батраков откажется: ступайте, ребятушки, пашите и сейте для самих себя?

Быстрианский перевел беседу поближе к эсеровским требованиям уравнительного раздела земли.

— По эсеровской программе получается: землей будет пользоваться тот, кто ее фактически обрабатывает. Но обрабатывать-то ее может тот, кто имеет скот и сельскохозяйственные орудия. У безлошадных нет ни того, ни другого. Он уйдет на заработки в город, землю отдаст кулаку. А останется в деревне, тоже она попадет к кулаку, или попросит бедняк у него ссуду под большущий процент.

— Так что же получается: мужик-бедняк никогда и не выбьется из нужды? — спросил товарищ, начавший разговор.

— По эсеровскому рецепту не выбьется. А выбьется только в общей борьбе вместе с рабочим классом. Пролетариат возглавит движение.

Возвращаясь с занятия, я восстанавливал в памяти ход дискуссии и восхищался, как искусно ее вел «товарищ Ватин».

Вскоре я встретился с двумя мужиками из нашей деревни. Они потеряли надежду сколько-нибудь зарабатывать на лесоразработках и решили в Питере наняться к какому-нибудь хозяину на зиму, а по весне вернуться домой с деньгами. Очень скоро они поняли зыбкость своей надежды.

— Здесь не больше выколотишь, чем в лесу, — признал один.

— Зато полегче будет, — как бы оправдываясь, сказал второй.

В комнате, где мы беседовали, были отходники из соседней волости. Они прислушивались к разговору.



— Земли бы побольше,— вздохнул пожилой крестьянин.

— А чем ее подыметь?

В конце концов сошлись на том, что «богатея давит», «богатея надо сбросить», а землю «подымать сообща». Но как «сообща»? Этот вопрос был мне самому неясен. Зато фраза: «А чем ее подыметь, землю?» — убеждала, что мало получить землю, надо еще подумать, чем ее «поднять». Я часто в своей агитации среди крестьян (и рабочих, связанных с крестьянским делом) зывал к этому здравому смыслу, разъяснял, как важно мужикам идти в союзе с пролетариатом.

## 13

---

*Первые партийные поручения.— Кампания выборов в III Государственную думу.— Агитация среди «молодцов» торговых заведений.— Рабочие клубы.— Баталии между большевиками и ликвидаторами.— Ответ школьнице из далекой деревни Никитцы.*

В прежние времена некоторых торговых служащих часто именовали приказчиками. Они ведали всем оборотом и всеми продавцами, рабочими. Была в торговых заведениях более низкая категория работников — «молодцы». Это рубщики мяса, сортировщики, упаковщики, разносчики товара, они же и грузчики.

Я был «молодцом» (проще сказать: рабочим) в оптовом яичном складе Зайцева: разгружал ящики с яйцами, сортировал их, упаковывал, развозил (или разносил) по мелким торговым заведениям и т. д. Рабочий день был установлен 12 часов, а когда фирме попадались срочные заказы, то продолжался и все 15. Полагался воскресный отдых, но не каждое воскресенье и не каждый праздничный день давали нам отдохнуть: то и дело посылали на холодильник или склад — сортируй, укладывай, упаковывай яйца. Жалованье мне положили 15—18 рублей, при своих харчах и своей «квартире».

Как ни трудна была работа, как ни низко жалованье (оно совершенно не соответствовало затрачиваемому труду), все же мое материальное положение было лучше, чем у «молодцов» соседнего Сенного рынка. Заработок стал большим, чем в пекарнях, и времени было больше. Последнее я особенно ценил; оно требовалось мне для учебы и партийных дел.

Когда развернулась избирательная кампания в III Думу, мне поручили участвовать в агитационной работе. Моя обязанность сводилась преимущественно к разноске по квартирам или рассылке обращения ЦК РСДРП.

По закону квартиронаниматели имели право выбирать выборщиков по второй городской курии. Мы поделили Городской район на кварталы и по справочной книге «Весь Петербург» определяли наиболее демократических квартиронанимателей, например кустарей, служащих частных учреждений, лиц свободных профессий. После этого обходили квартиру за квартирой и вручали наше обращение; если условия позволяли, то произносили несколько соответствующих фраз, а то и короткую речь в пользу социал-демократического кандидата.

Как правило, это оправдывало себя. Но, бывало, нарвешься и на черносотенца. Такой случай произошел со мной на Мещанской улице. В бельэтаже одного дома жил купец. Его квартиру я миновал, а позвонил в другую, на втором этаже, в моем списке значившуюся как снятую служащим коммерческого банка. Дверь открыл хозяин квартиры, я вручил ему обращение ЦК РСДРП. Не успел я и глазом моргнуть, как он заорал:

— Как ты посмел явиться ко мне, антихристов выродок? Подрывать основы престола?! — И обернувшись в сторону кухни: — Матрена! Пальто!

Толстуха кинулась помогать барину влезть в пальто.

Я попытался, но был крепко схвачен за руку:

— Стой! Не уйдешь! Тебя, негодяя, надо в полицию!..

Я изо всех сил толкнул его в грудь, выскочил на площадку, в несколько прыжков достиг третьего этажа. А мой преследователь, пыхтя, побежал вниз и, никого не обнаружив, злобно выругался (я с улыбкой прислушивался к его бессильной брани).

Избирательные участки занимали большие территории, а нас было маловато. Не в силах обойти все квартиры, мы решили «мобилизовать» себе в помощь почтовое ведомство. На свои медяки купили множество копеечных марок, обращение свертывали, надписывали адрес, наклеивали марку и опускали в почтовые ящики — по 10—15 штук в каждый. (Кстати, мы купили марок больше, чем нужно. У меня осталась на руках

тысяча марок, изъятая при первом аресте и поставившая в тупик следствие.)

Одновременно мне поручили вести агитацию среди «молодцов» рыбных и мясных лавок на Сенной площади. Неподалеку от нее имелся трактир, в просторечии называвшийся «Биржей». На «чистой» половине трактира обычно собирались хозяева лавок, вели переговоры, совершали сделки, «вспрыскивали» их. А на «черной» половине, грязной и тесной, толпились «молодцы».

Вот сюда, к «молодцам», и пришел я в холодный воскресный день. Что за лица! Опухшие, красные, фиолетовые, то ли от ветра, то ли от водки. Присел к общему столу, стал прислушиваться к разговорам. Тема в общем одна: как такой-то хозяин надул такого-то и поднажился на этом.

— А вам что-нибудь от такой ловкости перепадает? — спрашиваю с нарочитой наивностью.

— Еще как перепадает! Ревматизм да богомолье у «скорбящей от пьянки».

Мрачная шутка всех рассмешила.

— Видать, весело живетесь?

— Сороковка<sup>1</sup> — вот и полное веселье! У, весело живем! Я, брат, уж три месяца в деревню ни гроша, а там голодные рты.— И после нецензурной тирады: — Дохнуть, жмоты, не дают.

Перехожу к главному:

— Почему же в союз не записываетесь? Союз требует и праздничного отдыха, и жалованье повысить.

— А хозяин прогонит, тогда чего? Может, твой союз даст работу? Черта с два!

— Заводские,— говорю,— немалого добились через союзы.

— Так то заводские! Их много. А у нас что? У нас по два, по пять человек, от силы по десять.

Раздается реплика:

— В союз, небось, надо по пятаку в месяц носить. Вот если бы союз давал по пятаку, тогда иная статья, все побежали бы.

Никто не смеется.

— Жизнь-то наша, конечно, скотская. Но с нашим народом каши не сварить...— Снова пауза.— Знаешь, друг, за одни такие разговоры хозяин прогонит к чертовой матери.

Собеседники мои — кто вздохнув, а кто молча — отодвигают стулья, опасливо оглядываются и расходятся.

<sup>1</sup> Сороковка — бутылка водки объемом в 1/40 ведра.

Такие беседы я вел в трактире не раз. Трех человек я завербовал в союз. Конечно, мало. Но некоторые, хоть и не вступили в союз, призадумались. Надолго ли, вот этого я не знал.

Чтобы закрепить и увеличить успех, я однажды организовал в трактире относительно многолюдное собрание тех «молодцов», среди которых завел знакомства. Каким-то образом об этом собрании появилась хроникерская заметка в «Петербуржском листке». После этого двое «молодцов» дружески предупредили меня: больше в трактир не суйся — свернут башку, да еще в полицию сволокнут.

Существовал обычай: в начале лета устраивать на кладбищах поминки по родителям. Такие «родительские субботы» устраивались за Малой Охтой в Киневе (у скитов Александро-Невской лавры). Вот и мы, человек 20—25, собрались под видом поминальщиков, но место выбрали поглуше, в лесу. Присутствовали товарищи почти из всех районов Питера. Обсуждали злободневные политические вопросы: о сочетании легальных и нелегальных форм партийной работы, о профсоюзах, нейтральности которых требовали меньшевики, аграрный вопрос. Мне особенно запомнилось, как этот последний вопрос ставили различные ораторы.

Меньшевик, ссылаясь на Маркса, приводил мудреную для меня терминологию, и все это для того, чтобы толкнуть собравшихся к выводу: крестьянство-де реакционно, на революцию его не поднимаешь, падо рабочему классу, поскольку решаются задачи буржуазно-демократической революции, идти в блоке с либеральной буржуазией, с кадетами. Вот этот вывод меньшевика был мне понятен, я внутренне отвергал его и был согласен с большевистским оратором: пролетариат победит, если пойдет вместе с крестьянством, нужен общий натиск рабочего класса и крестьянства на самодержавие, буржуазно-демократическую революцию совершат оба класса при гегемонии пролетариата. Опыт пятого года показал контрреволюционность либеральной буржуазии, она шла на сделки с царизмом, землю крестьяне получают только благодаря рабочему классу.

Конечно, я схематично передаю содержание дискуссии на «родительской субботе».

Были собрания, целиком посвященные спорам о будущем РСДРП. Помню одно такое собрание, на котором первым слово взял ликвидатор Хватов. Посредственный оратор, он бубнил: партии нет, все развалилось... Его прервали:

— Партии, говоришь, нет, а здесь нас собралось не менее ста человек.

— Не думаете ли вы этой сотней потрясти самодержавие? — рассерженно спросил Хватов. — Затащили сто человек и решили, что делаете революцию. В Питере полмиллиона рабочих, а вы — сотня... Чтобы влиять на массу, надо работать легально.

Возражал Хватову меньшевик-партиец, но не очень убедительно. Резко и сильно прозвучала речь большевика «Сергея» (кажется, то был С. Я. Багдатов). Он сказал, что ликвидаторы ведут такую линию, будто они подряд взяли у Столыпина — глушить революционное рабочее движение. Ведь что значит легальная партия в условиях столыпинского режима? Это значит отказ пролетариата от самостоятельной политической борьбы. Легальная партия в третьей монархии будет в лучшем случае придатком кадетской партии.

— Поймите, вы, — Сергей протянул руку в сторону Хватова, — вы, новоявленные пророки! Рабочему классу одинаково ненавистны и царское самодержавие, и капитализм. Пока существует рабочий класс, будет существовать и действовать его партия.

Никакого примирения, даже сближения взглядов большевиков и меньшевиков-ликвидаторов не получилось. Да и не могло получиться. Разве соединишь лед и пламень?

Запомнил и совещание делегатов профсоюза металлистов. Председателем союза был архилегалист Булкин. Говорили про увеличение штрафов, про сверхурочные работы, ухудшение условий труда на заводах. Булкин воскликнул:

— Чего требуете от союза? Связан он по рукам и ногам!

Бросил реплику рабочий с патронного завода:

— А еще ратуют за легальную партию, не нравится нелегальная! Союз, говоришь, связан по рукам, а какой будет твоя легальная партия?

Делегаты громко рассмеялись. Булкин огрызнулся: «Демагогия!» Других «аргументов» у него не было...

Вслушиваясь в подобные разговоры, я и мои близкие друзья утверждались в большевистской, в ленинской позиции: в необходимости укрепления нелегальной партии, сочетания нелегальной партийной работы с легальной. Как ни были урезаны права профсоюзов, клубов, других общественных организаций, однако, пока они существовали, их следовало всемерно использовать.

Особенно укрепился я в этих взглядах после словесных схваток между ликвидаторами и большевиками, происходивших в клубах «Просвещение», «Свет и знание». В одной такой «баталии» участвовал и я, но прежде, чем рассказать об этом, хотя бы коротко сообщу, что собою представляли тогдашние рабочие клубы.

Они существовали на мизерные членские взносы рабочих. Ютились правления профсоюзов и клубы в тесных помещениях, чаще всего непригодных под жилье и потому сдававшихся домовладельцами по дешевой цене. Обычно это были две, от силы три комнатки, причем та, которая побольше, называлась «залой» — для заседания правления, для совещания, а то и собрания. Так как на них, за редчайшим исключением, присутствовал полицейский чин, то и посетителей, понятно, не ахти как тянуло в клуб.

Поэтому старались, чтобы собрания возникали вроде бы неожиданно, тогда можно было и не предупреждать полицию, а такое предупреждение (и разрешение) требовалось непременно. Заблаговременно договаривались с очередным дежурным правления клуба, с ораторами, под строгим секретом приглашали членов партии и сочувствовавших революционному делу рабочих. А потом как бы невзначай возникал разговор на политическую тему. Снаружи, у дверей клуба и поодаль, ставились патрульные; они предупреждали о появлении полиции или лиц, вызывающих подозрение. Стоило поступить сигналу тревоги, и собрание прекращалось.

В клубе «Просвещение» обсуждали доклад о формах революционной организации. Клуб находился в руках меньшевиков. Один из них договорился до того, что предложил объединиться с кадетами «для совместной борьбы против царизма». Оратора забросали вопросами: значит, вы считаете нужным бороться против царизма, а ведь для этого следует политически просвещать рабочих, вы же, ликвидаторы, в клубах, которыми верховодите, запрещаете лекции не только политические, но даже экономические. Докладчик ответил:

— Потому что большевики под видом экономики или страхования выдвигают политические вопросы.

Я встал и спросил:

— Если в рабочих клубах пельзя, то где же рабочие будут знакомиться с политикой? Кадетские газеты читать, что ли?

Повторяю: такие словесные схватки проясняли политическую мысль собравшихся. Рабочие отчетливее понимали, с кем идти.

Здесь уместно рассказать об одном письме школьницы из далекого села и моем ответе на него. В 1962 году издательство «Детская литература» выпустило мою небольшую книжку, озаглавленную: «Путь в партию. Рассказ старого большевика». Книжечка была популярной, описывал я свои детские и отроческие годы.

Издательство переслало мне несколько откликов читателей, был и отклик Нины Г. из деревни Никитцы Ненецкого национального округа. Письмо короткое, на листке из тетради. Нина спрашивала, жив ли я еще, а если жив, то: «Мне очень хочется узнать, как Д. И. Гразкин вступил в партию. В книге этого не написано».

Я ответил, что рад тому, что такие подростки, как Нина, интересуются историей революционной борьбы. Затем я писал девочке, что лет пятьдесят тому назад в партию принимали не так, как теперь, в советское время. Обычно кто-нибудь из членов партии рекомендовал беспартийного, который интересуется политикой и готов участвовать в революционной борьбе. Такого товарища приглашали на собрание политического кружка (или ячейки, как называлась низовая партийная организация).

После нескольких посещений кружка (ячейки), если члены партии убеждались, что беспартийный готов и способен к активной партийной работе, его уже считали членом РСДРП. Вначале ему давали небольшие поручения, например быть патрульным вблизи собрания и предупреждать товарищей об опасности, потом поручали, скажем, расклейку листовок, после — более сложные задания. Партийные билеты отсутствовали<sup>1</sup>, да их и не могло быть в условиях царизма, когда сам факт принадлежности к революционной партии влек за собою тюрьму, ссылку, даже каторгу.

В целях конспирации нового члена кружка называли не по фамилии, а по псевдониму, иногда по имени. Члены партии платили членские взносы, в большинстве случаев эти взносы записывались в торговые квитки, какими пользовались и продавцы в магазинах.

Каждый, кто вступал в большевистскую партию, должен был и морально, и физически подготовить себя к вполне вероятным испытаниям и репрессиям. Чтобы

---

<sup>1</sup> Первый партийный билет я получил 21 апреля 1917 года. Запомнил его номер: 1266. Выдан он мне был на фронте военной организацией большевиков при ЦК Социал-демократии Латышского края.

не дрогнуть в момент опасности, требовались высокая идейность, безграничная преданность революционному делу, готовность отдать даже жизнь ради освобождения народа.

---

Центральная городская группа РСДРП.— Получено задание: создать нелегальную типографию.— Конспиративная квартира на Алексеевской.— Как «сбывались» напечатанные прокламации.— Провокатор. Обыск. Арест.

Когда я писал Нине Г. о «торговых квитках», то имел в виду и собственный опыт. Месяца два я выполнял обязанности казначея центральной городской группы РСДРП, принятые взносы помечал в квитанционных торговых книжках. После меня казначеем стал Алексей Балагуров<sup>1</sup>, у которого хранилась и партийная библиотечка. Размер ежемесячного членского взноса был 5 копеек; во время выборов в Думу появились расходы на избирательную кампанию, и взнос увеличился вдвое.

Участники центральной городской группы были связаны с многими торговыми «точками» (как теперь говорят). И само собою получилось, что эта группа была как бы общегородской социал-демократической организацией для торговых служащих и рабочих. В группу входили не только мы, из Городского района, а и, например, Николай Угланов (работал в Песках), Уткин (на Охте), Козлов (Васильевский остров), Гусев (Выборгская сторона).

Число кружков в Городском районе колебалось от пяти до шести, и в каждом — человек по десять. Беспокоили участвовавшие провалы. Тогда я, конечно, не знал цифр: в годы реакции большевики Питера перенесли 15 массовых арестов руководящих работников, а в полном составе ПК был арестован 6 раз<sup>2</sup>.

Но деятельность организации не прекращалась. Так, члены центральной городской группы наладили

---

<sup>1</sup> С Алексеем Ивановичем Балагуровым мы подружились на всю жизнь. После Октябрьской революции он немало времени работал за границей по линии внешней торговли, потом в Москве в промышленности.

<sup>2</sup> См.: История Коммунистической партии Советского Союза. М., 1966, т. 2, с. 245.



связь с ячейками и кружками в других районах Питера. Хорошо помню, что на Васильевском острове мы были связаны с Балтийским и патронным заводами, за Невской заставой — с Семянниковским заводом, за Московской заставой — с кондитерской фабрикой Конради, в Нарвском районе у нас была связь с Антоном Нарвским (как звался Васильев) и с Сашей (Буйко). Иван Сысоев говорил нам, что такие связи необходимо устанавливать и поддерживать ввиду частых арестов членов ПК и районных комитетов. Таким образом, мы сможем (так действительно и бывало) свести к минимуму провалы. Практика связи низовых организаций друг с другом оправдала себя.

Все же провалы в годы реакции были значительны. Отражались они и на партийной технике. Поэтому большевистские организации отдельных крупных городов иногда заводили по несколько небольших типографий: провалится одна — действует другая.

В конце лета 1908 года Борису Семёнову, Павлу Тетерину, Василию Володину и мне поручили организовать подпольную типографию. Мы решили: Борису и Павлу уйти с работы, первому взять на себя техническую сторону устройства типографии, второму снять подходящую квартиру и для отвода глаз завести торговлишку; Володин и я должны были помогать Семёнову и Тетерину. Поскольку типография предприятие архиконспиративное, нам предложили отстраниться от другой партийной работы.

В начале августа на имя Тетерина сняли квартиру на углу Алексеевской и Офицерской улиц. Во дворе четырехэтажного дома стоял небольшой флигель. Первый этаж занимала какая-то кустарная мастерская, во втором были три неказистые квартиры, из которых мы сняли одну: две небольшие комнаты и темная кухня с выходом на лестничную площадку. В комнате, примыкавшей к кухне, поставили койки — квартирантимастера Павла Тетерина, его компаньона по торговле Александра Спасскова и мою, работника. В другой комнате, где и находился типографский станок, расположились Борис Семенов и Василий Володин. Мелкие типографские принадлежности мы хранили на кухне. Под окнами находился сарай, снятый Тетериним под яичный склад. Там мы разместили ящики для яиц и корзины для разноски товара.

Торговля яйцами, как нам казалось, ставила квартиру вне подозрений. Могла ли охранка предположить,

что торговцы вразнос печатают революционную литературу? Отпечатанные листовки мы укладывали ровным плотным слоем на дно корзины, а сверху в несколько рядов — наш товар. Не остановить же разносчика, чтобы проверить свежесть продукта!

Семенов, а в некоторых случаях Володин приносил оригинал из ПК, точнее от литературно-пропагандистской группы ПК. Текст пробивали на восковке (это была моя задача), с восковки и печатали.

В торговом доме Зайцева служил его дальний родственник. Одно время мы вместе снимали комнату. Парень он был компанейский, я ему доверял, а так как он умел печатать на пишущей машинке, то я и попросил его печатать текст листовок на восковках. В его скромности я мог быть уверен и не ошибся. Краску, валик, бумагу доставал я. Это не вызывало никаких подозрений, так как в фирме Зайцева имелся гектограф для печатания прејскурантов и мне не раз приходилось приобретать все нужное для этого дела, продавцы писчебумажных магазинов меня знали. На всякий случай я имел с собою фирменный заказ, но его ни разу от меня не потребовали.

Поначалу наша техника была весьма примитивной. С одной восковки получалось не больше 70—80 экземпляров. Последние экземпляры трудно было прочесть, поэтому мы полагали, что лучше отпечатать меньшее число, но отчетливо. Печатание отнимало массу времени: на 70—80 экземпляров уходила целая ночь.

Разноска была поставлена превосходно. Так как центральная городская группа была связана с товарищами из различных торговых заведений, то ранним утром Тетерин и Спассков отправлялись в мелкие лавчонки, где среди продавцов имелись наши люди — члены партии или сочувствующие. Адреса доставки каждый день менялись. Яйца поступали в продажу, а пакет листовок, перевязанный шпагатиком, вручался посланцу от завода или фабрики. Он, отыскивая глазами нужного ему продавца, спрашивал: «Нет ли у вас финских сырков?» — и, услышав обусловленный «отзыв», просил передать ему пакет. «Покупателя» просили зайти минут через двадцать. Это для того, чтобы продавец мог проверить, не притащил ли тот за собою «хвост». Пароли и отзывы менялись. «Покупатели» тоже.

Мы добивались более четких оттисков, число отпечатанных листовок увеличилось — приобрели опыт в новом для себя деле.

Стали мечтать о настоящей станке. Когда провалилась основная типография ПК, Семенов договорился со знакомыми деревообделочниками, и те изготовили кассу с ячейками для литер. Шрифт добыли с помощью наборщиков нескольких типографий. ПК прислал профессионального наборщика Иванова. То был человек лет тридцати, среднего роста, сухощавый брюнет, молчаливый и дельный. (Действительно ли его фамилия была Иванов, не знаю.) Работа пошла веселее. Листовки и прокламации мы стали печатать в большем количестве.

Охранке долго не удавалось раскрыть нашу типографию. Устроенная осенью 1908 года, она существовала и действовала до августа 1909 года.

Здесь следует сказать о том большом зле, которое причиняло революционным организациям провокаторство.

Слов нет, некоторые провалы были следствием недостаточной или плохо поставленной конспирации, излишней доверчивости, болтливости, неосторожности отдельных членов партии. Но конспирация совершенствовалась, а вот от провокаторов уберечься было труднее, распознать их часто было невозможно. Не случайно большинство из них оказались разоблаченными лишь после февраля 1917 года и раскрытия тайная тайных царского сыска. Случалось, однако, что с иных провокаторов срывали маску еще в предреволюционные годы.

Охранка всячески оберегала своих секретных сотрудников, платных осведомителей. Начать с того, что провокатор, как правило, работал в организации необычайно активно (ведь ему нечего было бояться ареста!). В списках охраны он никогда не значился под собственной фамилией, а звался кличкой. Письменных доносов не писал, докладывал устно, причем не в официальном учреждении, а где-то на частной квартире.

Ясно, что распознать провокатора, надевавшего на себя личину бесстрашного революционера, было крайне сложно. Между тем вред от провокаторов был громадный, и не только прямой, то есть выражавшийся в провалах, арестах и т. д., но и косвенный. Под этим косвенным вредом я имею в виду повышенную нервозность, атмосферу недоверия, подозрительности; мучила мысль: «Кто предатель?»

Единственный выход заключался в приобретении всеми членами партии, прежде всего молодым пополнением, конспиративных навыков. Помню, как я и мои друзья постепенно привыкали к правилу: ничего нико-

му, решительно никому, не рассказывать о деле, которое тебе поручено, кроме тех (или того), кто также к нему привлечен. Считалось предосудительным, неприличным прислушиваться к разговору товарищей, отошедших в сторону, расспрашивать про то, что тебя не касается, интересоваться документами, которых тебе не показывают.

Подобные правила помогали лучше наладить партийную работу, но радикально не решали вопроса о разоблачении всех провокаторов.

Вспоминаю случай, происшедший несколько позднее. В питерской организации работал некий Н. Богданов (одно время был членом ПК). У него дома была хорошая библиотека, там всегда можно было найти не только интересную и нужную книгу, но и прочитать центральный партийный орган большевиков «Социал-демократ» (очевидно, охранка беспрепятственно пропускала эту газету для своего секретного осведомителя). Однажды я тоже зашел к нему, увидел там несколько партийцев; они вскоре ушли, за исключением Ивана Акулова. Прочитав с ним последний номер «Социал-демократа», мы попрощались с хозяином, но тот увязался за нами. Вышли на Большой проспект Петербургской стороны, остановились подле кинотеатрика. Афиша сулила какую-то банальную картину.

— Такую дрянь смотреть — время терять, — сказал Акулов.

— Почему же? — возразил Богданов. — Надо когда-нибудь и рассеяться.

Богданов пошел в кино, а мы двинулись дальше. Акулов и говорит:

— Странно... От чего это Богданова тянет рассеяться? Если его прельщает такая дрянь, то либо он устал от партийной работы, либо тяготится ею. — И, помолчав немного, продолжал задумчиво: — А может быть, у него неладное на совести?..

Надо сказать, что и другие товарищи, независимо от Акулова, обнаруживали странности в поведении Богданова. Один за другим мы избегали его, а если и заходили, как прежде, то лишь чтобы прочитать газету, но не засиживаться. Он был разоблачен как провокатор лишь после Февральской революции.

Приблизительно за неделю до провала нашей типографии наборщик Иванов попрощался с нами; он сказал, что его посылают на юг, где создается большая подпольная типография. Вместо него ПК прислал нам

некоего Минина, работавшего метранпажем в Лесном. ПК, разумеется, не знал, что Минин провокатор. Тот набрал одну прокламацию и тут же выдал нас. Охранка поспешила разгромить досаждавшую ей большевистскую типографию. (Минин и его жена, оба провокаторы, были изобличены в 1917 году.) Если бы не этот негодяй, мы еще долго действовали бы.

Накануне, 31 июля 1909 года, я работал на складе Зайцева до восьми вечера. Отправился на Пески и на Васильевский остров условиться с товарищами, к которым завтра, 1 августа, принесут свежие прокламации. Домой вернулся за полночь. Товарищи спешили с печатанием листовки для текстильщиков. Все очень утомились, вставать надо было рано, поэтому листовку не отнесли на склад, как обычно делали, а оставили на столе, типографские принадлежности тоже не припрятали, а сунули под койку Семенова.

Только-только заснули, как раздался сильный стук в дверь. Стучали, должно быть, давно, мы так крепко спали, что не сразу проснулись. Дверь прямо-таки трещала под ударами дюжих жандармов и городских. Не успели мы опомниться, как дверь оказалась вышибленной. Раздетых, нас загнали в угол комнаты. Одни чины стояли подле нас, не опуская револьверов — такими опасными мы, видимо, считались, — другие обыскивали квартиру. Обыск начался в три часа ночи, копчился в семь утра. Перерыли все, до самой малой мелочи, подняли слабо или плохо пригнанные половицы, разворотили плиту. Обыском командовали пристав, жандармский офицер и какой-то шпик в штатском. Не доверяя городovým, они сами лазали по углам, высматривали, выстукивали.

Все, изъятые на квартире, снесли в дворницкую. Туда же отвели нас и приступили к протоколу. В десять утра нас под конвоем повели по Офицерской улице и сдали в 4-й участок Коломенской части. Здесь держали до полудня, затем — уже не всех вместе, а поодиночке — выводили на улицу, усаживали на извозчика и под охраной двух городских — один слева, другой справа — отвозили в «Кресты» — санкт-петербургскую одиночную тюрьму.

На следующий день, 2 августа, в «Петербургском листке» появилось сенсационное сообщение: «Арест тайной типографии». Начиналось сообщение по-деловому: «В ночь на вчера, 1-е августа, в доме № 47 по Офицерской улице захвачена обширная типография со-

циал-демократов». Далее «Петербургский враль» разукрасил сообщение кричащими подзаголовками отдельных главок: «Торговцы», «Обыск», «Революционные воззвания», «Тайная типография», «Арест». Несомненно, пером репортера водила полицейская рука, набивавшая себе цену. Отсюда такие преувеличения: «обширная типография», «целый склад революционной литературы», «груды отпечатанных прокламаций», «масса бумаги», «много типографских красок». И невдомек было полицейским чинам, что рабочие, читая такого рода сообщение, только радуются: «Значит, наши не складывают рук! Молодцы ребята!»

За мной захлопнулась дверь одиночной камеры на третьем этаже «Крестов». Номер ее был, кажется, 253. Дверь выходила на площадку, обращенную внутрь тюрьмы, окно — во двор; приподнявшись на цыпочки, можно было разглядеть дом на Тимофеевской улице, в котором проживали тюремные надзиратели.

Василия Володина отпустили еще в полицейской части. Хотя и был он старше меня на два года, по выражение его лица было настолько детским, что он казался мальчиком лет десяти — двенадцати. Возможно, освободили потому, что решили выследить: куда ринется, к кому побежит? А Володин тотчас укатил на родину, в деревню. Некоторое время спустя его там арестовали и привезли в те же «Кресты». Это произошло уже в разгар следствия, когда полиция разобралась, что рукопись одного (так и не отпечатанного нами) воззвания написана рукой Володина.

## 15

---

**В одиночной камере.— Случай на прогулке.—  
Пытка «смешанным» карцером.— Тюремный университет.—  
Две «невесты».— Как держаться перед  
жандармским следователем?**

Бесконечные дни одиночества и безмолвия несколько скрашивались появлением уголовных: они приносили пищу и убирали парашу. По утрам уголовный, сопровождаемый надзирателем (оба молчали), наливал кипяток в медную кружку, подставляемую заключенным, и выдавал дневной рацион черного хлеба, граммов приблизительно триста (по-старому —  $\frac{3}{4}$  фунта). В обед медная кружка наполнялась бурдой, именовалась она

то супом, то щами, на второе шла жидкая ячменная каша, а на «десерт» — кипяток. На ужин — только кипяток.

Прогулка полагалась двадцатиминутная. Шагали, не проронив ни слова, по кругу, в отдалении друг от друга, под колючими взглядами надзирателей. В это время уголовные вносили в камеру ведро воды и тряпку. Вернувшись с прогулки, я с удовольствием мыл окрашенный цементный пол — все-таки разминка. В отличие от уголовных, которые работали в тюремных мастерских, «политиков» физическим трудом не нагружали — не из жалости, а чтобы однообразнее было удручающее одиночество. И так сутки за сутками, неделя за неделей. На допрос не вызывали намеренно, с целью взвинтить нервы, сделать более податливым. Вокруг, казалось бы, мертвое молчание. Но только «казалось бы», ибо нет-нет да и раздавался характерный стук в стенку. Сосед справа вызывал на разговор. О существовании тюремной азбуки я знал, но выучить ее на воле не удосужился. Теперь очень досадовал на свою оплошность. Мучительно старался понять значение долгих и коротких пауз, уловить смысл, но ничего не понимал.

Но вот утром надзиратель вывел меня из камеры. В тюремной конторе он продержал без всякого дела, затем повел наверх, в специальный кабинет. Там сняли отпечатки пальцев, фотографировали в головном уборе и без оного, в пальто и в пиджаке, измерили рост, записали в карточку приметы — цвет волос и глаз, форму губ, носа, ушей. Совершались все эти манипуляции в полном молчании.

И снова — камера. И снова — прежний режим.

Сосед справа продолжал терпеливо выстукивать фразу за фразой, а я беспомощно молчал. Из рассказов товарищей, побывавших в тюремном заключении, я знал, что рядом с политическим, брошенным в одиночку, непременно сажают уголовного. От этого правила тюремщики отступали, разве что когда тюрьма оказывалась переполненной нашим братом. Я спрашивал себя: «Может, и нынче в «Крестах» слишком много революционеров? Может, рядом «наседка», сотрудник охраны?»

Как-то на прогулке один политический многозначительно взглянул на меня и сделал вид, что споткнулся, при этом уронил крохотный шарик. Сделав несколько шагов, я тоже вроде бы споткнулся, быстро поднял шарик, сунул в карман,

Едва мы сделали первый круг, меня и незнакомца вывели из круга и доставили к начальству. Мы оба категорически отрицали факт передачи чего бы то ни было. А надзиратель твердил: «вот этот» бросил «предмет», а «вот этот» поднял «предмет». Стали меня обыскивать. Трясли и так и этак — ничего! Я и сам был изумлен исчезновением шарика. Надзиратель высказал догадку: небось проглотил «этот предмет».

Хотя ни меня, ни товарища ни в чем не изобличили, помощник начальника тюрьмы приказал:

— Вывести обоих! Каждого на трое суток в смешанный карцер!

Оказалось, «смешанный карцер» — смешение двух карцеров. Первый, в который меня посадили, представлял собою абсолютно темную каменную каморку. Она была так мала, что не то что ходить, выпрямиться нельзя было. В углу нащупал парашу, на полу — две грубо сколоченные доски: сиди или лежи. Под досками проходила труба парового отопления. От нестерпимого жара и спертого влажного воздуха я покрылся потом, с трудом дышал, не находил себе места. Так продолжалось день, ночь, еще день. Когда меня вытащили из карцера, я не держался на ногах. Второй карцер был немного просторнее, но совершенно не отапливался. Окопце заменял железный лист со множеством дырок, настоящее решето, на месте двери — такой же дырявый щит. Потный, во влажной одежде, я очутился на сыром, промозглом сквозняке (стояла дождливая ветреная осень).

Меня вернули в прежнюю одиночку. Я был простужен, измучен высокой температурой. Я ворочался с боку на бок, вскакивал, снова ложился, меня то знобило, то бросало в жар. И вдруг... вдруг нащупал в пиджаке какой-то бугорок. Едва в коридоре затихли шаги надзирателя, я зубами отодрал подкладку. Между ней и верхом пиджака лежал злополучный шарик. Скорее! В крохотном обрывке свинцовой фольги от пачки чая лоскуток папиросной бумаги, на нем написаны двадцать семь букв, в алфавитном порядке, в клеточках, по пять в каждом ряду, а в шестом ряду только две последние буквы: «ю», «я».

Забыты и карцер, и болезнь. То пряча азбуку, то извлекая ее, изучаю нехитрый «шифр» и вот уже выступаю соседу: вернулся из карцера тогда-то, а вы? Он отвечает: а я тогда-то. Следуют вопросы: кто такой, за что взяты? Сосед отвечает: реалист последнего класса, схвачен на эсеровской сходке, идет следствие,



наверное, удастся выкрутиться, дело кончится разве что исключением из реального училища, тогда — экстерном. Теперь — моя очередь. Снова подозрение: а не «наседка» ли? Сообщаю ровно столько, сколько значитсЯ в протоколе: арестован на квартире, где нашли типографию... (В скобках замечу: реалист не был провокатором. Я получал от него дельные советы. На воле мы ни разу не встретились, фамилии его я так и не узнал.)

А к следователю все не вызывали... Я стал себе внушать: «Спокойнее, спокойнее! Они тебя «выдерживают»? Ну и тебе некуда спешить. Много свободного времени? Займи его чтением, выписывай книги из тюремной библиотеки. Назло царским псам становись более образованным». Таков был примерно ход моих размышлений. И стал я читать, много читать, проходить курс «тюремного университета». Сначала накинулся на беллетристику. Но не всякая беллетристика удовлетворяла. Например, Достоевского я сразу и определенно не принял, он не отвечал моим политическим настроениям. Другое дело — Горький, некоторые его вещи перечитал дважды. Поправился Виктор Гюго... Потом припаялся за научную литературу. Внимательно прочитал тома соловьевской истории России. Затем взял «Происхождение видов» Дарвина, об этой книге был давно слышан. Попалась и какая-то книга, не помню названия, но помню: сильно смутили кое-какие высказывания мальтузианского толка, показались они мне неприемлемыми.

Через некоторое время после ареста политический «Красный Крест» стал ежемесячно присылать мне по 3 рубля. Этого хватало на белый хлеб и сахар, а главное — на покупку тетрадей (каждую пронумеровывал и скреплял сургучной печатью тюремный чиновник). В тетрадях я, как умел, конспектировал прочитанное.

Увы, никто моим чтением не руководил. И оно было не столь полезным, как мне хотелось. Я читал так много, что в конце концов встревожился: как бы не запутаться? Почувствовал большую усталость, потерял сон. Рассказал об этом реалисту. Он посоветовал на время сократить чтение до минимума, а чтобы побороть бессонницу, шагать вечером до изнеможения. Я постепенно так привык к такому хождению (а шагая, все думал, думал...), что позднее, на воле, когда обсуждался какой-нибудь вопрос, вскакивал и начинал ходить. Если ловил удивленные взгляды товарищей, объяснял, откуда взялась эта привычка.

Политическому разрешались свидания с родственниками. У меня в Петербурге их не было. «Красный Крест» в таких случаях посылал (для поднятия духа) «невест», женщин, сочувствовавших революционерам.

Первая «невеста», явившаяся ко мне на свидание, была женщиной на четвертом десятке. Она почувствовала себя неловко перед лицом столь юного «жениха» и быстро ретировалась.

В следующий раз пришла молоденькая «невеста». Но опять выходило неладно: я попросту не знал, о чем с ней говорить. Однако девушка сама меня развлекала. Она мило болтала, стараясь между невинными фразами вставлять политические новости, почерпнутые, конечно, из газет. Но и такие новости были «хлеб» — ведь газет нам не давали.

— Знаешь, милый, в Екатеринославе у знакомых сыграли свадьбу. Она должна была состояться еще в пятом году, да откладывалась. Гости перепились, восемь от вина умерли... Кошмар! Вообще столько трагичных свадеб... Вот и у нас в Питере... гостей собралось человек сорок, ужас как перепились, человек десять считались совсем обреченными, слава богу, остались в живых, хотя и пострадали, а разве только они?.. Из бывших на свадьбе еще человек двадцать долго будут себя чувствовать плохо...

Надзиратель грозно шевелил пальцами и бровями, но придаться было не к чему. Мы с реалистом основательно поломали себе голову над «свадебными ребусами», а потом сообразили: должно быть, речь идет о судебных процессах.

Между тем читал ли я, шагал ли по камере, ходил ли на прогулки или на весьма редкие свидания с «невестой» — в общем, чем бы ни был занят, я все время думал о том, как держаться на следствии.

Вот тогда-то вспомнил рассказ, услышанный па квартире моего земляка Ивана Демина (родом он был из деревни Острецово, потому взял себе фамилию Острецов). Однажды к нему зашел рабочий Балтийского завода, выпущенный из тюрьмы из-за отсутствия улик. Лет ему было около тридцати, одет он был в пестрядичную рубаху и грубый домотканый пиджак, лицом ничем не примечателен, — словом, деревня деревней. Но как только он начал разговор, я понял: умница, веселый человек, находчивый! Теперь, в камере, я во всех подробностях как бы вновь услышал его рассказ — даже

голос почудился, взгляд из-под бровей, интонации, жесты, мимика, игра в протачка:

— Привели это, значит, меня, братцы, в охранку. Долго ли, скоро ли, а предстал я наконец пред светлые очи жандармского начальства. Дядя, видать, тертый, наверняка приготовился вывернуть меня наизнанку. А ведь и мы тоже не лыком шитые...

Мы рассмеялись. Рассказчик с серьезной миной продолжал:

— Поначалу следователь помалкивает, делает вид, что читает. Короче, берет на измор. Я тоже не тороплюсь. Оглядываюсь, уперся в царев портрет, будто в первый раз вижу. Потом следователь лениво отодвинул папочку, спрашивает скучно-прескучно: «Вы к какой партии-то принадлежите?» — «Я-то?» — «Да, вы». Отвечаю без запинки: «К партии Пимена Кузьмина». Следователь аж встрепенулся: ах, какой податливый, какой простодушный арестант! И ласково, будто меду ему на язык положили: «Скажите, пожалуйста, голубчик, а где теперь находится этот Кузьмин? И еще, пожалуйста, вспомните, назовите имена всех, кто входил в партию вместе с вами». Вежливое обращение мы, приятно, уважаем. Я тоже потянулся в сторону следователя, гляжу на него доверчиво, предапно. «Пожалуйста, отчего не сказать? Как началась на заводе стачка, так, значит, всю нашу партию, артель тоись, всю, как есть, рассчитали. И Пимена, знамо дело, тоже рассчитали». Следователь онемел. А я мелю: «А куда они все девались, кто их знает? Может, по деревням убрели...» Следователь смекнул, его затрясло. Он вскочил, затопал ножищами, замахал руками: «А, такой-сякой, разэтакий! Ты чего дурочку корчишь?! Мы все знаем!!» — и тычет в папочку, тычет. А я — серяк серяком — спокойно говорю: «Да на что же вы, батюшка, осерчали? Чего вы, ваше благородие, ругаетесь? То был я у вас «голубчик», то говорили «пожалуйста», а теперича — «дурочка». Нехорошо получается». — «Да как ты смеешь?» — рассвирепел следователь. А я свое долдоню: «Так я ж вам говорил... Значит, состояли мы в артели, в партии, как вы ее прозываете...» Минут сорок мы так побеседовали, он орет, а я — тихо-тихо... Ну, меня — так, сяк, да и отпустили...

Вспомнил я рассказ рабочего с Балтийского и решил: изображу-ка на следствии протачка. Принял такое решение, на душе полегчало. Вновь погрузился в чтение.

В мемуарах многих революционеров читал, что им удалось распропагандировать некоторых уголовных, даже надзирателей и солдат охраны. В нашем «деле» надзиратели как были церберами, так и оставались ими, а вот одного уголовного Борис Семенов привлек на нашу сторону, и тот, несмотря на риск, согласился стать связным. Как этого Семенова добился, не знаю, но факт, что еще до того, как я подвергся первому допросу, уголовный доставил ко мне в одиночку записку. Семенов сидел в другом корпусе «Крестов»; следовательно, ему, запертому в одиночной камере, предстояло еще узнать, где и кто из нас заперт — в каком корпусе и в какой камере. Однажды, когда уголовный (по обыкновению, не один, а с надзирателем) вошел в камеру за парашей, я заметил, как он, вынимая «сосуд» из деревянной стойки, оставил на ее краю крохотный клочок бумажки. Едва захлопнулась дверь, я схватил записку и с бьющимся сердцем развернул ее. Борис Семенов сообщал: всю ответственность за типографию он взял на себя, я должен отрицать всякое отношение к ней. Записку я смял и проглотил.

## 16

---

**В карете на Таврическую.— Допросы в жандармском управлении.— Игра в простачка.— Следствие подделывает мою метрику.— Из «Крестов» в «предварилку».— Суд. Приговор. Высылка.— Человек без паспорта.**

На первый допрос меня вызвали месяца через два. Усадили в карету, запряженную парой лошадей; рядом уселся жандарм, напротив — другой. Хотя окна кареты были занавешены, все же в щелочку видно было, по какому маршруту везут: Арсенальная набережная, Литейный мост, Шпалерная улица. Ага, на Таврическую, в жандармское управление.

Карета въехала во двор. Повели в дом, поднялись по лестнице. Навстречу, тоже под охраной, спускается Савинов, столяр, изготовивший кассы (ячейки) для шрифтов нашей типографии. Конечно, ничего случайного в такой встрече быть не могло. Охранка заранее спланировала ее. Но мы с Савиновым окинули друг друга совершенно безразличными взглядами. А я, входя в роль простачка, спросил своего стража: «Это что, тоже

политический?» — «Проходи, проходи!» — буркнул жандарм. Сюрприз не состоялся...

Вскоре я очутился в просторной и абсолютно пустой комнате. Жандарм остался по ту сторону двери. Я сделал несколько шагов, затем попробовал усесться на подоконник. Жандарм тут же открыл дверь и приказал слезть. Минут через сорок привели меня на второй этаж, тоже в просторную комнату. Из двух больших окон виднелась Таврическая улица. В простенке между окнами стоял письменный стол, за ним сидел жандармский капитан, он изредка взглядывал в лежавшие перед ним бумаги, вновь откидывался в кресле и смотрел куда-то в пространство, будто меня и не существовало. С левой стороны комнаты, у стены, стоял другой письменный стол, кресло перед ним пустовало. Из коридора вошел жандармский подполковник, уселся в это кресло, меня подвели к столу, предложили сесть на стул спиной к окнам, лицом к подполковнику.

Тот минут пять молча и как будто бы с любопытством рассматривал меня. А я с самым простодушным видом смотрел то на него, то по сторонам: дескать, все это мне в новинку и даже интересно! Наконец последовал пропический вопрос:

— Вы, конечно, ни к какой политической партии не принадлежите? — Краткая пауза и второй вопрос, тоже ироническим тоном: — И о существовании подпольной типографии в квартире, где проживали, тоже ничего не знаете? — Опять пауза, и уж без иронии, а с ядом: — Вы ведь только торговцы, не правда ли? Так сказать, торговали кирпичом, да остались ни при чем?

— Да нет,— говорю,— мы не кирпичом, ваше благородие! Тетерин и Спассков — знаете их? — они торговали яйцами, а не кирпичом...

— Напрасно юлите, молодой человек! Пользы не принесет!

Дальше — больше, но метод тот же: кнут и пряник. А я держусь простецки, гну свое: подробненько толкую о торговле яйцами, как она поставлена, как сортируются яйца, каковы цены, как работаю на складе и как поздно ночью, усталый, прихожу на квартиру, да и заваливаюсь спать — вставать-то надо очень рано...

— И так, ваше благородие, каждый божий день, каждый божий день...

Допрос продолжался с полчаса. Подполковник ничего не записывал (может быть, протоколировал сидевший за моей спиной капитан, но мне это было не вид-

но). Подполковник отпускал колкости или страдал. А я, почтительно удивляясь непонятливости «господина начальника», рассказывал о торговле яйцами, о житие-бытье складского рабочего...

По возвращении в камеру первым долгом постарался восстановить в памяти весь разговор у следователя: не ошибся ли я в чем-либо? Пришел к заключению, что не ошибся, что у жандармов должно было утвердиться обо мне мнение как о весьма неважном политическом деятеле.

И вновь потекла тюремная обыденность. Продолжал читать, делать записи в тетрадях. Шагал по камере, обдумывал прочитанное, вспоминал стихи, в частности из «Детей солнца» Максима Горького.

От первого допроса до второго минуло еще месяца два, если не больше. Второй допрос велся по всем правилам жандармского искусства: недвусмысленные угрозы и столь же недвусмысленные уговоры признаться и выдать товарищей, чтобы облегчить свою участь; здесь были и ласка, и окрик, и намеки, и долгие паузы.

Я играл прежнюю роль — простака. Подполковник «маневрировал», но сбить меня с позиции не смог. Это его злило. Да и как не злиться! В кресле восседает высокий чин, уже не одно «дело» доведший до нужного ему конца, а на стуле — «чумазый паренек», и вот, на тебе, не сдвинешь...

— Типография? — переспрашиваю я следователя. — А я даже и не знал о ее существовании!

— Как же не знал, раз жил в этой же квартире?

— Проживал... Разве я отрицаю? Но, господин начальник, посудите сами: на работу в фирму уходил рано, в пять-шесть утра, возвращался поздно, в одиннадцать, а то и в двенадцать ночи. Вы уж, пожалуйста, поспрошайте сыщиков, наверняка они меня заприметили. Ведь почитай, около года ходил мимо сыского отделения...

Следователь упорно настаивал на моей принадлежности к РСДРП. При обыске у меня нашли номер заграничного «Социал-демократа», центрального органа партии. Я сочинил такую версию (и, как меня ни сбивали, повторял ее): по абонементу, мол, обедал в греческой кухмистерской — знаете, на углу Садовой и Кукушкинской? Как-то сел я за столик, от которого отошли трое молодых людей в форменных фуражках, оставили на столе газету «Речь», она везде продается, развернул,

глядь, а в ней другая газета, вот та самая, про которую вы и говорите, господин следователь. Верно, «Социал-демократ» называется, она самая... Пощупал ее, не похожа на наши, бумага тонкая, вроде папиросной, но крепкая. Интересно! Свернул, сунул в карман, думал поглядеть на досуге, про чего там пишут, да так и не урвал минуты. А жаль, ей-богу, жаль, вот теперь и время есть, так небось не отдадите мне газету... Как ее? Ага, вспомнил: «Социал-демократ»...

Забрали у меня при обыске тысячу копеечных почтовых марок. Я раньше упоминал о них. Они остались неиспользованными, когда мы рассылали по почте большевистскую избирательную литературу перед выборами в III Думу. О марках показал: приобрел для фирмы, в которой работал. Ответ звучал убедительно, поскольку я часто покупал марки для рассылки зайцевских прејскурантов.

Допросы участились. Следователь возвращался, как мне казалось, к исчерпанным темам, стараясь выудить противоречивые ответы. А я твержу свое...

Как-то, безотносительно к тому, о чем только что говорилось, жандармский офицер сказал, глядя на меня в упор:

— Вы утверждаете, что на квартире, где действовала нелегальная типография, вы были обыкновенным жильцом, снимали койку, ведать ни о чем не ведали. О типографии-де ничего не знали, ни о каких политических партиях не слыхивали, к социал-демократам отношения не имеете. А вот нам, например, доподлинно известно, что вы были членом союза булочников, активным участником стачки в шестом году. Не станете же и это отрицать?

— Вам наврали. Ну, ей-богу, наврали,— отвечаю с прежней простоватостью.— Пусть покажут членскую книжку. Я ж тогда был совсем мальчонкой, разве взрослые пошли бы у меня на поводу?

Читателю уже известно, что членом союза я формально не был. Значит, спокойно мог просить несуществующий членский билет.

В следующий раз я был немало поражен осведомленностью охранки.

— Итак,— сказал жандармский офицер,— вы отрицаете, что состояли членом преступного сообщества, именуемого РСДРП? Между тем мы располагаем данными, что вы принимали участие в чрезвычайной пестербургской городской конференции РСДРП.

«Откуда у них эти данные? — мелькнуло в голове. — И давно ли у них такие сведения? Кто пазвал им мое имя?» Я помедлил.

— Очень странно вы говорите, господин следователь. Это же поклеп. Пусть тот человек, который вам про это сказал, при мне повторит, в моем присутствии.

— Может быть, — отпарировал следователь, — вы еще и официальную бумагу потребуете, подтверждающую ваше активное участие в конференции? Ведь требовали же вы предъявить вам членский билет союза булочников?

— Не требовал, просил... Это наговор чей-то, а чей, не пойму. Кому это надо?

Мне стоило усилия сохранить спокойствие. Ведь действительно была такая партийная конференция — чрезвычайная городская. Обсуждался вопрос о предвыборном блоке в избирательной кампании. На конференции я и впрямь присутствовал. Никакой активной роли я, новичок, не играл, молчаливо слушал других. Но так или иначе, я был на конференции, и жандармы это знают. Когда допрос кончился, я в карете, затем в камере обдумывал, как всегда, свои ответы. Ответил я правильно, никогда жандармы не показали бы мне тайного осведомителя, провокатора, который донес им о конференции и о тех, кто был на ней. Но кто он, этот негодяй?

Так или иначе, поскольку то были сведения, полученные охранкой от секретных сотрудников, обвинения насчет участия в общегородской петербургской конференции РСДРП не включили в протокол, предъявленный мне для подписания.

Когда следствие закончилось, нас перевели из «Крестов» в «Предварилку», как в просторечии назывался дом предварительного заключения. Отсюда был прямой ход в зал судебных заседаний Петербургского окружного суда. В этом зале нас и судили 23 марта 1910 года. Тут все мы наконец встретились.

Председательствовал сенатор Крашенинников. Это был ярый реакционер, отличавшийся особой жестокостью в расправе над революционерами. Накануне суда нам назначили казенных защитников.

На суде, как и на следствии, я все отрицал, ни в чем не признавал себя виновным. Отрицали обвинения и остальные подсудимые. Семенов же заявил, что он был организатором типографии, печатал сам, когда лица, проживавшие в квартире, отсутствовали. Но эти его признания даже по царским законам не имели юри-



дического основания. Какими вещественными доказательствами располагал суд? Типографской техникой, прокламациями, помером «Социал-демократа», вытасченного из кармана моего пиджака. Савинов тоже оказался в числе обвиняемых (охранка, у которой он давно был на подозрении, только ждала случая); ни в чем конкретном он не был изобличен, но провокатор Минин успел передать своим хозяевам подробные донесения. На эти сведения, не указывая, разумеется, источника, ссылался обвинитель.

Произошел любопытный юридический казус, лишний раз свидетельствующий о беззаконности следствия и судопроизводства. Лишь в тюремном заключении мне исполнилось 18 лет. По закону человек, совершивший преступление до совершеннолетия, суду не подлежал. Поэтому мне приписали лишний год. Я заявил протест следователю, он сказал: «Проверим». На суде вновь заявил протест. Председательствующий предложил секретарю огласить метрику. Тот огласил... фальшивку<sup>1</sup>.

— Слышите, подсудимый Грызкин? — сказал Крашенинников, помахивая бумажкой. — Протест отклонен.

Всех, привлеченных по делу нашей типографии, признали виновными и осудили на разные сроки. Мне определили 10 месяцев крепости «с заменой этого наказания в случае надобности». Вскоре я на своей шкуре познал, что такое каучуковая формула «в случае надобности». Десять месяцев крепости. Значит, рассуждал я, скоро освободят. Какая наивность! Всевластие тюремщиков, жандармов, полицейских было беспредельно. Каждый чин сам по себе был власть, каждый, или почти каждый, норовил показать, что ты ничто в сравнении с ним, его благодием.

Десятимесячный срок давно истек, а меня все еще держали в одиночке, только через несколько месяцев вызвали с «вещами». Думаю: освобождают. А мне говорят: переводим в московскую полицейскую часть города Санкт-Петербурга. Почему в полицейскую часть? Ведь срок-то вышел?

— Вышел-то вышел, — отвечает тюремный начальник, — да и паспорт ваш вышел, срок его истек. Значит, вы человек без паспорта, бродяга, вас за бродяжничество

---

<sup>1</sup> Почти полвека спустя я обнаружил в архиве в делах департамента полиции ту самую метрику, которая фигурировала в суде. Стало ясно: по предложению полицейских властей священник написал фиктивную справку,

ство по закону вышлем на родину, в Кирилловский уезд, в деревню... Как ее?.. В Великий Двор.

— Позвольте! — протестую я. — Отдайте паспорт, я выйду на волю, напишу в свою волость, мне продлят.

— Нет, — отвечает начальник, — вам нельзя в Петербурге проживать.

— Как это нельзя? Ничего такого в приговоре суда не было.

— А это не судебное решение — административное. Вам запрещено проживание в Санкт-Петербурге, в Москве, в губернских городах, в... — И пошел перечень, который я и не упомянул...

Песчинка на дороге, по которой катятся колеса тяжелой телеги царского самодержавия, — вот чем я себя почувствовал в ту минуту. Но нечего горевать! Надобно революционеру спокойно, с верой в будущее встречать любые напасти.

В московской части просидел за решеткой недели две или три. Оттуда перевели в пересыльную тюрьму. Там продержали еще около двух месяцев. Потом в арестантском вагоне повезли в Череповец. Везли медленно, с частыми и долгими остановками. В череповецкой кутузке продержали тоже изрядное время, начальство не торопилось. Из Череповца повезли в Кириллов — уже не «чугункой», как наши мужики по старинке называли поезд, а товарно-пассажирским парходом, по Шексне (на парходе тоже везли под конвоем, заперли в купе третьего класса). Кирилловский уездный острог казался мне последней тюрьмой, но нет, отсюда — не сразу — меня, на сей раз пешком, доставили в волость, где и заперли в «холодную» при волостном правлении. А после уже и Великий Двор...

Родители встретили меня сердечно. Хотя не очень-то по душе пришлось этим простым деревенским людям «дорога жизни», которую я избрал, но сын есть сын, и они старались выходить меня. Уж больно отощал я на тюремных харчах.

Неловко было отягощать родительский нищенский бюджет, утешало одно: я не собираюсь долго задерживаться в Великом Дворе.

По-разному отнеслись ко мне односельчане. Одни дружелюбно, другие подозрительно. Эти «другие» ходили следом за мною, их интересовало, крещусь ли я, посещаю ли церковь. Как-то несколько мужиков сидели на бревнах. Один из них подозвал меня и угрюмо осведомился:

— Скажи, бог-то есть ай нет?

Недолго думая, ответил словами хитрого Луки из горьковской пьесы «На дне»:

— Кто верит, для того есть, а кто не верит, для того нет...

Выправив паспорт, я распрощался с родителями и сестрой и уехал в Петербург.

## 17

---

**Возвращение в Петербург.— Начало нового революционного подъема.— Партийные поручения.— Вербую рабкоров для большевистской «Звезды».— Об одном «рабочем аристократе».— Нелегальное пристанище.**

Петербург открывал длинный список пунктов империи, запрещенных мне для проживания. Петербург, но не Петербургский уезд. Поэтому еще дома я решил поселиться в Новой Деревне. Хотя конкой до города было с полчаса езды, но административно Новая Деревня входила в Петербургский уезд, где формально жить мне не возбранялось. Так я и поступил.

Но это была лишь малая часть дела. Карман пуст, надо устроиться на работу. И тут повезло: меня вновь приняли в зайцевскую фирму.

Теперь самое сложное — восстановить партийные связи. Со дня провала нашей типографии прошло больше 2 лет. Кто из моих товарищей сохранился в Питере после множества арестов? Где они? Искать по старым домашним адресам? Опасно. Справляться в адресном столе? Глупо. Как быть? Раньше мы частенько собирались в чайных Городского района. Начну-ка от туда.

Чутье не обмануло: в первой же чайной «дождался» Алексея Балагурова. Очень мы обрадовались встрече, проговорили несколько часов. От него (а в последующие дни и от других товарищей) я узнал множество фактов, рисовавших картину нового революционного подъема. Взволновал меня факт издания в Петербурге легальной газеты «Звезда».

— Ее, — рассказывал Алексей, — штрафуют, много статей запрещают, отдельные номера конфисковывают, но раз власти вынуждены были разрешить большевистскую газету, то, сам понимаешь, рабочий класс набирает силу, а царизм силу теряет.

От Балагурова я получил «питочку», которая и привела меня к ряду руководящих работников организации. Легко представить, с какой жадностью я ловил политические новости.

Если память не изменяет, на следующий уже день после встречи с Балагуровым я был на квартире Ивана Острцова. У него застал Акулова и незнакомца, которого называли Фомой (позднее узнал: то был П. А. Залуцкий). Когда я пришел, разговор у них касался большого тогда вопроса — о связях низовых партийных организаций с районными, а районных — с городским комитетом. Урон от провалов, участвовавших после поражения революции, еще не восполнен. Движение набирает силу, а на многих предприятиях ячейки не восстановлены. Можно уверенно предполагать, что там есть большевики, есть и люди, тянущиеся к революционному делу, да вот беда — не связаны они с организацией. Стало быть, первейшая задача — наладить прерванные и поставить новые связи, вовлечь в партию новых членов, окружить ее новым активом. Мы обязаны всемерно укреплять подпольные организации и расширять легальную деятельность, сочетать то и другое. Нам в этом помогает «Звезда», поможет ежедневная рабочая газета, которая скоро будет выходить в Петербурге. Всем нам необходимо предельно активизировать организаторскую, пропагандистскую, агитационную работу. (Я передаю содержание разговора, свидетелем которого был в комнате Острцова и к которому внимательно прислушивался.)

Тут же получил первые партийные задания. Акулов повернулся в мою сторону и предложил:

— Отберем несколько предприятий, а ты наладишь там связи.

Фома что-то стал записывать на листке бумаги и передал его мне — список заводов и фабрик, где надо побывать, найти нужных людей.

— Штука нелегкая, — предупредил он. — Нельзя ведь заявиться на завод и гаркнуть: «Эй, кому охота заняться политикой?»

Мы рассмеялись.

— Придется, — сказал я, — сперва погулять вокруг да около, потолковать, набрести на тех, с кем можно продолжить знакомство.

— Но и усложнять и без того сложное тоже не падо, — продолжал Фома. — Ваше дело — выявить нужных людей, а мы уж сами свяжем их с ближайшими ячейками.

— Хорошо бы,— добавил Акулов,— склонить заводских сотрудничать в «Звезде». Можно вместе с ними составлять статейки, но лучше пусть сами пишут. Ничего, если и коряво, но сами.

Рассуждая о рабочих корреспондентах, Акулов несколько раз упомянул фамилию Батурина («Надо бы посоветоваться с Батуриным...», «Встретиться бы с Батуриным...»). Потом и я познакомился с Николаем Николаевичем Батуриным, редактором «Звезды», после этого — одним из редакторов «Правды», историком партии. Замечательный был товарищ, жаль, рано умер — в 1927 году.

Расходясь, условились, что сведения, которые я раздобуду, стану без промедления сообщать Острецову или Акулову.

На Среднем проспекте принялся рассматривать данный мне список. Никакой опасности он не представлял, в случае ареста отмахнусь: мол, адреса, работу ищу... Список был длинный. Сколько ж времени понадобится, чтобы хоть однажды побывать у всех фабричных и заводских ворот! Но ведь разом не обойдешь. А я работаю ежедневно по 12, если не по 15 часов. Воскресенья? По воскресеньям большинство предприятий закрыто. Выход один: отобрать первоочередные объекты, наметить такие маршруты, чтобы в рабочие часы, выполняя поручения фирмы, выполнять и партийное задание.

Решил, не откладывая дела, тут же направиться к фабрике на 18-й линии Васильевского острова. Поблизости от фабрики — мелочная лавка, в которую наверняка ходят рабочие перекусить или купить табачку.

Зашел в лавочку, спросил для виду какую-то мелочь... Гляжу — трое рабочих: один пожилой, другой среднего возраста, третий совсем паренек. Жуют колбасные обрезки, запивают пивом и на все лады отчитывают мастеров. Одного называют «аспидом», другого — «шкурой», третьего — еще как-то, а всех вместе — «шайкой разбойников»: подсовывают, мол, дерьмовый картон, снижают расценки, извели штрафами, вымогают взятки, кто деньгами, кто водкой... Дождавшись паузы, я встаю реплику:

— Что ж, так и будете терпеть до второго пришествия?! Надо вам про этих пиявок в газету написать.

Самый старший буркнул:

— Держи кармац шире. Какая газетка напечатает?

Второй с горьким смешком:

— Все они, заразы, одним миром с хозяевами ма-  
заны.

— Э, не говорите,— возражаю я, замечая, что у мо-  
лодого парня глаза загорелись.— Есть такая газета,  
что за рабочих. «Звезда» называется. Эта напечатает.  
Мастера ваши попляшут, как рыбка на сковороде.

— «По-пля-шут», а нас — за ворота!

— Почему «за ворота»? Никто и не узнает, кто на-  
писал заметку. Подпишете «Рабочий», фамилии ставить  
не надо, только бы были действительные вопиющие  
случаи, чтобы и крыть нечем.

Старший повернулся к юноше:

— Может, ты напишешь, Тима?

Тима смутился, покачал головой.

Я — к нему:

— Это не так сложно, как кажется, только факты  
и имена притеснителей.

Тима опять покачал головой, да вдруг и решил:

— Попробую...

Условились мы с ним встретиться в ближайшее  
воскресенье. Все трое уважительно пожали мне руку,  
видя во мне чуть ли не представителя редакции, а я,  
окрыленный успехом, пустился на шпульную фабри-  
ку — совсем близко, на 14-й линии.

Приближалось окончание рабочего дня, я и «прича-  
лил» у соседнего дома. И вот уж потекли фабричные,  
сначала поодиночке, быстро удаляясь, затем погуще,  
группами, эти шли медленно, переговариваясь. В одной  
компании вели речь о посещении трактира (залить  
«тоску-печаль»), заспорили: какая граммофонная му-  
зыка лучше для «настроения»? Длинный рыжий па-  
рень, по виду весельчак, настаивал на «Марусе».

— Нет,— хмуро возразил черноволосый,— лучше  
«На сопках Маньчжурии». Так и видишь: под луною  
мертвые солдаты, а кругом тихо-тихо...

— Мертвых захотел? — усмехнулся рыжий.— Тогда  
уж проси «Твой сын в Александровском парке был  
пулею с дерева снят».

— Таковую не поставят: сына-то казаки порешили.  
Казаки!.. А «Маруся» что, «Маруся» безобидная, отра-  
вилась девка — и вся недолга.

Рыжий сдвинул брови:

— Безобидная?! А ты смежи, почему отравилась?

— Наверное,— говорю наивнее наивного,— мучи-  
лась-мучилась, осточертела жизнь, вот и отравилась.

— «Мучилась... мучилась...» — передразнил рыжий. — Почему мучилась? Кто ее мучил? Над этим, голова, кумекай!

Тут пожилой сутулый рабочий (до сих пор он буд-то и не слушал никого) сказал рыжему:

— Ишь, и ты стал задумываться? Раньше-то я полагал, у тебя сквозняк в мозгах, а видать, и у тебя мыслишки шевелятся...

Сутулый дернул кепку за козырек и попрощался. Я тоже поклонился всей честной компании и пошел рядом с ним. Мы помолчали, потом я заметил:

— Этот рыжий — забавный парень.

— Молодо-зелено, больше хи-хи да ха-ха, мало серьезного.

— Ну, если бы им заняться...

Мой спутник приостановился, пристально взглянул на меня:

— А ты что, знаком с этим делом?

— Сам-то нет, — уклончиво ответил я. — Но есть человек... Сдается, мастак по этой части... Могу познакомиться...

Рабочий ничего не ответил. Я тоже шел молча. На углу он остановился:

— Мне сюда. — Опять помолчал и как выдавил: — Пожалуй, можно бы и встретиться. Меня зовут Петром Прохоровым. После восьми всегда дома. Но в десять ложусь, рано вставать надо. Адрес запомните? Вот тут, — показал на дом, — квартира шесть.

Удивительное свойство памяти: до сих пор отчетливо помню и имя случайного знакомого, и адрес.

Думал я, думал о Прохорове: не провокатор ли? Нет, не похоже. Впечатление складывалось положительное. Свое мнение о знакомстве сообщил «по цепочке». Мне предложили передать адрес Прохорова Семену Лобову. С ним, рабочим-металлистом, примыкавшим к большевикам и вскоре ставшим членом партии, мы встречались<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Семен Семенович Лобов, почти мой ровесник (родился в 1888 году), тоже происходил из крестьян, с малолетства рабочий. В революционном движении участвовал с 1910 года, в партии был с 1913-го.

Почти с первых дней Советской власти Лобов на хозяйственной работе. В 1926 году его перевели из Ленинграда в Москву на пост заместителя председателя ВСНХ СССР и председателя ВСНХ РСФСР. Наши жизненные пути вновь скрестились в 1927 году, когда я, по окончании учебы и кратковременной работы в Сибрайкоме ВКП(б), был назначен в ВСНХ

Данное мне поручение (конечно, не мне одному) было трудоемким. Мало вовремя попасть на завод, фабрику, надо еще покружиться вокруг, приметить в толпе рабочих подходящих людей, познакомиться, разговариваться... Нередко разговоришься, смотришь — осечка: не тот человек. Бывало, и продолжишь знакомство — опять промах; выходит, зря время потерял. Но такие потери почти неизбежны. Вот, например, два характерных в этом смысле случая.

Поблизости от Измайловских казарм находилась зеркальная фабрика, она значилась в моем списке. «Фабрика» — сказано громко, точнее — большая мастерская. Сначала я заглянул на склад. Работницы, молча упаковывая зеркала, не обратили на меня никакого внимания, и я ретировался. Но тотчас увидел двух рабочих. Прикурил я у них и стал слушать их сетования на каторжную жизнь.

— Неужели, — спрашиваю, — не состоите в союзе?

Вместо ответа один сует мне пятерню, изъязвленную, в свежих кровоточащих ссадинах, — рука, очевидно, была «съедена» кислотами — и зло щурится:

— Что ж, твой союз здоровые пальцы мне сделает?

Я ему про силу объединения рабочих, про «Звезду» — хорошо бы написать в нее о порядках, при которых хозяева наживаются, а рабочие становятся инвалидами. Он меня опять оборвал:

— Ступай-ка лучше к другим. У нас тут народ ушибленный.

В другой раз пришлось долго повозиться в поисках, как мне сперва казалось, ценного и нужного человека, а получился пшик. Дело было так.

Вечером поспешил на завод Дюффона (изготавливал электромоторы и принадлежности для вентиляционных устройств). К окончанию работы опоздал, рабочие разошлись, замешкались лишь пятеро, споривших, куда пойти: одни энергично тянули в чайную, другие вяло отнекивались. Верх взяли первые. Я пошел за ними.

В чайной ребята заказали «чайку покрепче». Официально владельцам чайных запрещалось торговать водкой, но полицейские чины были ими куплены раз и навсегда. Хлебнув «крепенького чайку», рабочие разго-

---

РСФСР — заведующим горным отделом и директором горной промышленности (существовала такая должность). Лобов был моим начальником. Мы восхищались его истинным демократизмом, простотой, тактичностью. А ведь при всем этом он был очень требовательным руководителем.



ворились. Тема та же, что и в других компаниях: живо-  
пишет мастер изводит... терпелу нет, как обирает... а не  
дашь в лапу, такую работу предложит, что и вовсе не  
заработает.

Я свое: надо-де в союз вступить, всем миром встать  
за свои права, надо в газету написать, есть такая га-  
зета, «Звезда» называется. Она так прошвабрит вашего  
мастера, что родная мама не признает. Агитировал-аги-  
тировал, но все мои слова отскакивали, как горох от  
стенки. Тогда я, как говорится, сделал ход конем.

— А что, этот негодяй со всеми так, как с вами, об-  
ращается?

— Ну нет, Антона он и пальцем не тронет, того по-  
баивается, Антон — особая статья.

— Почему так?

Из долгих и путаных — ребята уже были «на взво-  
де» — объяснений я понял, что, во-первых, у Антона  
«золотые руки», такие, что пощи — сапоги разобьешь,  
а во-вторых (тут голоса стали тихие), он «политик»,  
даже сидел... Как я ни пытался узнать фамилию Ан-  
тона, никто не смог вспомнить, добился лишь одного:  
когда покидали чайную, один из подвыпивших ребят по-  
казал мне на флигель в соседнем дворе: кажись, там  
Антон проживает.

Не стану вдаваться в подробности, как я искал  
Антон, сколько времени на это потратил, к каким толь-  
ко ухищрениям ни прибегал. В какой-то вечер даже  
совсем захмелевшего человека поволок в заветный фли-  
гель, никак он не мог самостоятельно добраться до  
дому. Антон проживал в соседней квартире, а от со-  
седа, моего подопечного, пока он не свалился и не за-  
снул, я успел все узнать. Да, Антон токарь хоть куда,  
в пятом году революционером был, теперь плюнул на  
политику, деньгу зашибает, книгами обзавелся, учите-  
лей панял, не пьет, не курит, никаких у него нет дру-  
зей, собирается учиться «на техника», хочет, говорит,  
«в люди выйти».

Я понял, что с Антоном каши не сварить. Я таких  
«рабочих аристократов» встречал. Они увязали в ме-  
щанском благополучии, а если кто из них и продолжал  
«баловаться политикой», то на стороне меньшевиков-  
ликвидаторов, на стороне легалистов, чуравшихся под-  
полья, как черт ладана.

Что ж, не повезло здесь, повезет в другом месте.  
Вскоре мне удалось завязать знакомства на проволочно-  
гвоздильном заводе. Двое рабочих согласились написать

замётку. Они написали, и я пригласил их в «Звезду», где свел с Батуриным, а кроме того, связал с Острецовым, который в свою очередь познакомил этих товарищей с большевиками Балтийского завода. Так на проволочно-гвоздильном удалось восстановить большевистскую ячейку.

Говорю об этом, чтобы нынешний читатель представил себе те мелочи, те будни, ту «серенькую повседневность», из какой складывалась работа рядового партийного функционера. Работа эта была невидная, не всегда и успешная, но плоды приносила.

Так же, по-муравьиному терпеливо, вербовали мы рабкоров для «Звезды», а потом для «Правды». С почти авторской радостью я читал и перечитывал скромные заметки, организованные мною среди рабочих различных предприятий. Одних рабкоров я приводил в «Звезду», другим давал ее адрес, потому что самому часто наведываться в редакцию, вокруг которой, как мы знали, вилась шпика, было бы неосмотрительно.

Партийная работа доставляла мне большое душевное удовлетворение. Однако служба, а после беготня по заводам, индивидуальная «обработка» новых знакомых, организационные и агитационные задания, встречи с партийными товарищами (Острецовым, Акуловым и другими) — все это отнимало уйму времени. В свою конуру я вваливался далеко за полночь. Вставать же надо было не позднее шести утра. Придя домой, непременно читал, занимался.

Перенапряжение обернулось бессонницей, резким упадком сил. Товарищи беспокоились и устроили мне почевку в самом Питере (без прописки в полиции), на Спасской улице. Правда, расходы увеличились — от жительства в Новой Деревне нельзя было отказаться, — но зато какой выигрыш во времени, а значит, и сил!

## 18

---

**Расстрел рабочих на Ленских приисках.— Боевые призывы «Звезды».— Распространяю газету у заводских ворот.— Разговор с Ольминским.— Масовые стачки, политические демонстрации.**

О всеобщей забастовке и арестах на Ленских золотых приисках доходили только смутные сведения, а когда в Петербурге и в других городах стало известно, что

4 апреля 1912 года на Лене войска расстреляли безоружных рабочих, что там масса убитых и раненых, это вызвало прямо-таки взрыв пролетарского негодования. Когда же министр внутренних дел Макаров цинично заявил: «Так было и так будет впредь», то ненависть к самодержавию, министры которого похваляются расстрелами, вылилась в революционные выступления.

«Звезда» вышла в траурной рамке. В начале номера крупным шрифтом сообщалось: «На Ленских приисках убито 270, ранено 250». Затем шли статьи. В одной пролетариат призывался завоевать условия, исключаяющие возможность кровавых побоищ. В другой говорилось: кто против кошмара кровавых дней, тот пусть ратует за полную демократизацию управления страной. Яснее в подцензурной печати не скажешь! Демьян Бедный писал:

О, братья! Проклят, проклят будет,  
Кто этот страшный день забудет,  
Кто эту кровь врагу простит!

Редакция сознавала, что этот номер «Звезды» будет наверняка конфискован. А крайне важно было, чтобы он попал к рабочим. Поэтому накануне известили членов партии, чтобы каждый при малейшей возможности прибыл ночью в экспедицию. Здесь большевики из районов, с фабрик и заводов получали пачки газет прямо из-под ротационной машины. Увесистую пачку унес и я к себе на Спасскую. Прочитал номер — было уже, конечно, не до сна — и, едва рассвело, помчался к патронному заводу.

Почему именно туда? Очень просто: я на всю жизнь запомнил, как в 1906 году у проходной патронного завода я разбрасывал прокламации, а теперь (думал я в эту ночь с 7 на 8 апреля 1912 года), теперь опять разгорается, должна разгореться революция.

Размахивая газетой, я выкрикивал:

— Новый расстрел рабочих царем! Двести семьдесят убитых, двести пятьдесят раненых!! Газета «Звезда»! Покупайте «Звезду»! Пять копеек!

Рабочие обступили меня, пачка быстро «худела». Тут появился городской, цапнул меня за плечо, заорал:

— Ты что, мерзавец, кричишь про царя-батюшку? Да я тебя, сукин сын...

Из толпы вынырнул плечистый крепыш, схватил фараона за глотку, пригнул к земле и дал такого пинка в зад, что тот покатился кубарем. Пока полицейский

поднялся, пока отряхнулся, пока отдышался, крепко скрылся, я — тоже.

Но у меня еще остались номера газеты, поэтому я, перепрыгнув забор, обежал квартал и снова очутился у проходной. Рабочие еще шли на первую смену.

— Газета «Звезда»! Злодеяние властей и богачей! Расстрел рабочих на Лене! Двести семьдесят убитых! Двести пятьдесят раненых! Покупайте газету «Звезда»!

Городовой больше не показывался. Все экземпляры до одного я распродал быстро.

Довольный успехом, хотел поделиться им с кем-нибудь из товарищей. Пошел к Острцову — не застал, пошел к Акулову — то же самое. Да и кто из наших мог в эти часы быть дома, как это я не сообразил раньше? Перейдя Тучков мост, встретил Вячеслава Зофа. Рассказываю ему, что ночью взял в экспедиции много «Звезд» и все экземпляры до одного распродал возле патронного завода. Рассказываю и, довольный, улыбаюсь. Зоф мне в ответ:

— Я тоже ночью был в типографии, но тебя не видел, в такой суматохе и себя потеряешь.

— А ты все газеты продал? — спрашиваю.

— И не думал продавать.

— То есть как это не думал продавать? — недоумеваю я. — Что же ты с ними сделал, засолил, что ли?

— Я их отдал Алову, с Путиловского, чтобы он распространял через рабочих, которые сумеют другим растолковать...

Услышал ответ Зофа и смик. Чему это я так возрадовался?! Чего это я орал во всю глотку возле проходной?! Выходит, много газет попало к случайным людям, глянут — и выбросят, и мало кто другим расскажет о прочитанном... Зоф ушел, а я долго глядел в мутные воды Малой Невки, огорченный своей промашкой. Потом решил: пойду-ка в редакцию, расскажу о случившемся, пусть предостерегут других, чтобы лучше меня распространяли «Звезду».

В редакции царил обычная лихорадка: дел много, сотрудников — раз-два и обчелся. Тут, конечно, не до меня. Гляжу, с гранкой в руках выходит Михаил Степанович Ольминский. Набравшись смелости, я к нему:

— Мне нужно срочно поговорить с вами.

— Что, резолюцию принесли?

— Нет, насчет распространения...

— Вам, товарищ, следует обратиться в экспедицию.

— Мне только с вами надо...— И, спеша, волнуясь, рассказал, как распродал газету, как потом встретил Зофа и узнал, что он по-другому распространил «Звезду», Зоф правильно поступил, а я опрометчиво, ведь следует, чтобы газета попадала в надежные руки, пусть мой промах научит других...

Ольминский попросил меня успокоиться, не волноваться.

— Ошибки вы не сделали,— сказал он.— Не надо распространять «Звезду» только среди сознательных рабочих. Она должна будить мысль и далеких от политики. Хорош и примененный вами способ, и способ товарища, про которого вы говорите<sup>1</sup>. Ольминский помедлил с секунду, улыбнулся: — А вот выкрикивать лозунги, как вы выкрикивали, следовало бы осторожнее. Зачем лезть черту в пасть? — Пожал мне руку и, размахивая гранкой, удалился.

Ольминский пользовался большим авторитетом. Я слышал, что он близкий соратник Владимира Ильича. Было ему тогда под пятьдесят. Я подумал: «Хороший старик, снял камень с души».

Впрочем, получилось так, что больше распространять «Звезду» мне не пришлось. В тот вечер мне поручили участвовать в организации митингов.

Еще до ленских событий было очевидно нарастание революционного настроения в среде рабочих и учащихся. «Ленский расстрел,— писал Владимир Ильич,— явился поводом к переходу революционного настроения масс в революционный подъем масс»<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> После Октябрьской революции Вячеслав Иванович Зоф несколько лет находился на военной работе, командовал Военно-Морским Флотом. Одно время, когда я работал в Реввоенсовете, мы встречались часто, но встречи были минутными, то одному, то другому некогда. Году в 1921-м, может быть в 1922-м, точно не помню, Зоф заболел. Акулов, увидев меня в столовой, сказал: «Надо бы навестить нашего дорогого начморси (начальник морских сил). Пойдемте?» Зоф выздоравливал, ему было разрешено ходить по палате. Он очень нам обрадовался. Стали, перебивая друг друга, вспоминать прошлое, вспоминали разные передрыги, какие случалось переживать, приводили забавные случаи, при этом громко смеялись. Хохог привлек внимание врача, приоткрылась дверь, он засунул голову, а увидев смеющуюся троицу, улыбнулся: «Смех — это хорошо, лучший помощник докторов». Зоф вспомнил нашу с ним встречу у Тучкова моста в апреле двенадцатого года. Вот тут-то я рассказал про мой «покаянный визит» к Ольминскому.

<sup>2</sup> Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 21, с. 340.

То на одном, то на другом заводе вспыхивали стачки, носившие не столько экономический, сколько политический характер. В Петербурге за одну неделю с лишним (14—22 апреля) бастовало 140 тысяч рабочих<sup>1</sup>. Нередко забастовки возникали после митингов протеста. Встали задачи: заранее готовить митинги, ораторов, резолюции. Это значило: встретиться с кем-либо из заводских большевиков, договориться, к какому часу привести оратора, условиться, где лучше собирать народ — в заводском дворе или на улице, у проходной, узнать, есть ли на предприятии рабочий, обладающий ораторским даром, чтобы потом он выступил на другом митинге... К таким хлопотам я и был «подключен».

Вот Острецов или Акулов (больше всего я тогда был связан с ними) называют мне несколько адресов, фамилий ораторов, авторов резолюций. Надо встретиться с несколькими людьми, находящимися в разных местах (а если кого нет, то прийти еще и еще раз), узнать специфику предприятия, чтобы и ее отразить в резолюции, быстро подобрать другого оратора, если тот, на которого рассчитывал, в нужный момент занят в другом районе. И так далее.

Вертелся в эти дни как волчок. Зато и дело делалось ощутимое. Замечу тут же, что, когда не удавалось найти оратора или он почему-либо опаздывал, речь приходилось произносить самому. Организаторы митингов иногда даже хвалили меня, говорили, что речь рабочим понравилась. Некоторые митинги возникали, что называется, «с ходу», почти стихийно; в этих случаях роль оратора, бывало, выпадала и мне<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> См.: История Коммунистической партии Советского Союза, т. 2, с. 381.

<sup>2</sup> Д. И. Гразкин как бы мимоходом говорит о своих устных выступлениях. Между тем он был одаренным оратором. Это подтверждается некоторыми документами, сохранившимися в его личном архиве. И в преклонных годах Д. И. Гразкин, считая это партийным долгом, охотно откликался на приглашение выступить перед массовой аудиторией.

В 1958 году общество «Знание» командировало Дмитрия Ивановича в Ригу для чтения лекций на темы: «Воспоминания о В. И. Ленине», «Международное значение ленинизма».

В марте 1960 года Д. И. Гразкин участвовал в Ленинских чтениях, состоявшихся в Доме культуры Московского авиационного института. Авторы репортажа об этих чтениях писали в многотиражной газете МАИ: «В зале тишина. Все смотрят на сереброголового человека в скромном френче, украшенном лишь орденом Ленина. И он пристально и задумчиво смотрит в зал... Кажется, ему трудно подняться, заговорить — все-таки возраст... И вдруг он легко поднимается, занимает место

Партийная работа захлестывала нас. Число охваченных ею увеличивалось. Выдвигались новые партийные функционеры из вчерашних активистов. Наши руководители начали готовить массовые демонстрации, всеобщую стачку.

К середине апреля прошли районные совещания узкого круга партийных работников. Были они краткими, сугубо деловыми. Акулов пригласил меня на совещание Выборгского района. Оно состоялось в доме на Полюстровском проспекте, было на нем всего семь человек. Вопрос стоял один: придать стачечному движению не только экономический, но и политический характер, ковать железо, пока горячо, внести в борьбу рабочих побольше организованности, использовать все средства и действовать, действовать, действовать.

Вечером 13-го мне вручили небольшую пачку прокламаций, напечатанных на шапирографе с одной стороны листа. Выпустил прокламацию какой-то студенческий комитет; политически она была весьма неопределенной, оценивая ленские события, больше всего напирала на человеколюбие. Но все-таки авторы призывали к демонстрации, назначали время, место сбора: 15 апреля, час дня, Невский проспект, у Казанского собора. Не следовало пренебрегать и такой листовкой.

К тому времени у меня уже имелись связи почти с десятью предприятиями, и я туда понес прокламацию. Так как ее было мало, экземпляров двадцать пять, то раздавал экономно: по одной, по две, с просьбой призвать к демонстрации возможно большее число рабочих. (Помню, два экземпляра передал Лобову, хотя завод, где он работал, не значился в моем списке.) Каждому советовал: кто придет на демонстрацию, пусть порознь гуляют по Невскому, поглядывая в сторону собора, и, как только со сквера раздастся призыв: «Товарищи, сюда!», надо скорее запрудить скверик, сомкнуться тесно, опередить полицию.

15 апреля было воскресенье. Обычно в праздничные и воскресные дни Невский проспект заполнялся почти исключительно «чистой публикой». Нынче же ее как ветром сдуло. Вместо котелков и цилиндров мелькали на трибуне и, порывисто вскинув руку, пачинает пламенную речь. Как будто подменили человека! Как будто годы его мгновенно отступили на несколько десятков лет назад... Слушают его сейчас, понимая с полуслова, сочувствуя, когда речь идет о трудных преодолениях тех лет революционной борьбы, что знакомы нам лишь по страницам книг да с голоса лектора...» — *Прим. ред.*

студенческие фуражки, рабочие картузы, кепки, мяты широкополые шляпы. Но и полиция не оставила без внимания главную улицу Петербурга: городских было полным-полно. Я прогуливался вблизи собора, проталкиваясь сквозь плотную толпу студентов, курсисток, рабочих, делавших вид, что они здесь ни с кем не знакомы, пришли «просто так».

Во втором часу дня молодой человек в середине скверика широко раскинул руки и зычно крикнул: «Сюда, товарищи! Сюда!!» Мгновенно сотни людей оказались рядом с ним, взялись за руки, построили колонну, закричали: «Вы жертвою пали в борьбе роковой...»

Некоторые буржуазные газеты потом сетовали на нас, манифестантов, которые «грубо топтали» газоны и якобы повредили фонтан. Но репортеры «не заметили», как из-за собора появились пешие и конные городские и с тупой беспощадностью врезались в толпу. И все же полиции не сразу удалось оттеснить манифестантов на боковые улицы. Они, правда, меньшим числом продолжали идти по Невскому. Кто-то развернул красное знамя, к знамени ринулись полицейские, он был смят.

Некоторое время спустя, сделав немалый круг, я очутился между Публичной библиотекой и Аничкиным дворцом. Картина та же: пешие и конные городские разгоняют манифестантов. Но все же толпа огромная, слышатся проклятия палачам ленских рабочих, призывы уничтожить царизм. Пробившись к Публичной библиотеке, я увидел вскочившего на фонарный столб студента. До меня доносились только обрывки речи.

Городские, расталкивая людей, приближались к оратору. Толпа пыталась прикрыть его, но тщетно. Появились конные полицейские, офицер шашкой плашмя ударил студента по голове. Тот свалился, я видел, как его поволокли по мостовой солдаты Семеновского полка.

Городские образовали цепочки, скакали конные полицейские и казаки патрули. Но толпа, рассеиваемая здесь, собиралась в другом месте.

В ночь на 16-е шли обыски и аресты. Напрасно, однако, власти полагали, что сокрушили, запугали «бунтовщиков». Понедельник ознаменовался новыми забастовками.

От Акулова я получил задание выяснить, готовы ли рабочие к забастовкам, к демонстрациям. Надо было освободиться от работы. Поэтому утром в понедельник, обмотав горло шарфом и надвинув фуражку на лоб, я сиплым голосом пожаловался приказчику на простуду и



просил освободить денька на два, чтоб «отлежаться дома». Он подозрительно оглядел меня, нехотя кивнул.

В этот день я побывал за Невской и Московской заставами, на Васильевском острове, на Выборгской стороне. Упомяну лишь о двух встречах. Фрол Петров, зная окрестности фарфорового завода, заверил, что настроение боевое, но мало партийных сил, чтобы сделать забастовку одновременной и дружной. Он повел меня к Степану (фамилии не назвал) с Семянниковского завода. Мнение Степана было такое: рабочие многих предприятий могут забастовать хоть завтра, но вот на крупных заводах вряд ли начнут раньше чем через два дня. Поздно вечером передал Акулову собранную информацию.

Во вторник я наблюдал демонстрации рабочих на набережной Карповки, на Большом проспекте, на Московской заставе. Кое-где выступил с краткими речами-призывами. Не раз в мою сторону устремлялся полицейский патруль, но рабочие окружали меня, я оказывался в толпе. В этот день полиция действовала более свирепо и жестоко, чем накануне. На рабочих окраинах стесняться ей было печего, тем более что министр публично угрожал новыми расстрелами: «Так было и так будет».

Ошибалось царское правительство. «Так было, но так уже не будет», — говорили мы, оценивая ситуацию.

## 19

---

**Минусы и плюсы апрельских выступлений.— Инициатива «низов», возникновение «майских комитетов».— История первомайской прокламации и как ее оценил Ленин.— «Боевики» 1912 года.— Расправа у Апраксина рынка.**

Стачки, уличные шествия продолжались и в следующие дни. В этом был свой минус — не удалось добиться единовременной и мощной всеобщей стачки, но и свой плюс — не удалось властям запугать рабочих, революционный подъем нарастал. В третью неделю стачки охватили 60 процентов фабрично-заводских рабочих столицы, иначе говоря, в среднем из каждых десяти рабочих бастовало шестеро<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> См.: *Круше Э. Э.* Петербургские рабочие в 1912—1914 годах. М.— Л., 1961, с. 248.

В такой атмосфере развернули большевпки подготовку к 1 Мая. Она сильно затруднялась арестами, вследствие которых ПК тогда почти отсутствовал. Но жили, действовали пизовые организации большевпков.

С тов. Трофимом (фамилии не знаю), партийным работником Выборгского района, я познакомился еще до моего ареста. Вновь встретился с ним незадолго до майских дней 1912 года в помещении Сампсониевского общества «Образование». Мы пемного потолковали, кто да как живет-поживает. Прощаясь, Трофим сказал:

— Слушай, запомни на всякий случай, у меня сохранились связи в одной большой типографии. Ребята там хорошие, дружные. Ночью, когда нет вражьего глаза, могут на «американке»<sup>1</sup> тиснуть тысяч пятнадцать — двадцать листовок.

Я ухватился за это предложение и говорю:

— Давай, ближе к делу, чего откладывать...

Трофим обещал все разузнать не позднее 23 апреля. Об этом разговоре я сразу передал товарищам.

Мы с Трофимом встретились точно 23-го. Он сказал, что трое рабочих типографии Гаевского берутся за ночь напечатать до 20 тысяч экземпляров майской листовки. Поскольку я знал, что вечером 25-го окончательный текст будет готов, то мы условились с Трофимом о месте встречи.

В тот вечер оригинал листовки был уже у меня на руках. Трофим пришел на Средний проспект. Я его поджидал на углу 8-й линии, сказал: «Все в порядке», и мы двинулись к 12-й линии, где помещалась типография.

Я остановился в воротах дома, а Трофим дважды прошел по тротуару под окнами типографии — туда и обратно. Вскоре из типографии вышел рабочий и вместе с Трофимом приблизился ко мне. Я протянул листок, новый знакомый бегло прочитал и произнес:

— Тексту не очень много. Удобно для «американки». К утру 20 тысяч успеем. Приходите ровно в шесть. Видите тот дом? Между типографией и домом невысокая стена, за ней — сарай. Там узкий проход, бочком протиснуться можно. Станьте у сарая. Ровно в шесть Вася перебросит готовый товар. А там уж — ваше дело.

С этими словами он ушел. Больше я его не видел. Сколько таких безымянных участников революционного

---

<sup>1</sup> «Американка» — печатный типографский станок.

дела прошло перед моими глазами! Скромно, четко, добросовестно, без преувеличения можно сказать, героически помогли они освободительной пролетарской борьбе.

Большевик-врач Чеховский был предупрежден, что утром 26 апреля к нему на квартиру привезут несколько пачек первомайской листовки. Он жил на Петербургской стороне, к нему, практикующему врачу, ходили больные, поэтому квартира не вызывала подозрений полиции.

Ровно в шесть утра Трофим уже находился в узком лазу подле сарая, а я, в сторонке, вел наблюдение за двором. Вскоре руки невидимого Васи перекинули через стенку одну за другой четыре увесистые пачки, аккуратно перевязанные толстым шпагатом. Снова оглядев двор, я подбежал к Трофиму. Мы разделили груз поровну, вышли на улицу, расстались и с разных направлений приехали в назначенное место. Осмотрелись (кругом спокойно), и, соблюдая порядочный интервал,— в парадную. Дверь открыл Чеховский. Он помог донести «товар» в свой кабинет, там из четырех пачек сделали восемь. Пакуя и перевязывая прокламации, добрым словом поминали типографов: они напечатали значительно больше обещанного.

В тот же день к Чеховскому, каждый в назначенное ему время, явились представители районов, и каждому он вручал по пачке. Пачка дробилась, прокламации в большом числе передавались представителям крупных предприятий, а от них — товарищам с более мелких фабрик, заводов.

Я так подробно останавливаюсь на обстоятельствах издания этой прокламации потому, что именно она получила высокую оценку В. И. Ленина. Он обратил на нее внимание большевиков в своей статье «Лозунги Всероссийской конференции РСДРП в январе 1912 г. и майское движение» (статья появилась в июне в центральном органе РСДРП «Социал-демократе», в этом же номере была воспроизведена и прокламация).

Ленин оценил эту прокламацию как «важнейший документ в истории рабочего движения в России и в истории нашей партии». Он анализировал не только содержание прокламации, а и самый факт ее появления, несмотря на арест П.К. Прокламация, писал Владимир Ильич, подтверждает правильность решений Пражской конференции, в которых была подчеркнута сила большевистской партии и ее подпольных организаций. Петербургский комитет арестован, а нелегальные больше-

листские ячейки «продолжают работу временно разрушенного» ПК, «продолжают готовить маевку», они «наскоро восстанавливают связи между различными подпольными социал-демократическими группами», они действуют, выдвигают лозунги борьбы. «И вот тут-то обрисовывается как раз настоящий характер движения, настоящее настроение пролетариата, настоящая сила РСДРП и ее январской Всероссийской конференции». И еще: «Отдельные «ячейки», разрозненные «группы» рабочих сделали свое дело вопреки самым тяжелым и трудным условиям. Пролетариат создал свои «майские комитеты» и встал на борьбу с революционной платформой, достойной класса, которому суждено освободить человечество от наемного рабства»<sup>1</sup>.

В статье Ленин с одобрением привел несколько слов из прокламации петербургских рабочих. Вот эти слова: «Пусть нашими лозунгами будут учредительное собрание, 8-часовой рабочий день, конфискация помещичьих земель». И далее — клич: «Долой царское правительство! Долой самодержавную конституцию 3-го июня! Да здравствует демократическая республика! Да здравствует социализм!»

К этому прибавлю, что прокламация призывала пролетариев: придя утром 1 Мая в мастерские, не становиться на работу, а собираться на митинги, принимать резолюции. Затем шло чисто делового характера напоминание: общий митинг-демонстрация состоится между двумя и тремя часами дня на Невском, между Апичковым мостом и Казанским собором, и два призыва: «1) Отгесненные, уступив силе, старайтесь вновь и вновь пропикнуть на Невский и по возможности не покидайте его». «2) Вновь собирайтесь в тесные, сплоченные группы и выкидывайте свое красное знамя. Оружия при себе не имейте». Последняя фраза была серьезно обдуманна: нельзя было ставить демонстрантов под удар, военные выступления были бы преждевременными и лишь на руку врагу.

30 апреля я присутствовал на совещании группы партийных работников. Собрались мы — человек десять — на Мурынском проспекте у тов. Юнникова. Речь шла о готовности районов к маевке.

В конце распределили завтрашние обязанности. Тов. Степан (фамилии не знаю) ткнул пальцем в грудь Трофима и сказал мне:

<sup>1</sup> Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 21, с. 347, 348, 350.

— У пас, за Невской заставой, сил-то поменьше, чем у них на Выборгской. Приходи к нам.

Из дальнейшего выяснилось: мне предстоит помочь на Невском судостроительном заводе группе молодежи, прежде всего помочь одному «за-ме-ча-а-тельному парню», Макаром звать. Степап повторил:

— Замечательный, говорю тебе, он парень, только больно горяч, ты уж погляди, чтобы не зарвался.

С Макаром меня свели в тот же вечер. Ему не было, кажется, и двадцати. Широкоплечий, веселый, он производил очень приятное впечатление, усиливавшееся еще благодаря революционному, «бунтарскому» духу, которым он был полон. Я и сам-то был горяч, вспыльчив, но приучался сдерживать свои чувства. Макар согласно кивнул головой, когда я сказал:

— Давай только не горячиться, действовать здраво, тогда поведем за собою больше народа.

Тут же выработали план. Если стачка не пачата с самого раннего утра, то «блокируем» в проходной сторожка, открываем заводские ворота, оставляем у ворот патруль из своих ребят, устремляемся в цехи и провозглашаем: «Товарищи! Бросайте работу! Выходите на митинг!» Одновременно несколько заранее готовых к этому наших людей проникают в котельную и дают гудок — призыв к забастовке. Если не удастся начать стачку в цехах, то котельная прекращает подачу пара к двигателям и станки замрут. Как бы там ни было, главная задача: вывести рабочих из цехов на заводской двор, на митинг. Краткую речь произношу я, зовем рабочих на улицу, на демонстрацию.

Допускали и отступления от плана. Например, не удастся проникнуть на завод через проходную, тогда ищем другую возможность. Или: мастера и инженеры препятствуют прекращению работы в цехах. В таком случае предполагали загнать их в первую попавшуюся конторку и держать, пока не начнется стачка, но при этом избегать излишних резкостей.

К счастью, ничего этого не понадобилось. За несколько минут до восьми заводские ворота широко распахнулись, на улицу валом повалил рабочий люд. Судостроители тут же стали строиться в колонну.

Во главе ее, как тогда практиковалось, стоял знаменосец, высоко поднявший древко с красным кумачовым флагом, а рядом со знаменосцем стали два товарища — охрана. За этими тремя вплотную шли члены РСДРП и сочувствовавшие нам рабочие, преимущест-

вешно молодого возраста, а также боевики. Здесь требуется небольшое объяснение. Слово «боевик» в 1912 году не было в ходу, но люди, о которых я здесь упоминаю, были такими же смелыми, мужественными, как и боевики девятьсот пятого года. В случае опасности они прикрыли бы знаменосца и большевистскую «головку», должны были, когда нужно, сыграть роль связных, «снимать» с работы рабочих тех заводов, где почему-либо забастовка еще не начиналась. Середина колонны состояла из более пожилых рабочих. В шествии они вели себя, как и на работе: сосредоточенно, с чувством ответственности выполняя свой пролетарский долг. Хвост колонны обычно складывался из «осторожных», малодисциплинированных людей. Они могли и покинуть демонстрацию, и столь же неожиданно вновь в нее влиться, могли вдруг, очертя голову, броситься в драку с полицией, а могли при столкновении с нею улизнуть.

Судостроители двинулись по Шлиссельбургскому тракту в сторону центра. Макар, рядом с которым я шел, рассказал, что стачка, подготовленная накануне, началась довольно легко. В заводском дворе прошел митинг, теперь держим путь к Невскому проспекту. Вперед послали двух разведчиков, они сообщат, что происходит в районе.

С самого утра небо заволочло тучами, в некоторых местах шел дождь, порой довольно сильный. Но настроение в колонне было отменно хорошим. Красный флаг веселил душу, революционные песни радовали, возбуждали нас. Разведчики принесли приятные новости: за Невской заставой забастовали Русско-американский завод, арматурный, стеариновый заводы, картонная фабрика, фабрика Наумова и другие.

Однако и власти не дремали. Смешанные отряды городских, жандармов, казаков не пропускали в сторону центра не только колонны демонстрантов, но и рабочих-одиночек. В переулке на нас обрушились полицейские, хлестали нагайками, били плашмя шашками по головам. Вздвигив коней, обрушивали их на людей. Безоружные рабочие с мостовых перебирались на тротуары, а уж оттуда — кто куда.

К сожалению, так и не удалось установить прочные связи между всеми районами и самыми крупными предприятиями, хотя на совещаниях немало говорилось о необходимости такой связи. Нелегко пешком пробираться через кордоны вооруженного врага, когда обстановка меняется так быстро. Попробуй сразу найти нужных

тебе людей, передать им указание, узнать новости и быстро возвратиться на прежнее место, которое уже, быть может, «очищено» полицией от стачечников...

Когда нашу колонну рассеяли, Макар, куда-то исчезавший, вновь появился и крикнул «боевикам»:

— Пошли к Обуховскому! Там что-то не ладится.

Человек двести, главным образом молодежи, двинулись за Макаром и мною. После свирепой полицейской операции это что-то да значило! Хотели мы прорваться на сам Обуховский завод. Но куда там! Повсюду — городовые, пешие и конные. Тогда мы стали скандировать:

— То-ва-ри-щи о-бу-хов-цы! О-бу-хов-цы-ы!.. Кончай работу! Кон-чай ра-бо-ту!! Бастуй! Ба-а-стуй!!

Может, наши голоса послужили последним к тому толчком, а может быть, все уже раньше было подготовлено, но вдруг разом распахнулись ворота и масса рабочих гурьбой высыпала на улицу, начала по команде строить длинную колонну. Полиция пыталась закрыть ворота, но была опрокинута. У Шлиссельбургского тракта появились конные городовые, казаки. Картина — та же, что и некоторое время назад при разгоне судостроителей. Обуховцы начали расходиться — сначала с мостовой на тротуары, оттуда — во дворы, в соседние переулки...

Макара я потерял из виду. Петляя, часам к пяти вечера добрался до Невского. Он кишмя кишел полицейскими, но тем не менее одиночки и маленькие группы то в одном, то в другом месте соединялись, затягивали «Марсельезу», «Вихри враждебные...», выкрикивали революционные лозунги.

Лавки и магазины Апраксина рынка полиция не закрыла: и в такой день хозяева не собирались терять выручку. Воспользовавшись этим обстоятельством, манифестанты под видом покупателей набились в рынок. Никогда раньше не видал я здесь столько народа (и, кажется, никогда раньше торговля здесь не шла так худо, как 1 мая). Были среди «покупателей» свои организаторы. В подходящий момент они вывели людей на мостовую. Образовалась внушительная колонна в несколько сот человек.

Стоило им сгрудиться, как к ним с речью обратился молодой человек в студенческой форме. Речь его была пылкая, горячая.

Примчались конные городовые. Студент — как испарился. Офицер (я стоял близко) рассвирепел, поднял

коня на дыбы и опустил на том самом месте, где только что стоял оратор. Копытом раздробило ногу одного рабочего. Точно электрический ток пронзил демонстрантов. Офицера стащили с седла. На выручку к нему кинулся вахмистр. Он избивал народ плетью, огрел ею и меня по голове. Через какой-то миг и вахмистр валялся на мостовой. Тут подоспели еще полицейские. Рабочего с раздробленной ногой демонстранты унесли в аптеку. Я, преодолевая боль, побрел в ближайший переулок.

Могло показаться, что хозяевами положения в тот день были власти. Но в действительности, хотя нам и не удалось добиться сплошного выступления питерского пролетариата, все же он показал правительству, в какую силу вырос.

Мои наблюдения ограничены, конечно, теми пунктами, в которых я сам побывал, но они подтверждаются и цифрами. Департамент полиции сообщил, что 1 мая в Петербурге бастовали 110 тысяч человек. Цифра весьма преуменьшенная: не в интересах департамента было называть истинную цифру. Есть достоверные сведения. Их привела «Правда» (№ 9, 10 и следующие от мая 1912 года): число забастовщиков в столице превысило 200 тысяч<sup>1</sup>. А во всей России? В день 1 Мая в стране было проведено свыше тысячи стачек в 50 губерниях. Это превосходило даже маевку 1905 года!»<sup>2</sup>

## 20

---

Рождение «Правды». — С Ивановской улицы — на фабричные окраины. — Становимся заправскими газетчиками. — Гордое звание: «Правдист». — Второй арест, вторая высылка. — Нелегальное возвращение в Питер. — Кампания выборов в IV Думу.

Когда я в марте 1912 года вернулся в Петербург, на страницах «Звезды» продолжалась кампания сбора средств на ежедневную рабочую газету — будущую «Правду». Посещая предприятия, вербуя рабкоров для «Звезды», я, как и другие рядовые партийцы, пользовался любым поводом, чтобы разъяснить значение еже-

<sup>1</sup> См.: *Круже Э. Э.* Петербургские рабочие в 1912—1914 годах, с. 251.

<sup>2</sup> История Коммунистической партии Советского Союза, т. 2, с. 382.



дневной газеты рабочего класса. Мы говорили: такая газета всем нам крайне необходима, но, чтобы ее выпустить, требуются деньги, а где их взять, как не у самих рабочих? Пусть каждый дает, сколько может, хоть по гривеннику, хоть по пятаку...

И потекли рабочие медяки, и образовался денежный фонд газеты. Были индивидуальные пожертвования, были — это особенно важно — групповые. Важно потому, что групповые, коллективные сборы выражали пролетарскую солидарность. «Поставив ежедневную рабочую газету, — писал Ленин, — петербургские рабочие совершили крупное, — без преувеличения можно сказать, историческое дело». И еще: «...создание «Правды» остается выдающимся доказательством сознательности, энергии и сплоченности русских рабочих»<sup>1</sup>.

Расскажу о той на всю жизнь запомнившейся ночи с субботы на воскресенье, когда должен был выйти первый номер нашей долгожданной «Правды».

Печаталась она на Ивановской улице, и хотя номер ожидался поздно ночью 22 апреля, но уже 21-го в сумерках к типографии потянулись из районов представители фабрик и заводов. Пришли, конечно, и мы, партийцы-массовики. Трудно передать общее петерленне и волнение... И вот ротация стала выдавать первые экземпляры. Тут же мы хватали пачку за пачкой, от которых так хорошо пахло свежей краской, и бегом устремлялись на окраины.

С момента рождения «Правды» встала задача максимального ее распространения. Номер газеты продавался за 2 копейки. Попятно, что только значительный тираж мог обеспечить самокупаемость. Нельзя было забывать и о неминуемых репрессиях цензуры, за которыми следовали прямые убытки. Уже из первых пяти номеров цензура постановила три изъять. В ночь с 27 на 28 апреля, опасаясь приближающейся масовки, полицейские ворвались в редакцию, контору, типографию, произвели обыски, учинили погром, забрали часть редакционных материалов, а заодно деньги, присланные рабочими<sup>2</sup>.

Такие акции причиняли нам душевную боль, но вместе с тем вызывали прилив энергии: паперекор негодиям из цензуры и охраны сделаем все для распространения «Правды», для увеличения числа подписчиков, продолжения денежных сборов среди рабочих.

<sup>1</sup> Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 21, с. 427.

<sup>2</sup> См.: Логинов В. Т. Ленин и «Правда». М., 1962, с. 41.

Одной агитацией мы не ограничивались, а и сами продавали газету в местах скопления рабочих. Некоторые члены партии, вроде моего товарища по судебному процессу Василия Володина (тоже вернулся в Петербург), стали активными распространителями газеты. Для себя я приспособил кусок клеенки, приделал к ней тесемки и через плечо носил «Правду» на рабочую окраину. Старался до утренней смены успеть к проходной предприятия, о котором в данном номере была напечатана корреспонденция или заметка. Допустим, к проходной завода Лесснера приближались рабочие, я был уже здесь и, размахивая газетой, громко выкрикивал:

— Читайте, что творится у Лесснера! Рабочая газета «Правда»! Две копейки! Читайте, как работают у Лесснера! Две копейки!

Такой способ обеспечивал быстрое распространение газеты не только вблизи данного завода, но и около соседних предприятий: интересно ведь знать, что делается у соседей.

Популярность газеты росла день ото дня. «Правду» стали брать и в киоски, расположенные в рабочих районах. Немало экземпляров распродавали мальчишки. В моей памяти сохранились их веселые и озорные физиономии. Мальчуганы старались не ради выручки, а из чувства солидарности со своими отцами и старшими братьями. Некоторые в складчину составляли грошовый «капитал», чтобы в экспедиции получить на наличные газету, иногда только дюжину-две экземпляров — и опрометью к себе на окраину. Бывало, распродадут и вернутся, просят еще.

Чувствительными были так называемые предварительные конфискации, когда номер не выпускался из типографии. Перед выходом таких обреченных номеров в типографию являлись товарищи с предприятий, активисты-распространители. Брали газету и поспешно исчезали. Полиция, разъярившись, изменила тактику: нагрянет в момент печатания газеты, уничтожит набор, стереотипы.

Однажды я получил свою пачку (100 экземпляров) и бросился к выходу. Навстречу товарищ — кажется, Веселов с трубного, — машет рукой: «Ты куда? Полиция!» У него в руках тоже газеты. По дороге останавливаем путиловца Николая Молотова. Втроем подались в типографский двор. Видим, под навесом рулоны бумаги. Мы — туда. Засунули под рулоны свои пачки,

незаметно вернулись в типографию. Газетчиков полицейские выпускают, проверив удостоверения. Спрашивают нас:

— А вы что?

— Мы безработные... Хотели подзаработать...

— Чтоб подзаработать, — раздраженно говорит пристав, — надо не «Правду», а солидную газету продавать! «Новым временем» торгуйте, вот что! — И, «образумив» нас, отпустил.

Побродили по улице, а когда полиция удалилась, направилась во двор, под заветный навес. Наши пачки — целы-целехоньки.

Полиция разнюхала о наших проделках и тщательнее обыскивала типографию. В одну из ночей нарвались на обыск Зоф и я. Вышли мы с ним во двор, у самых дверей видим кули с обрезками бумаги. Сунули в один куль наши пачки, завалили его другими кулями. Когда обыск кончился, мы вернулись — кули разворованы, спрятанная газета изъята. Мы ужасно расстроились.

После этого я решил, что надо во что бы то ни стало, но хотя бы по несколько экземпляров газеты да выносить. Получая пачку, я, сверх того, экземпляра три засовывал под рубаху, пару — в сапоги.

Из-за «Правды» нередко происходили у нас стычки с меньшевиками, со всякого рода «легалистами». Прежде большевистской идее создания ежедневной рабочей газеты они противопоставили свой проект: построим, дескать, «рабочий дворец» для профсоюзов и для других легальных организаций. А когда «Правда» родилась, сделалась популярной, наши противники заголосили о «правдистском поветрии». И твердили по всем углам, что нужна одна социал-демократическая газета, «внефракционная», «самостоятельная». Когда и этот их маневр провалился, меньшевики завели свою газету «Луч», тираж у него бывал в три, а то и в четыре раза меньше тиража «Правды».

Нас — не только членов партии, а и беспартийных, активно распространявших «Правду», писавших в нее, отстаивавших ее позиции, — называли «правдистами». Мы гордились этим. «Правдист» становился синонимом понятий «большевик», «ленинец».

На Ивановскую улицу, в редакцию и в контору, валит рабочий люд. Но улица кишмя кишела и шпиками. Мои частые посещения «Правды» были замечены. В августе я был схвачен при выходе из типографии, отведен

в Чернышев переулочек в полицейский участок, а оттуда — в Московскую часть, где и допрошен.

Допрос выглядел примерно так:

Следователь. Вы лишены права жительства в Петербурге.

Грызкин. А я и не проживаю в Петербурге. Я живу в Петербургском уезде, там прописан. Можете проверить.

Следователь. Новая Деревня хотя и не входит в черту города, но в административном отношении подчинена Санкт-Петербургскому градоначальнику.

Грызкин. Я не знаю и не могу знать, какой пункт кому в полицейском отношении подчинен.

Следователь. Обязаны знать.

Грызкин. В газетах об этом не напечатано.

Следователь. Никто не вправе ссылаться на незнание закона.

Грызкин. Полицейский участок должен был предупредить, что проживание в Новой Деревне мне запрещено. Я добровольно выехал бы. А то хватают на улице, таскают по участкам...

Следователь. Мы исправляем упущение участка. Нам известно, что вы занимаетесь преступной антиправительственной деятельностью. Вы подлежите высылке.

Грызкин. Прошу сказать определенно: где, когда, в чем выразилась «преступная деятельность»?

Следователь. Не прикидывайтесь наивным.

Я стоял на своем. Следователь нудно повторял: подлежите высылке, подлежите высылке...

Несколько дней меня продержали в участке, а затем с партией беспаспортных босяков и нищих затолкали в товарный вагон и вывезли из Петербурга. В Череповце выпустили, объявив при этом, что к прежним запретным пунктам прибавлены еще 78.

Проблуждав около месяца по волжским городкам, я вернулся в Петербург. Теперь уже не под собственным именем, а под именем Федорова.

В самом разгаре была кампания выборов в IV Думу. Я посылно участвовал в ней и раньше, а теперь вновь стал выполнять различные партийные поручения.

Программой действий для нас, большевиков, был документ Центрального Комитета: «Избирательная платформа РСДРП»<sup>1</sup>. Платформа была основана на решениях Пражской конференции, обращена к «товари-

<sup>1</sup> См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 21, с. 176—182.

щам рабочим и всем гражданам России», разъясняла лично революционной социал-демократии.

Впервые с документом я ознакомился на квартире большевика Егора Неклюдова; он жил на Васильевском острове. Второй раз читал его на квартире упоминавшегося мною Богданова. Он, как я уже говорил, получал из-за границы «Социал-демократ». («Избирательная платформа РСДРП» появилась в виде приложения к № 26 газеты.) Напомню: еще до моего ареста Акулов говорил мне, что Богданов вызывает у него подозрения.

Поэтому держался я сдержанно, лишнего не говорил, но и не отказывался от возможности прочитывать у него пужную литературу. Стараясь выглядеть неназойливым и нелюбопытным, провокатор не мешал чтению, но время от времени о чем-либо осведомлялся. Когда я читал «Платформу...», он будто бы мимоходом заинтересовался, как идет подготовка к 1 Мая. Я отделался междометиями. А когда он повторил вопрос, то я сказал, что только недавно в Питере, никого еще не видал, ничего толком не знаю. Я поступал так почти машинально, подчиняясь железной логике конспирации.

Наша партия участвовала в выборах, чтобы с думской трибуны звать массы к борьбе, разъяснить идеи социализма, вскрывать всякий правительственный и либеральный обман, разоблачать монархические предрассудки отсталых слоев народа и классовые корни буржуазных партий, — одним словом, чтобы готовить армию сознательных борцов новой революции.

Поначалу «Платформа...» попала к нам в небольшом количестве экземпляров. Потом была размножена в подпольной типографии и распространялась прежде всего по тем предприятиям, рабочие которых выбирали уполномоченных.

Выборы были не прямыми, а многоступенчатыми. Рабочие избирали уполномоченных, уполномоченные — выборщиков, а уже те — депутата в Думу.

Право голоса предоставлялось только лицам мужского пола, достигшим 25-летнего возраста (значит, исключались все женщины и мужская часть молодежи). В городах участвовать в выборах могли лишь мужчины старше 25 лет, которые снимали квартиру (значит, исключались малоимущие рабочие, снимавшие кто комнату, а кто койку). В уполномоченные от рабочих можно было избрать только человека, проработавшего на данном предприятии не менее полугода. Это была еще одна подлая уловка: хозяева увольняли «политика» во

время избирательной кампании, и он уже не мог стать уполномоченным рабочим. Далее, один уполномоченный полагался от каждого завода (фабрики), если там занято не меньше 50 человек, а затем еще по одному уполномоченному от каждой тысячи рабочих. Скажем, на заводе числится 999 работников, и они могут избрать только одного уполномоченного.

Таких ухищрений было еще немало, только бы не пропустить в Думу революционеров.

Существовали различные курии. В нашем нынешнем лексиконе само слово и понятие «курия» не существуют, они отмерли (вместе с царизмом и капитализмом). Курия, куриальная система — это разбивка избирателей на различные разряды. По рабочей курии в Петербурге мог быть избран только один депутат в Думу.

Перед большевиками стояла задача: так провести избирательную кампанию в рабочей курии, чтобы в числе уполномоченных, а следовательно, и выборщиков оказалось возможно больше сторонников нашей партии. В Петербурге, как и в других городах, были, кроме рабочей, еще две курии: первая (крупная буржуазия) и вторая (квартиронаниматели, чиповники, служащие, приказчики и т. п.). Первая курия отпадала, а вот во второй мы тоже должны были вести разъяснительную работу, все-таки она состояла из демократических элементов.

Устную пропаганду и агитацию мы проводили на нелегальных собраниях, собирались чаще всего в чайных, на квартирах, а также на массовках.

Расскажу об одной массовке, на которой и мне пришлось держать речь. Это собрание устроила партийная ячейка Балтийского завода, но присутствовали на нем и рабочие кабельного и кожевенного заводов, ткацкой мануфактуры, в общей сложности человек двести пятьдесят. Собрались на берегу Финского залива, напротив острова Золотой.

Докладывал «товарищ Павел» (Николаев, член правления союза металлистов). Платформу он изложил так толково и доходчиво, что я взял этот доклад за образец; когда мне приходилось в дальнейшем разъяснять избирательную платформу РСДРП, то делал это так, как Павел.

Как только тот умолк, слово взял ликвидатор, пазвавшийся Эрнестом. Он начал с утверждения, что не может рабочая демократия действовать «изолированно от прогрессивных буржуазных партий». А раз так, то

выбирать по рабочей курии надо товарищей, которые не тормозили бы сближение с «прогрессивными элементами России». Если рабочие хотят что-нибудь получить от IV Думы, то следует заранее знать: их депутату придется голосовать за проекты законов, вносимые буржуазно-либеральными партиями и отвечающие «прогрессу». Следует разумно воздействовать на либеральные партии в целях борьбы за конституционные свободы.

Ликвидатора закидали вопросами, один ядовитее другого:

— На сколько меньшевики, депутаты III Думы, толкнули кадетов влево? На дюйм? На вершок?

— А не скажет ли оратор, на сколько его сотоварищи демократизировали III Думу?

— Какой у нас в России государственный строй — буржуазно-монархический или монархо-крепостнический?

— Когда ликвидаторы вздумают бороться за интересы рабочих — сейчас или лет через сто?

Что ни вопрос, то смех собравшихся. Ликвидатор крикнул:

— На демагогические вопросы отвечать не буду. Если есть серьезные возражения, отвечу.

Возражения были серьезные. Они прозвучали в речи большевика Шидловского. Он аргументированно показал, что крики ликвидаторов о необходимости единства всех социал-демократов гроша ломаного не стоят. Для чего необходимо ликвидаторам единство? Для революционной борьбы за демократическую республику? Нет, не для того. Они домогаются единства, чтобы мы помогли им «расширять конституцию», содействовать антирабочей политике буржуазных либералов. На такое единство, которое означает измену рабочему классу, мы не пойдем. А они пусть себе идут к кадетам!

Из толпы раздался голос:

— Они пробовали, но кадеты дали им по шее.

— Это и понятно, — подхватил Шидловский реплику. — Кто станет считаться с маленькой кучкой интеллигентов, не имеющей никакой опоры в пролетариате? Даже кадетские газеты социал-демократами считают большевиков, а не ликвидаторов. И они, ликвидаторы, еще думают пугать нас «двойными кандидатурами», страшать тем, что будут выставлять свои кандидатуры! Ни одного голоса либералам-ликвидаторам!

Потом председатель предоставил слово «товарищу Дмитрию» (мне). Я осветил один вопрос: для чего де-

путату от рабочих идти в Думу? Ликвидаторы думают о парламентских маневрах, о блоке с кадетами, о «демократизации» царского строя. А мы, большевики, считаем: Думу надо использовать для подъема политического самосознания массы, для подготовки ее к революции. По рабочей курии изберем только верных защитников пролетариата, а не тех, кто тянется к буржуазным либералам.

Ликвидатор опять хотел выступить, но собравшиеся дружно стали кричать: «Слыхали! Хватит голову морочить!»

Это собрание прошло успешно, полиция о нем не пронюхала, участники массовки благополучно рассеялись. Но так бывало далеко не всегда. Полиция и жандармы выслеживали даже малолюдные собрания. Каждому дворнику полиция сулила от полтинника до пяти рублей за своевременное сообщение о каком-либо собрании по такому-то адресу (номер дома, номер квартиры): полтинник — если не удастся накрыть собрание, пятерка — если удастся арестовать участников. Легко догадаться, как старались дворники.

Большевики, усиливая конспирацию, все же проводили узкие собрания на некоторых квартирах. Я сам присутствовал на двух собраниях: на квартире Баранова (Полюстровский проспект), на квартире Неклюдова (Васильевский остров).

Приблизительно за месяц до выборов в IV Думу аресты вывели из строя почти весь состав ПК. Урон тяжелый, но он не принес властям результата, которого они ожидали. Перед маевкой большевиков столицы тоже лишили центра, но они быстро заменили его в районах и на предприятиях. Так произошло и на этот раз.

20 октября состоялось собрание выборщиков. Большинство голосов было на нем отдано нашему товарищу А. Е. Бадаеву, питерскому слесарю. Он был избран депутатом Государственной думы по рабочей курии Петербурга. (Как известно, большевики были избраны депутатами Думы еще от пяти рабочих курий — Москвы, Владимирской, Костромской, Харьковской, Екатеринославской губерний.)

Не повезло нам во второй городской курии. Не только потому, что главные силы сосредоточили на предприятиях. Сама аудитория была другой. Из этого не следует, что мы отстранились от демократических слоев населения столицы. В меру сил распространяли здесь



листовки (по отдельным квартирам, по почте), старались вести и устную агитацию. Но добиться реального успеха здесь не удалось. Вспоминается характерное для соотношения сил предвыборное собрание в помещении Калашниковской биржи. Как мы, большевики центрального городского района, ни стремились заполучить сюда побольше продавцов, низших служащих и т. п., преобладали, увы, торговцы, лабазники, старшие приказчики. Пойди, толкуй с ними о социалистических идеалах! Вдобавок речь нашего товарища на этот раз была слабой. Впрочем, мудро было хорошо выступить перед такой публикой, да еще после кадетских столпов — Милюкова и Родичева.

## 21

---

**Страховая кампания.— Решения Пражской конференции и Краковского совещания.— Агитация против думского законопроекта.— Борьба в Думе между «шестеркой» и «семеркой».— Третий арест.— Ссылка в Сибирь.**

Еще в одной массовой кампании участвовали большевики — в страховой.

Напомню: согласно уставу о промышленности рабочий день на крупных промышленных предприятиях тогда составлял одиннадцать с половиной часов, а на мелких он вообще не ограничивался законом. Сверхурочные — от них нельзя было отказываться — значительно удлинляли рабочий день. Низкий заработок урезывали штрафы. Скученность, сумрак, грязь в мастерских и цехах, почти полное отсутствие техники безопасности влекли за собой массовые социальные болезни (на первом месте стоял туберкулез) и увечья. А болезнь или увечье — это увольнение с работы без выдачи пособия. Уволенные увеличивали хроническую армию безработных.

Из сказанного ясно, почему законопроект о социальном страховании так будоражил широкие слои рабочих и работниц.

Целыми годами велись вокруг него нескончаемые переговоры между правительственными учреждениями и предпринимателями. Не желая поступаться мощной, капиталисты противились расходам на социальные пособия. Царское правительство отнюдь не сочувствовало рабочим, но в то же время опасалось «беспорядков» на

фабриках и заводах и поэтому обдумывало, как бы путем страхованием удовлетворить недовольных.

Нам предстояло разъяснить, что законопроект, наконец-то принятый Думой, носит антирабочий характер, поднять пролетарскую массу против самого строя, обрекающего рабочего человека на безысходно тяжелую жизнь.

В распоряжении большевиков имелась резолюция Пражской конференции РСДРП «Об отношении к думскому законопроекту о государственном страховании рабочих». Она вскрывала всю гнусность законопроекта: он касался лишь двух (а не всех) видов страхования — от несчастных случаев и от болезни охватывал менее шестой части рабочих; устанавливал нищенские размеры вознаграждения от увечий и болезни; главную часть расходов на страхование возлагал на самих рабочих, а не на предпринимателей. В резолюции было сказано: «Неотложной задачей как нелегальных партийных организаций, так и товарищей, работающих в легальных организациях (в профессиональных союзах, клубах, кооперативах и т. д.), является развитие самой широкой агитации против думского страхового проекта, которым затрагиваются интересы всего русского пролетариата, как класса, и который грубейшим образом нарушает эти интересы»<sup>1</sup>.

Я был в числе тех членов партии, на кого была возложена эта агитация.

Встречаясь со знакомыми рабочими, завязывая новые знакомства, я, естественно, интересовался всем, что происходит на данном заводе. Можно сказать, в руки так и «плыл» материал о бесконечных унижениях рабочих, произволе хозяев, мастеров. Материал сугубо конкретный и впечатляющий. Его-то я и использовал. Выступал ли на массовках, вел ли индивидуальные беседы где-то в чайной или в клубе, советуя молодому товарищу, вступавшему в партию, как разъяснять страховой законопроект и обличать власть имущих, я всегда приводил конкретные факты, связывая их с общеполитическими задачами. Действовала такая агитация неотразимо. Замечу тут же, что, кроме того, я, конечно, черпал факты, приводившиеся в «Правде», пользовался также аргументами, взятыми из нелегальных большевистских изданий.

О том, какое серьезное значение придавала партия страховой кампании, можно судить и по тому, что этот

<sup>1</sup> Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 21, с. 148.

вопрос стоял в повестке дня Краковского совещания ЦК РСДРП с партийными работниками (декабрь 1912 года). В принятой по этому вопросу резолюции указывалось, в частности, на то, что всю агитацию по поводу введения страхования необходимо вести в тесной связи с социалистическими принципами и революционными требованиями РСДРП.

Конечно, сейчас не вспомнить дословно наших речей перед рабочей аудиторией. Но смысл их и форма были приблизительно таковы:

— Вы видели, товарищи, как власть подтасовывала выборы в Государственную думу? Видели, что она считает нас избирателями последнего, низшего разряда, а вперед выдвигает капиталиста, помещика, попа? Так и со страховым законопроектом. Страховая кампания прежде всего касается рабочих и работниц, а на деле-то что получается? Получается, что власть и тут печется в первую голову о богатых и сильных. Заводчики и фабриканты жируют на потогонной системе, взносов же в больничные кассы<sup>1</sup> от них положено только 40 процентов, а вот с рабочих, которые и так еле-еле сводят концы с концами, — 60 процентов, в полтора раза больше, чем с богатых хозяев. Это не все. Спросим, далее, почему этот убудочный закон имеет в виду только шестую часть рабочих? А остальные пять шестых? Ответ ясен: правительство защищает эксплуататоров. Почему больничные кассы создаются только на предприятиях, где число рабочих не менее двухсот, а каково другим? Причина прежняя: царизм защищает богачей. А тут еще нам запрещают сообща обсуждать и изменять устав больничных касс и запрещают выбор уполномоченных в кассы. Скажите: можно примириться с таким порядком, с таким строем? Нельзя! Долой его!

Наши речи падали на благодатную почву. Они были понятны, вызывали протест массы. Выражением протеста явились участвовавшие стачки против страхового законопроекта. Эти стачки так и назывались — «страховые стачки».

Запомнилась мне и борьба в IV Думе между «шестеркой» и «семеркой».

Поначалу социал-демократическая фракция Думы состояла из 13 депутатов: 6 большевиков<sup>2</sup>, 7 меньшеви-

<sup>1</sup> Больничным кассам предстояло решать вопросы о пособиях.

<sup>2</sup> Среди депутатов-большевиков оказался разоблаченный позднее провокатор царской охранки Р. В. Малиновский.

ков. Располагая во фракции липным голосом, меньшевики вздумали диктовать свою волю шестерым нашим товарищам. А ведь именно большевики представляли промышленный пролетариат страны: в куриальных губерниях насчитывалось более 1 миллиона фабрично-заводских рабочих, а в губерниях, в которых были избраны меньшевики, — только 136 тысяч<sup>1</sup>.

Вначале большевики-депутаты нередко шли вместе с депутатами-меньшевиками, допуская при этом и ошибки. Такую ошибку они, например, совершили в самый канун открытия Думы, назначенного на 15 ноября 1912 года.

Этот день большевики решили отметить забастовками и революционной демонстрацией. Мысль ясная: пролетариат возвысит голос против избирательного шулерства правительства, вообще против черносотенной Думы. Прокламация, распространенная на предприятиях, призывала рабочих Петербурга: 15 ноября дружно бросить работу и стройными колоннами с развевающимися знаменами двинуться к Таврическому дворцу (в этом дворце заседала Дума).

Я уже упоминал, что незадолго до выборов Петербургский комитет РСДРП был арестован. Поэтому под прокламацией значились подписи: С.-Петербургская центральная социал-демократическая группа профессиональных работников, группа социал-демократов, группа революционных социал-демократов<sup>2</sup>. К подписям ликвидаторы и придрались. Дескать, не ПК выпустил листовку, а какие-то безответственные лица, толкающие пролетариат к опрометчивому шагу.

Трудно передать наше возмущение, когда 13 ноября в меньшевистском «Луче» появилось заявление думской социал-демократической фракции, осуждавшее предполагавшиеся забастовки и демонстрации. Выходило, против наших действий ратовали не только депутаты-меньшевики, но и свои депутаты, большевики? Последнее не укладывалось в сознании. Мы продолжали пачатое дело. «Луч» выступил против него и на следующий день. Демагогия была беспардонная. Но рабочий класс Питера пошел за большевиками. Некоторый ущерб ликвидаторы нам, конечно, причинили, но сорвать дело им

---

<sup>1</sup> См.: История Коммунистической партии Советского Союза, т. 2, с. 399.

<sup>2</sup> См.: Листовки петербургских большевиков. 1903—1917. М., 1939, т. 2 (1907—1917), с. 68—71.

не удалось. 15 ноября забастовало около 70 тысяч рабочих столицы, тысячи рабочих вышли на улицы.

Представители большевистских организаций объяснились с думскими депутатами.

Большевик-депутат от костромских рабочих Ф. Н. Самойлов писал в своих воспоминаниях: «Нам, рабочим депутатам, было совершенно ясно, что мы поступили нетактично... Мы не имели права называть безответственной группу товарищей большевиков, которых мы не знали. Большевики, конечно, не согласились с нами. В конце концов Муранову<sup>1</sup> и, кажется, Бадаеву было поручено сговориться с протестующими и удовлетворить их требования, поскольку это возможно было в нелегальных условиях»<sup>2</sup>.

Как ошибочную осудили указанную позицию депутатов Центральный Комитет РСДРП, В. И. Ленин<sup>3</sup>.

Я подробно остановился на событиях 15 ноября, вообще тех дней, не только потому, что они запали в память, но и потому, что мы с товарищами часто затем толковали о том, что вряд ли нашим депутатам удастся ужиться с меньшевиками в одной фракции.

Речи депутатов с думской трибуны постоянно обсуждались в рабочей среде, сравнивались: «Вот что сказал большевик, а вот как говорил меньшевик». Рабочие отлично видели, сколь различны выступления тех и других.

Отклик борьбы внутри фракции явственно слышался на страницах «Правды» и «Социал-демократа», подчеркивавших различие принципиальной линии революционного марксизма от оппортунистической линии меньшевиков.

Ликвидаторская пресса бесстыдно клеветала на большевистскую «шестерку». Распинаясь на словах за «единство», меньшевики явно вели дело к расколу в думской фракции. Раскольническую тактику меньшевиков мы разоблачали в своих агитационных выступлениях.

В конце концов наша «шестерка» предъявила «смерке» требование о равноправии обеих частей с.-д. фракции. Передовые слои рабочего класса поддерживали большевистских депутатов. Под резолюциями в защиту их линии подписалось в два раза больше человек, чем под резолюциями, собранными меньшевиками.

<sup>1</sup> М. К. Муранов — большевик-депутат Думы от рабочих Харьковской губернии.

<sup>2</sup> Самойлов Ф. Н. По следам минувшего. М., 1940, с. 185.

<sup>3</sup> См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 22, с. 284—285.

В ноябре 1913 года большевики-депутаты создали самостоятельную фракцию. Это им позволило еще активнее, чем прежде, работать не только в самой Думе, но и за ее стенами.

Охранка продолжала выслеживать и хватать революционеров. В ноябре 1913 года схватили и меня. На Забалканском проспекте у ворот одного дома я должен был встретить политехника Лукина и условиться о его выступлении на собрании. Только я остановился и стал поглядывать в сторону Политехнического института, как меня неожиданно окликнул городской и предложил следовать за ним. Я запротестовал. Но тут же дворник и два каких-то субъекта, явно филеры, прижали меня к стене. Повели в участок, оттуда — в Коломенскую часть. Я усиленно соображал, как бы вывернуться от третьего по счету ареста. Следователь настойчиво выяснял место моего проживания. Я отвечал: в Петербурге всего два дня, нигде, собственно, не проживаю, приехал искать работу в окрестностях столицы. Где остановился? Да нигде, ночь скоротал в заброшенном сарае, могу показать. Следователь недоверчиво качал головой. Из вопросов было ясно: охранке известна моя подпольная работа, но не известно, где бываю, с кем общаюсь.

Возиться со мною не собирались, допрос был только один. Вскоре объявили, что высылают в Сибирь.

В полицейской части держали, пока набралась партия арестантов, и отконвоировали в пересыльную тюрьму. И там посидел. Оттуда — в арестантский вагон, прицепленный к товарно-пассажирскому поезду. Такие поезда почему-то назывались «Максим», шли они медленно, долго простаивая почти на каждой станции. В Челябинске отвели в острог, а через неделю — к исправнику. Тот сердито спрашивает:

— Чего это вас именно сюда? Ведь вы лишены права жительства в пунктах, где имеются предприятия с механическими двигателями при ста работающих.

— Можно подумать, что я рвался к вам.

— Придется отослать в другое место.— Помолчал, пожевал губы: — Отошлем-ка вас в Петропавловск.

Туда меня привезли уже в феврале 1914-го. От тюремного «довольствия», от спертого воздуха в камерах и арестантских вагонах я ослабел. Вышел на вокзальную площадь, не видать ни зги: ночь, буран слепит глаза, валит с ног, холод пронизывает насквозь. До полиции версты две степью. Я бы наверняка упал и замерз, да на

счастье («на счастье» — бывают же такие парадоксы!) поддерживал меня дюжий городской... В полиции мне выдали два рубля, отобранные при аресте в Петербурге. Теперь я мог отправиться на все четыре стороны...

Утром пошел отыскивать скупочную контору и яичный склад фирмы Зайцевых (я зубок знал города, где фирма имела отделения). Но и контора, и склад были наглухо заперты. Надумал уехать в Курган. Там, знал я, имеется холодильник фирмы «Унион», сошлюсь на Зайцевых, авось дадут работенку.

Поначалу в Кургане повезло. Я нанялся чернорабочим. Вдруг недели через три — пожалуйста, в контору. А там городской: «Велено к исправнику».

Исправник грозно спросил, на каком таком основании я поселился в Кургане.

— Потому поселился, — объясняю, — что меня выслали в Сибирь. Курган как будто расположен в Сибири, не так ли?

— «Расположен... расположен...» А я запрещаю здесь жить!

Спорить с полицейским начальством — бессмысленно. Я рассчитался — и на вокзал. Куда ехать? Эх, была не была, махну в Омск.

В Омске перебивался случайными заработками: помогал рыночным торговцам разгружать товар, переносить тару и т. п. Получал в день по пятаку, редко по гривеннику, приходилось голодать. Оборвал это прозябание городской, которому я показался подозрительным. И опять исправник, и тот же разговор: жить здесь запрещено, убирайся вон...

Придется вновь попытать счастья в Петропавловске, тем более что, покидая его, на всякий случай написал Зайцеву-младшему и просил ответить в Петропавловск «до востребования». Стоял уже апрель, но было еще холодно, к тому же еще и ветрено. Добирался я «зайцем» на тормозных площадках «товарняка» — удовольствие не очень приятное.

В Петропавловске меня ожидало не письмо, нет, — записка из нескольких слов без подписи: обратись к управляющему конторой, его известят... Управляющий, гладкий, чистенький, в добротной овчинной шубе, в теплых пимах, действительно был извещен. На редкость немногословный, он цедил сквозь зубы:

— Склад откроется не скоро. (Пауза.) Подходящей работы нет. (Пауза.) Пока могу предложить черную. (Пауза.) Разбирать стружку. (Пауза.) Сколачи-

вать ящики. (Пауза.) Платить могу копеек по пятнадцать в день. (Пауза.) Харчи ваши. (Пауза.) Спать можно в сарае...

Я согласился: к голоду и холоду мне не привыкать.

Через несколько недель дали другую работу, в общем тоже «черную», физически тяжелую, но уже за полтинник в день. Урезывал себя во всем, не доедал, лишь бы поднакопить несколько рублей и податься назад, в Питер.

В июне в Петропавловске началось сооружение большого холодильника для хранения припасов будущей действующей армии. Город приобретал первое крупное предприятие, а политические ссыльные — неприятности. Вызвали к исправнику: впредь проживать в Петропавловске воспрещается.

В тот же день я покинул город. Взял курс не на восток, как указывал господин исправник, а на запад, в Петербург.

## 22

---

**Питерский пролетариат поддерживает бакинских товарищей.— В преддверии мировой войны.— Германские суда вывозят продовольствие из России.— Полиция стреляет в путиловских рабочих.— Июльские демонстрации.— На паровичке за Невскую заставу.**

Все тот же Алексей Зайцев замолвил за меня словечко перед старшим братом, и мне дали работу, но не на основном яичном складе, а поденную в Новом порту, где грузились пароходы. Был тут минус: заработок скудный. Но был и плюс: работа заканчивалась в 5 часов, значит, все вечера можно полностью отдавать партийному делу.

Один подпольщик, сравнительно пожилой человек, носивший партийное имя Молодой (фамилии не знаю), сказал:

— Многие думают, что на окраине или в какой-нибудь трущобе меньше рискуют. Не всегда так. Иногда поселяешься на бойком месте, на виду у полиции — и ничего! Почему? Потому что вид на жительство вне подозрений. Главное — чистый паспорт.

Нашелся среди наших «паспортист». Он искусно подчистил мой документ, в фамилии исправил букву «ы»



на букву «а», и стал я не Грызкин, как значился в охранке, а Гразкин — ничем не примечательный чернорабочий Гразкин. Паспорт выглядел так натурально, что я поселился в Новом переулке, совсем рядом с Мариинским дворцом, с Государственным советом<sup>1</sup>.

Быстро разыскал старых товарищей, в том числе Акулова (теперь он был членом исполнительной комиссии ЦК), Цветкова-Просвещенского. Нагрузили меня заданиями. Хотя арестов с осени, когда меня забрали, произведено было немало, кое-кто уцелел. Кроме того, организация пополнилась молодыми членами партии, вообще приток в нее увеличился. В этом выразилась революционная атмосфера тех месяцев, сказывалось влияние «Правды», фактически ставшей легальным органом ЦК, влияние речей большевистских депутатов в Думе.

Был я парнем быстрым, подвижным. В первые же дни побывал в разных районах — в Городском, Коломенском, на Петербургской стороне, за Нарвской и Невской заставами. Встретился со многими товарищами с заводов Речкина, Нобеля, Эриксона, Франко-русского, Трубочного.

Эти встречи помогли более правильно ориентироваться в обстановке. Нужно ли говорить, что я, как голодный на хлеб, набросился на «Правду», которую не видел в тюрьме и ссылке, на легальный теоретический журнал большевиков «Просвещение» (выходил в Петербурге с конца 1911-го), на номера «Социал-демократ», какие удалось раздобыть...

Товарищи рассказали мне про массовые страховые стачки. Особенно упорно бастовали рабочие завода «Гейслер и К<sup>о</sup>», да и некоторых других предприятий. Во вторую годовщину Ленских событий стачки состоялись на 150 заводах и фабриках Петербурга, а число участников первомайской забастовки достигло четверти миллиона.

Не так-то просто и легко было рабочему примкнуть к стачке. Зарботки мизерные, а тут семья — в самом ли Петербурге или в деревне. Каждый грош на счету.

<sup>1</sup> Архиреакционное учреждение, которое вправе было «заваливать» (и «заваливало») даже скромные проекты верноподданной Государственной думы. Половина состава Государственного совета назначалась царем, другая половина избиралась православным духовенством, губернскими земскими собраниями, съездами землевладельцев, дворянскими обществами, обществами и комитетами торговли и мануфактур, купеческими собраниями и пр.

Забастуешь — теряешь кусок хлеба на весь срок стачки, а после нее быть тебе оштрафованным за «дни прогула», а то и вовсе уволенным. Прибавьте, что на стачечников обрушивались казенная и буржуазная печать, церковь, всяческие обыватели, стремившиеся очернить, забросать грязью «бездельников», «лодырей», «бунтовщиков». Согласиться забастовать — для этого требовалось мужество. В этом проявлялись классовый инстинкт, классовое самосознание, крепнущие чувства пролетарского единства.

Различны были поводы к стачкам, и почти все они свидетельствовали, что усилилась организованность рабочего класса, сознательность его передовых элементов, увлекавших за собой тысячи и тысячи.

Летом 1913 года (рассказали мне товарищи) рабочие «Нового Леснера» бастовали 102 дня. Шуточное ли дело — три с половиной месяца! Бастовали возмущенные издевательствами мастера, доведшего токаря Стронгина до самоубийства. Администрация не пожелала убрать злодея-мастера, и вот в ответ долгая, упорная стачка. Другой факт: на «Треугольнике» произошли отравления рабочих и работниц. Это вызвало стачки на многих предприятиях — яркое проявление пролетарской солидарности.

Но вот и другие поводы к рабочим забастовкам. Царское правительство запретило отметить пятидесятилетие со дня кончины великого украинского поэта Тараса Шевченко (1911), в Киеве черносотенцы устроили антисемитский процесс над служащим кирпичного завода Бейлисом, ложно обвиненным в ритуальном убийстве. И оба раза — рабочие стачки-протесты. В данных случаях непосредственные интересы питерских рабочих не были задеты, зато сказался их пролетарский интернационализм.

Еще в Сибири я прочитал в газете (буржуазной), что в конце мая 1914 года в Баку разразилась всеобщая забастовка. Бакинские нефтепромышленники приступили к массовым увольнениям рабочих промыслов и заводов. Полиция начала аресты. Участников стачки и их семьи выгоняли из жилищ на улицу. Вдобавок власти объявили в Баку военное положение, стягивали туда войска.

Ответом на эти события явились забастовки солидарности с бакинскими братьями, начавшиеся в Петербурге и в других промышленных центрах. Как раз в эти дни я снова стал работать в столице.

За Полюстровским проспектом было назначено в лесу собрание большевиков Выборгского района. Собралось человек тридцать. Помню, присутствовали товарищи Комаров-Федоров, Демидович, Павел Алексеев, литейщик Козлов, Степан Ермаков, Иван Логинов. Два пункта значилось в повестке дня: о партийном единстве и о политическом положении в стране.

Обсуждение первого пункта не заняло много времени. Все были согласны: единство крайне необходимо, но при непрременном условии выполнения директив ЦК РСДРП.

Второй пункт вызвал прения. О чем говорили? О том, что пролетариат активнее, решительнее борется против буржуазии, чем даже еще месяц назад. Но и капиталисты не дремлют. Общество фабрикантов и заводчиков создано ради консолидации буржуазии, более тесного ее взаимодействия с царской бюрократией. Нам следует иметь в виду обстановку не только на данном предприятии, но и в данной отрасли промышленности. Говорили о том, что, продолжая укреплять подполье, необходимо усиливать работу в легальных массовых учреждениях. Почти все понимали важность материальной и моральной поддержки бакинских рабочих.

Некоторые ораторы выражали тревогу по поводу приближающейся в Европе войны. (Тема войны не сходила тогда и со страниц газет.) Терроризируя рабочих Баку, бросая против них не только полицию, но и армию, царизм хочет запугать народ, дабы легче погнать людей в окопы. Не случаен и предстоящий визит в Петербург французского президента Пуанкаре<sup>1</sup>. Русское самодержавие сговаривается — уже, наверное, сговорилось! — с буржуазно-республиканской Францией о предстоящей войне с Германией и ее блоком. Империалисты хотят нажиться на войне, а кровь-то проливать придется рабочим и крестьянам. Задача большевиков — усилить работу среди крестьянства, некоторых отрядов рабочего класса, в частности железнодорожников, в войске, в общем, готовиться к грозным событиям.

Так запомнилось мне это собрание.

Расходились по одному. Очутившись на Николаевской набережной, я с удивлением заметил у причалов иностранные торговые суда. Подхожу ближе, вижу, что преобладают «купцы» из Германии. Набережная вся

<sup>1</sup> Пуанкаре (он потом получил кличку Пуанкаре-война) прибыл в Россию 7 июля 1914 года.

забита бочками с яичным желтком и белком, сливочным маслом; каждая бочка залита свинцом. Вокруг суетятся «молодцы». Я спросил:

— Вы чего грузитесь здесь, а не в Новом порту?

— Да там причалов не хватает.

Только с час тому назад говорили мы об угрозе войны, и вот — на тебе! Я подумал: «Да, немецкие буржуа времени не теряют: спешат вывезти побольше продовольствия, чтобы прокормить армию, которая будет стрелять в русских рабочих и крестьян. Да и русские буржуа хороши: только бы денег наскрести побольше, патриоты!»

На следующий день послали меня в Новый порт помогать грузчикам. Батюшки, «купцов»-то — пропасть! Суда стояли по два, даже по три в ряд, борт о борт, большинство германских. Погрузка шла полным ходом.

Из порта пошел к товарищам поделиться своими наблюдениями. На Офицерской улице повстречал путиловцев Арсентьева и Ефремова. Рассказываю о происходящем. Арсентьев в ответ:

— Дела-а... Что-то господа затевают... У нас на заводе администрация ведет себя очень уж задиристо...

— И с митингом не вышло,— добавляет Ефремов.

Оказывается, вчера после смены предполагался митинг солидарности с бакинцами. Собрались тысячи путиловцев. Только выступил первый оратор, а тут какой-то прохвост заорал: «Полиция! Спасайтесь!!» Народ — кто куда. А полиции-то и не было. В общем, провокатор сорвал митинг, завтра должен другой состояться.

Меня попросили прийти завтра на Путиловский, а соберется митинг — выступить с трехминутной речью. Условились, что в половине пятого я буду у Школьного переулка.

Пришел, жду... Вдруг летний воздух разорвали звуки двух выстрелов, затем — пауза, опять выстрелы, чаще, чаще... Обожгла догадка: «Неужели стреляют по рабочим?..» Взволнованный, побежал в сторону завода. Увидел людей, спрашиваю, не знают ли, где стреляли.

— Говорят, на Путиловском.

Откуда-то выскользнул мальчонка и бормочет, едва не всхлипывая:

— Я сидел на заборе, все видел. Ей-богу, видел! На заводе, во дворе, много-много людей, один городской выстрелил — р-раз, р-раз, двое упали, а тут и другие городские давай палить...

Я побежал, не чуя ног, по Нарвскому проспекту. Мозг сверлило: «Вот она, Лена... Лена в самом Петербурге... Стреляли в безоружных! Надо что-то предпринять!»

Собравшись с мыслями, решил идти в общество «Просвещение» (за Нарвской заставой) — там наверняка кого-нибудь застану. Действительно, в обществе находились Богданов (переплетчик), Титов (с завода Речкина), Кокин, еще кто-то. Меня слушали молча.

— Надо,— прервал молчание Титов,— оповестить больше работников о случившемся.— И предложил одному остаться здесь и информировать всех, кто придет, о расстреле путиловцев. — А я,— добавил Титов,— проинформирую Исполнительную комиссию районного комитета.

Просматривая литературу о жарких июльских днях 1914 года, думаю, что в моей памяти два дня, 4-е и 5-е, слились в один. Кажется, все время был на ногах. Это, конечно, не так, но отграничить один день от другого не могу.

Еще не было семи утра, как я приблизился к заводу Речкина. По мостовой двигалась масса демонстрантов. Среди них замечаю Титова. Он мне крикнул, чтобы я произнес короткую зажигательную речь, а сам что-то сказал соседям по колонне, они взяли друг друга за руки и образовали плотную шеренгу, которая остановила поток людей. Уцепившись за фонарный столб, я громким — «митинговым» — голосом бросал в толпу фразу за фразой и кончил так:

— Хватит издевательств над рабочим народом! Хватит рабочей крови! Долой царя! Да здравствует демократическая республика!

Грянула песня:

Смело, товарищи, в ногу,  
Духом окрепнем в борьбе...

Колонна приблизилась к «Скороходу». Распахнулись ворота, часть демонстрантов втянулась в фабричный двор, а там... полиция. Но наших-то было тысячи, и вышло так, что отряд городских сам оказался в кольце. Фараоны дали два залпа, я сам видел рабочего, истекавшего кровью. Тут в полицейских и в фабричные окна полетели камни.

Подготовленная полицией ловушка не сработала. Демонстрация продолжалась. От нее отделилась группа рабочих. Она получила задание (и исполнила его) за-

крыть в округе все питейные заведения. Тем самым была предотвращена опасность пьяных эксцессов, которые могли спровоцировать черносотенцы.

Руководили демонстрацией толковые организаторы. У Триумфальных колонн они разделили ее на две колонны, каждой определили маршрут к центру города. Я шел со второй колонной по направлению Лиговка — Знаменская площадь и далее.

Нас догнал отряд полиции. Когда расстояние между нами сократилось до нескольких десятков шагов, пристав скомандовал: «Пли!» Раздался залп. Не ожидая нападения сзади, демонстранты шарахнулись по ту сторону железнодорожной ветки, но не разбежались, а залегли — одни за шпалами, другие за телеграфными столбами. Вдоль полотна на одинаковом расстоянии друг от друга лежали кучи камней, приготовленные ремонтниками. В полицию полетел град камней. Городовые перешли в оборону; стреляли они, прячась за стены домов, стреляли скупно, потому что не рассчитывали на нападение и, должно быть, имели мало патронов.

Сражение длилось минут пятнадцать — двадцать. Полиция отступила. Рабочие преследовали ее улюлюканьем, свистом и камнями. Демонстранты выиграли бой, но их энергия заметно иссякла; прогнав полицию, они стали расходиться.

Вечером побывал у Разорепова. У него на квартире застал конторщика Николаевской железной дороги Ковалевского и Терентьева с Франко-русского завода. Рассказал им о своих впечатлениях, а они — о новостях, которые знали. В Городском районе с утра бастовали почти все предприятия, часть типографий, даже некоторые кустарные мастерские; прошли митинги, принявшие резолюции протеста против расстрела путников; были и уличные шествия.

— А у железнодорожников как? — спрашиваю Ковалевского.

— Служащие шепчутся по углам насчет войны, побиваются мобилизации. Могли бы забастовать грузчики, да некому их поднять, наша группа там разгромлена. В депо бурлят...

Разоренов сообщил о постановлении ПК: призвать питерский пролетариат к трехдневной забастовке протеста против расправы с путиловцами. План таков: забастовки, митинги, принятие резолюций протеста, мирные демонстрации. Непременно мирные, потому что время для вооруженного восстания еще не пришло.

Кивнув на Ковалевского, Разоренов сказал:

— Выступать нужно всем вместе, а железнодорожники помалкивают.— Повернулся ко мне: — А ты давно с заставы-то?

— Нет.

— Вовремя ушел. Сейчас там хватают налево и направо. Приказано весь район перевернуть, а зачинщиков арестовать.

Прощаясь, я сказал, что загляну на Выборгскую, кое-кого повидаю в обществе «Образование».

— Не ходи. Общество закрыли.

Этим известием я был очень огорчен. Сколько раз я бывал в обществе «Образование», сколько встреч, деловых и дружеских... Закрыто общество, которое и в черную реакцию служило партии как одна из легальных баз. Полиция неистовствует.

Домой не хотелось идти. Нет, надо бы еще кого-нибудь повидать, узнать, как быть завтра. Будто и не прошагал сегодня многие версты, направился к Невскому. На Литейном столкнулся с Правдиным<sup>1</sup> и наборщиком Филипповым.

— Поедем за Невскую,— предлагает Правдин.— Соберется кое-кто.

Добрались на паровичке (тогда тут ходил паровичок — небольшой паровоз с вагончиками на узкой колее).

На Троицком проспекте свернули в переулок, оглянулись — все спокойно, приблизились к одноэтажному дому. На крыльце кто-то кашлянул, в ответ Правдин кашлянул дважды. Тотчас открылась дверь, и мы оказались в темном коридоре. Смутно различимый человек повел в комнату, едва озаренную лампадой. Скорее почувствовал, чем увидел, людей, сидевших — кто на стульях, кто на скамейке. Было здесь человек десять. Я узнал Антона с Обуховского. Как только появился Правдин, Антон сказал, что пора начинать.

Правдин сделал обзор стачек и демонстраций, соотношения сил полиции и рабочих в разных районах города, информировал о постановлении ПК насчет трехдневной забастовки и демонстрации в понедельник утром. Началось обсуждение. Большинство склонялось к тому, что забастовка необходима.

---

<sup>1</sup> И. Г. Правдин был крупным партийным работником: членом Северного бюро РСДРП, членом ПК; одно время кооптирован Петербургским комитетом в ЦК партии; помогал также большевикам — депутатам IV Думы.

Домой вернулся поздно. И сразу почувствовал усталость, голод. Взял кусок хлеба, размочил холодной водой, поужинал... День завершен...

## 23

**Политические беседы.— Движение выходит за рамки трехдневной забастовки.— Портовые грузчики примыкают к фабрично-заводским рабочим.— Меня опознали.— Баррикады.**

Грузчики Нового порта интересовались забастовками на заводах и фабриках. Разговоры на эти темы я начинал в любой подходящий момент: когда бывали перекуры или когда перестраивался фронт погрузки и люди получали короткий отдых. Вообще пользовался любой паузой, чтобы рассказать о политических событиях, разжечь интерес к борьбе фабрично-заводского пролетариата.

Обедали грузчики в припортовой чайной. Переходя от столика к столику, я ухитрялся поговорить с пятью, а то и с шестью группами. То были короткие политические беседы, нечто вроде индивидуальной пропаганды или, если хотите, агитации, как бы подготовка людей к митингу.

Прочитав листовку ПК о трехдневной забастовке, листовку, обращенную не только к промышленному пролетариату, а и к трамвайщикам, к работникам торговых заведений, к служащим, я решил: надо поднять и портовых грузчиков — и свои беседы подытоживал одним и тем же предложением: «Хорошо бы портовикам примкнуть к забастовке фабричных. Условия труда грузчиков под стать ломовой лошади. Доколе терпеть?»

Вечером направился на Васильевский остров. Наведаясь по некоторым адресам — никого не обнаружил. На Тучковом мосту столкнулся с Правдиным. Везло же мне на встречи с ним! Я ему говорю про свою неудачу.

— Хочешь, — говорит он, — пойдем к Василию Горячеву? Там будет несколько товарищей, полезно тебе послушать...

Горячев жил неподалеку от завода «Сименс и Гальске». У него мы застали Дмитрия Головина, Шувалова и еще одного, мне незнакомого. Правдин рассказал о моих неудачах.



— И неудивительно, — отозвался Горячев. — Наш Васильевский остров, пожалуй, больше других районов пострадал от арестов. До сих пор не преодолели разобщенности ячеек. Есть товарищи, что чураются друг друга, не доверяют, думают: «Безопаснее в одиночку, не будет тогда провалов, вот так-то, втихомолку, и восстановим организацию...» Не возьму я в толк, какая получится польза от их «тихого сидения».

Собравшиеся суммировали сведения, которыми располагал каждый о подготовке к трехдневной стачке. Самым интересным (для меня, во всяком случае) было высказывание товарища, чье имя я не знал, а спрашивать, разумеется, не полагалось. Он считал, что забастовка продлится не три дня, а больше, и объяснял свой прогноз приблизительно так:

— Заметьте, «раскачивается» все больше и больше предприятий, движение захватывает новые массы людей. Среди них — буйные головушки, которые требуют вооруженного восстания. Встречаются «горячие головы» и среди большевиков. Не понимают, что преждевременное выступление позволило бы властям разбить пролетариат. Нет, мы еще не готовы к вооруженному выступлению.

— А если где завяжутся бои?

— Если завяжутся, то, конечно, не останемся в стороне, но и в такие острые моменты надо придавать борьбе организованность.

7 июля, в понедельник, уже с самого утра видно было, что в тот же день забастовка вряд ли завершится.

На моих глазах стачечники остановили первые же трамваи, шедшие по Лесной линии. Вагоновожатые охотно покидали свои места. На этой линии трамваи стояли до полудня. Полиции затем удалось восстановить движение к центру, но забастовщики двинулись к трамвайному парку и помешали выходу вагонов. В эти же часы рабочие закрывали лавку за лавкой, в первую очередь со спиртными напитками.

У меня было поручение побывать на «Новом Айвазе». Хотя завод уже третий день как бастовал, рабочие утренних смен явились на митинг. Выступили пять ораторов (шестым был я). Возбужденная масса вышла после митинга на улицу: красный флаг, революционная песня — вперед!

Часть демонстрантов ворвалась во двор фабрики Молодцова. В фабричном дворе начался митинг. И здесь

я произнес речь (вторую, но еще не последнюю в этот понедельник). Двинулись к Сампсониевскому проспекту. У клиники Вилье появилась полиция. Одновременно из Сахарного переулка показалась голова колонны новолесснеровцев. Две колонны объединились. Число демонстрантов непрерывно увеличивалось. До десяти утра городские еще осмеливались нападать на стачечников, а после поняли, что им не справиться с большими массами рабочих. Весь Сампсониевский был заполнен людьми. Полиция удалилась, сосредоточившись в других местах.

Прорваться к центру не удавалось: везде полицейские отряды. Так продолжалось часов до трех, когда численность колонн изрядно поредела, порыв демонстрантов начал угасать.

Зубков, Иван Логинов и я решили пробираться к Невскому. Маршрут был извилистым: мы обходили полицию переулками и проходными дворами. Было очевидно: власти готовы на все, лишь бы не допустить демонстрантов на главную артерию Санкт-Петербурга. На Лиговке мы видели следы схватки рабочих с «селедочниками», как в народе презрительно называли городских: вывороченный из мостовой булыжник, обломки досок, поленья, битое стекло.

Прошло три дня, а забастовка почти не ослабевала. Приведу цифры. 8 июля в Петербурге бастовали 150 тысяч человек, 9-го — 117 тысяч, 10-го — 111 тысяч, 11-го и 12-го — более чем по 130 тысяч<sup>1</sup>.

Провокационно агрессивное поведение властей толкало рабочих к крайним средствам борьбы. Полицейские и казаки все чаще пускали в ход огнестрельное оружие (о холодном оружии, о плетках и нагайках и говорить нечего). Стачечники оборонялись преимущественно камнями (револьверов было очень мало). На Сампсониевском, загнанные конными отрядами во дворы, некоторые рабочие взобрались на крыши и чердаки, оттуда бомбардировали преследователей камнями.

Упомяну еще об одной речи к колонне стачечников на Сампсониевском. Только я закончил и отошел к переулку, как вдруг, точно в свете прожектора, перед глазами возникла яркая картина 1905 года. Именно здесь, вот на этом самом месте, я, возвращаясь в пекарню, увидел, как рабочие строили баррикаду, и я, тогда

---

<sup>1</sup> См.: История Коммунистической партии Советского Союза, т. 2, с. 463.

подросток, таскал булыжники, скамьи... Лет девять минуло с того дня, а сколько событий произошло, до чего я сам изменился!

...Под вечер зашел в чайную закусить. Она была полна стачечников. Многие предлагали захватить арсеналы, достать оружие.

Было уже поздно, когда на Крапивной улице меня, в числе других рабочих, полицейский отряд загнал в угол. Городовые стреляли из револьверов, хлестали плетками, орали: «Вы арестованы!» До сих пор не пойму, как удалось вырваться.

Дома озадачило угрюмое молчание обычно болтливой хозяйки. Выяснилось: заходил полицейский чин, интересовался, кто здесь проживает, где теперь жильцы, кто не ночевал. Сделав вид, что визит полицейского мне безразличен, про себя подумал: сосну-ка часик-другой — и айда отсюда...

Девятого июля отправился в Новый порт. Около Гутуевской гавани ожесточенно спорили грузчики. Подойдя вплотную, узнал причину недовольства: почему грузчикам платят много меньше, чем тем, кто заполняет трюмы иностранных «купцов»?

Я взобрался на гору ящиков и, перекричав спорщиков, сказал:

— Выходит, хозяйева щедрь, когда вывозят в Германию русский хлеб, русское масло, яйца, мясо для кайзеровской армии, которая вот-вот будет сражаться с русской армией. Ни для кого не секрет, нас ведут к войне. Не Россия дорога правительству и капиталистам, а владычество над трудящимися; им бы заграбастать побольше барышей за счет нашего пота и нашей крови. Долой царское правительство! Давайте примкнем к забастовке фабричных и заводских рабочих!

Организовалась колонна портовых грузчиков и двинулась к центру. За Большим Калинкиным мостом мы примкнули к рабочим Франко-русского завода.

От заводской колонны грузчиков отделили двое «заходил» — служащий (по фамилии, кажется, Сизов) и я. Гляжу на тротуар — знакомая физиономия. Да ведь это племянник черносотенца — купца Комендантова, на складе которого я некоторое время проходил выучку, прежде чем попасть в яичный склад зайцевской фирмы. Племянник узнал меня, машет рукой. Совершенно очевидно: тотчас побежит к дяде, расскажет, что «сицилист» Грызкин в Петербурге, «командует» забастовщиками, а Комендантов не преминет известить охранку.

Одно к одному: интерес полиции к проживающим в нашей квартире, теперь эта досадная встреча.

Колонна так и не дошла до центра — разогнали казаки. Я сразу направился в контору. Попросил Зайцева (старшего) послать меня в Архангельск. Он не стал спрашивать, зачем да почему, и велел выдать мне денег на дорогу, письмо к архангельскому представителю фирмы. Старший приказчик, из каких-то своих соображений, сказал хозяину:

— Пошлем-ка с ним Якунина. Сейчас напишу в Архангельск, а как получим ответ, вдвоем и поедут.

Это устраивало не только приказчика (Якунин был его зятем), но и меня. Я отозвал Якунина в сторонку и говорю:

— Как же быть-то? Придется ждать ответа, а я уж хозяйке сказал, что съезжаю с квартиры, она нового жильца пустила.

— Подумаешь, дела! — отмахнулся Якунин. — Поживи у меня.

Все складывалось хорошо: я покидаю квартиру, замеченную полицией, поселяюсь без прописки у обывателя, находящегося вне всяких подозрений, и, пока не придет ответ из Архангельска, могу выполнять партийные поручения.

Расплатился с хозяйкой, сказал, что уезжаю в... Армавир, и отнес свой скарб к Якунину.

Назавтра утром вновь оказался в Выборгском районе. У клипки Вилье мостовая разворочена, кое-где выкопаны ямы, кругом поваленные телеграфные столбы, фонари, скамьи, табуреты, какие-то доски. Все это опутано телеграфными и телефонными проводами, проволокой. На стенах домов щербины от пуль, на тротуарах — битое оконное стекло, обрывки бумаг. В двух местах следы запекшейся крови...

Здесь вчера построили баррикаду, шло сражение, продолжавшееся до ночи. Учтя опыт, на Выборгской задумали сегодня возвести несколько баррикад — так, чтобы получился треугольник. Искусные рабочие руки делали все споро, умело. Я тоже втянулся в строительство баррикад.

Трудно сказать, когда заканчивалось сооружение баррикады и когда начинались бои. Налет казаков и полиции сам по себе означал окончание строительства и начало сражения. Все казаки и городовые были вооружены револьверами, винтовками. У нас было ничтожно мало револьверов, а патронов еще меньше. Основным

нашим оружием были камни. Неоценимую помощь оказали дети из рабочих семей. Они таскали камни на баррикады, вели себя бесстрашно, даже не пригибались, когда свистели пули...

Исчерпав силы, рабочие отступали. Когда мы под конец оставили баррикаду на Батениной улице и отбежали к баррикаде во Флюговом переулке, я вдруг как бы всем телом почувствовал чей-то упорный и недобрый взгляд. Повернулся и увидел подозрительного типа. Я замедлил шаг, он тоже, я ускорил шаг, тот, как привязанный,— за мной. Так мы оказались у самой баррикады. Я показал глазами на «проводжатога» и шепнул товарищам несколько слов. Они обступили его:

— Ты кто? — спрашивают.

— Токарь.

— Покажи руки!

«Токарь» стремглав бросился к ближайшей подворотне и скрылся.

После ожесточенного сопротивления пала и наша последняя баррикада.

## 24

---

**Впервые из Петербурга без конвоя.— Архангельск.— Война.— Нахожу единомышленника-ленинца.— Организация рабочих кружков.— Нелегальное возвращение в столицу.— Питер первого военного года.— Отъезд в деревню.— Повестка.**

Я еще долго кружил по улицам и переулкам, заходил во дворы, в подъезды и продолжал свой путь, только когда убеждался, что вблизи нет городских или шпижков. Наконец добрался до Якунина.

— А нам ехать сегодня нужно,— встретил он меня.

Поезд уходил в полночь. Мы взяли извозчика. У Публичной библиотеки остановил околоточный: «Кто такие? Куда?» — Объяснения Якунина его вполне удовлетворили, околоточный махнул рукой.

Полиции было много на улицах, а на вокзале — и того больше. Кроме того, на вокзале и на перроне снова жандармы и солдаты.

В ночь с 11 на 12 июля поезд отошел. Я впервые уезжал из Петербурга без конвоя, в незарешеченном вагоне. Никак не мог уснуть и долго стоял у окна, незряче глядя на леса и перелески, станции и полустанки.

Прибыв в Архангельск, я поселился не в городе, а на железнодорожной станции. Это место входило в Архангельский уезд, жить здесь можно было без прописки.

Недели через две началась первая мировая война. В Архангельске (да и в других городах) власти устроили манифестации с хоругвями и портретами царя. Шагали в одном строю попы, сынки помещиков и буржуа, некоторые из вчерашних «солидных» либералов.

И еще тогдашние картины: объявления о мобилизации новых возрастов... отправка на фронт воинских эшелонов... причитания, плач матерей, жен на проводах новобранцев... облавы на дезертиров... очереди в лавках, рост дороговизны... слезка за «политическими преступлениями», разгул провокаций...

Понятно, в Архангельске не могло быть (во всяком случае тогда) ленинских документов о войне. Но мы были воспитаны на марксистской литературе, на статьях Ленина в «Правде», «Просвещении», «Социал-демократе». С первого же часа империалистической войны я был решительным ее противником. Никаких колебаний или сомнений в этом вопросе не испытывал.

Скоро отыскал единомышленника. Им оказался Куликов<sup>1</sup>, служивший в экспедиционной конторе, у которой местная контора торгового дома Зайцева и К<sup>о</sup> фрахтовала буксиры. Куликов и я «прощупывали» друг друга наводящими вопросами и оба поняли: мы с ним социал-демократы ленинского направления.

Куликов свел меня с двумя большевиками, но встречался я с ними редко, их имена память не сохранила. Работали мы с Куликовым «на пару». К осени нам удалось организовать три рабочих кружка — два из судовых команд, один на судоремонтном заводе.

Время с его военно-полевыми судами требовало сверхконспирации. Проводя занятия в кружках, выставляли патрульных. Зимой суда стояли на приколе, и мы собирались то на одном, то на другом буксире, в кубрике или в машинном отделении. О собраниях оповещали заранее, вели их с Куликовым по очереди. Хотели мы обзавестись «техникой», печатать и распространять листки. Но это была недостижимая мечта.

Ледоколы взламывали лед, проходили иностранные суда из Белого моря и обратно. Все ждали весны, когда ледовая обстановка изменится, повернет на «летний

<sup>1</sup> В 1915 году мы с Куликовым расстались, больше я его не встречал. Позднее мне рассказали, что в годы гражданской войны он погиб.

календарь». Числу к 20 апреля не без помощи ледоколов низовья Северной Двины почти очистились. И сразу задымил в Архангельске «иностранец», кажется, «Престония». Экспортные фирмы засуетились, каждой хотелось сбыть свои товары в первую очередь и в возможно большем количестве. Управляющий нашей конторой Пальберг тоже забегал, нанял пароходы и баржу, пообещал матросам дополнительный заработок.

Ночью пароход и баржа, нагруженные пятнадцатью вагонами яиц, приблизились к «Престонии»; едва рассветло, начали поспешно грузить. На барже распоряжался Якунин, на «Престонии» — я.

Не прошло и нескольких минут, как по трапу взбежал управляющий отделением другой фирмы Томсен. (Был ли Томсен по национальности немец или нет, этого не знаю, но фирма была немецкая и как ни в чем не бывало продолжала свои операции в России. На фронте гибли под огнем тысячи и тысячи русских и немецких солдат, а русские и немецкие купцы «делали деньги» на крови вчерашних рабочих и крестьян, одетых в шинели.) Томсен не скрывал своей ярости: его опередила конкурирующая фирма! Он силой хотел остановить начатую нами погрузку, даже схватил доску и пошел с нею на меня. Я громко и раздельно проговорил:

— Эй, потише, господин представитель германских банков!

Томсен опустил доску и злобно процедил:

— Мы меньшие враги русскому правительству, чем ты, социалист! Ты находишься здесь без разрешения властей!

Я пожал плечами: что, мол, за чушь! — принял равнодушный вид и продолжал распоряжаться погрузкой. Закончив дело, попросил Якунина оформить коносамент<sup>1</sup>, сам же поехал к Пальбергу. По дороге думал: откуда руководитель немецкой торговой фирмы знает, что я революционер, скрываюсь от охранки? Меня здешняя полиция не тревожит. Значит, Томсен осведомлен больше, чем даже она? (Все это и поныне для меня загадка.)

Пальберга встретил на улице. Не успел я и слово вымолвить, как он сам спрашивает:

— Что там у вас произошло с Томсеном? Он примчался в канцелярию губернатора, заявил, что вы социалист, незаконно проживаете в Архангельске.

<sup>1</sup> Коносамент — документ, выдаваемый при морских перевозках.

— Это сильно преувеличено! — говорю я. — Года три тому назад было у меня одно недоразумение с полицией, но все давно выяснено, власти меня не беспокоят, повода у них к этому никакого нет. Но мне лучше всего уехать. Пойдут разговоры, а не хочется, чтобы тень пала на нашу фирму. Она так неплохо ко мне отнесется.

Пальберг помолчал, затем обратился ко мне на «ты»:

— Ты прав. Не мое, конечно, дело разбираться в твоих политических взглядах. Пойдем.

Пошли мы к нему, он сообщил, сколько мне причитается, выдал деньги, и мы раскланялись.

Куликов одобрил мое намерение. Опытный человек, он предложил покинуть Архангельск не прямым путем — меня могут задержать на железнодорожной станции или при посадке в поезд. Часа через два пойдет буксир вверх по Северной Двине, безопаснее всего доехать до Котласа, а там уж и дальше. Так я и поступил. Обнялись мы с Куликовым: «Еще, брат, увидимся...», но повидаться больше нам не удалось. Мысленно распрощался с Архангельском — «наверно, навсегда», и тоже ошибся, потому что несколько лет спустя прибыл сюда по заданию Председателя Совнаркома Ленина.

В Петербург вернулся к началу мая 1915 года. Сперва прежние обычные заботы: жилье, заработок, поиски связей с партийными товарищами. Это и раньше были дела нелегкие, теперь, в военное время, они крайне осложнились.

Работу нашел в той же зайцевской фирме, ночевал где придется. Поскольку много большевиков было арестовано, то разыскал кое-каких товарищей только после долгих (порой, казалось, безнадежных) хождений по городу. Мне сразу дали поручения, для меня привычные: отыскать рабочих, среди которых можно вести большевистскую агитацию, помочь наладить связи.

Пробыл я в Питере почти до осени, но с двумя перерывами, когда поспешно уезжал в Ревель, нынешний Таллин. (В Ревель получил явки к двум товарищам. Мог бы там обосноваться, но почувствовал в первый раз «хвост» за собой, вернулся в Петроград, а второй раз, когда на товарной станции начал с солдатами воинского эшелона беседу о войне, чуть не был схвачен.)

В Петрограде от Барышева узнал, что у него на квартире заседал ПК: всего пять человек, остальные были арестованы.



Удары на наши организации с начала войны посыпались один за другим. Но надежды властей окончательно разгромить большевистские организации не оправдались, да и не могли оправдаться: жив рабочий класс — жива его партия. Несмотря на провалы, ПК возрождался и, как бы ни были сложны и опасны условия, действовал.

Мне посчастливилось присутствовать на общегородской партийной конференции. Состоялась она в Ораниенбауме, подготовлена была со всеми предосторожностями, прошла успешно.

Выступления на конференции, весь ее характер очень помогли мне в партийной работе во время войны, особенно в армии, где на первых порах приходилось действовать одному, в отрыве от организации.

Вскоре обнаружил за собою упорную слезку. Как ни пытался избавиться от нее, не получалось. Вот, казалось, филер потерял меня из виду, а завтра — глядь, он поблизости: не берет, хочет выследить, с кем я встречаюсь.

Куда теперь? Опять в Ревель? Не годится. Поедука к себе, в старую Улому, немного отдохну и вернусь в Петроград, авось шпики позабудут меня.

Мои расчеты были, увы, построены на песке. Прожил у родителей самую малость, и староста вручил мне повестку с приказом явиться в воинское присутствие. Я был мобилизован в армию.

## 25

---

С маршевой ротой — на Северный фронт. — Как агитировать окопников? — Знакомство в полковой канцелярии. — Организация нелегальной ячейки. — Наши листовки. — Связь с рижским подпольем. — Революционные события нарастают.

Я уже говорил, что наш уезд считался «медвежьим углом». И вот из этого медвежьего угла военное начальство — удивительная ирония судьбы! — направило меня в село... Медведь.

Здесь дислоцировались солдаты запасного 175-го батальона. Было их не менее полутора тысяч. Состав весьма разнородный: тут и изловленные дезертиры, скрывавшиеся от мобилизации, и люди, пытавшиеся попасть, но не попавшие на военные заводы.

Занимались мы шагистикой, упражнениями типа «коли-руби», изучали трехлинейку. И так с утра до вечера.

Вспомнил я, как старшие товарищи в свое время сетовали на то, что в 1905 году они столкнулись с досадным незнанием военного дела. Я и решил: раз в армии — познай это дело. Стал просить у начальства разрешения пользоваться батальонной библиотекой и получил его. В библиотеке помимо беллетристики были книги по тактике. Я и набросился на них.

Унтер-офицеры прониклись ко мне откровенной враждебностью: умник отыскался, книги мусолит! Они, а вместе с ними некий вольноопределяющийся<sup>1</sup> придирались по каждому поводу и без повода. Особенно этот «вольнопер». Он был туц, упрям, спесив. Купеческий отпрыск (правда, вышибленный из гимназии как «умом необремененный») ненавидел меня за то, что какой-то простолюдин пользуется любой свободной минутой, чтобы погрузиться в чтение книги. «Вольнопер» всячески старался извести меня, досадить, оскорбить. Поначалу я сдерживался, что давалось нелегко: я не выношу хамства.

Однажды вольноопределяющийся стал задавать мне на занятиях вопрос за вопросом. То и дело он заглядывал в бумажку, значит, вопросы заранее подготовил, с умыслом. Они были сверх элементарной солдатской программы, но главное в другом: вопросы задавались так грубо, так нахально, что к нашему отделению подошли офицеры — что-де происходит? Тут вольноопределяющийся совсем распалился. Тогда неожиданно для него я сам задал вопрос:

— Господин обучающий, а какие бывают военные карты?

Купчик опешил, потом брякнул:

— Полевые и кроки.

— Извините, господин обучающий, а как же называются те карты, что снимают на месте, с натуры, да еще на широкой площади?

Вольноопределяющийся закусил губу. А я — тоном прилежного школяра:

— Господин обучающий, такие карты, кажется, называются гипсометрическими? В учебнике, который вы держите...

<sup>1</sup> Вольноопределяющиеся («вольноперы») — люди, которые, обладая известным образованием, получали право добровольного отбытия военной службы на льготных условиях.

— Нечего умничать! — оборвал он меня. — Это не входит в программу.

— Верно, господин обучающий, да вы все время спрашиваете сверх программы.

Солдаты молчали, офицеры, улыбаясь, отошли, один из них рассмеялся: «Ловко он его срезал». Этого уж обучающий снести не мог и приказал поставить меня на два часа «под винтовку».

Вообще-то говоря, я мог торжествовать: «отшлепал» хама, показал солдатам, как надо отстаивать свое достоинство. Но в душу закралась тревога. Я понял: поступил опрометчиво, привлек к себе ненужное внимание. Здесь я один большевик, нет товарищей, которые могли бы указать мне на горячность, неосмотрительность, значит, сам должен оценивать свои поступки, сам критиковать себя, если поступил неправильно.

На исходе марта или в начале апреля 1916 года маршевая рота, куда меня включили за «скверный нрав», прибыла в расположение XII армии Северного фронта и влилась в 436-й Новоладожский полк 109-й пехотной дивизии 43-го армейского корпуса.

Полк стоял у озера Бабите, верстах, кажется, в двадцати от Риги, к которой приблизилась линия фронта. Местность была болотистой: копьешь лопатой — хлопает вода. Работали мы, солдаты, в три пота. Стлали дороги бревнами, оборудовали землянки, укрепления, ходы сообщения, пользовались не столько землей, сколько торфом. Но окаянный торф постепенно высыхал, обваливался, приходилось начинать сызнова — опять и опять...

— Сизифов труд! — обмолвился какой-то офицер.

— Чего, чего он сказал? — недоумевали солдаты.

В тюремной одиночке, проглатывая книги, я с интересом прочитал сборник — мифы древних. Я солдатам сказал, кто такой Сизиф, в каком смысле употребляют слова «сизифов труд». В ответ услышал замечание солдата-бородача:

— Ишь ты каков... Видать, из скубентов.

Я усмехнулся:

— Нет, дядя, не из них. Я, хочешь знать, рабочий. И крестьянин бывший...

Скоро нас отрядили на лесозаготовки. Валили деревья, ошкуряли бревна, распиливали их на доски, вывозили на место, делали более прочными ходы сообщения и укрепления.

Солдаты физически изматывались, в пору поги протягивать. Я тоже страшно уставал, но продолжал думать свою думу: пора бы приступить к политической агитации. Одно было мне яснее ясного: в обстановке фронта, где каждый солдат под неусыпным наблюдением начальников, никаких кружков не организуешь, только с глазу на глаз можно говорить с людьми и агитировать. И не первого попавшегося.

В полку служили преимущественно бывшие крестьяне глубинных губерний, народ, и газет не читавший. Стал присматриваться. Вот, скажем, этот рыжий кряжистый бородач. Слушаю, о чем он переговаривается с товарищами, узнаю, где его семья, сколько душ, какое хозяйство, на чьих оно теперь плечах, пишут ли из дому и о чем, не болтун ли, не угодничает ли перед начальниками. Узнав такие подробности, заводил политический разговор, причем исподволь, избегая самого слова «политика». Важно было моего собеседника научить политически мыслить, рассуждать.

Главное, что занимало солдат, что их тревожило, удручало, — это война. С нее обычно я и начинал.

— Слышал, браток, сводку? Вот, — говорю, — здорово наши германца долбанули! Молодцы ребята! — Тут небольшая пауза. — Не обошлось, конечно, и без наших потерь. *Тем-то* (нажимаю на эти слова: *тем-то*), кого закопали в землю, земельки больше не пахать.

Солдат вздыхал:

— Да-а... это уж точно... Которые полегли, те отпахались.

— Детишек вот жаль, сироты ведь... — продолжаю я. — Ну да мир не без добрых людей. Христовым именем прокормятся.

Солдат затягивается махоркой, молчит, вздыхает. Должно быть, вспомнил родной дом, детей, жену, родителей. Что-то с ними теперь? Как они там без него? «И что, ежели...» — солдат даже не решается додумать терзающую его мысль. И вдруг, сплевывая, раздраженно, с большою отзывается:

— Говоришь, христовым именем? Как же, как же! Теперича не очень-то подают. Нищих — тьма. Изю всех хозяйств поыхватывали работников на войну.

— Правда твоя. Разорила война мужика и рабочего человека. А ведь есть еще купцы, помещики, фабриканты, полицейские. Неужто они не помогут сиротам? Как думаешь?

Солдат, опустив глаза в землю, безнадежно машет рукой.

— Да,— соглашаюсь я,— от них помощи, пожалуй, не жди. Богач, он скорее сироту разденет, чем оденет. А полиция — так та и последнюю рубаху с мужика стащит.

— Во, во,— поддакивает солдат,— этих-то дармоедов, коли по сущей совести, в первую бы очередь на фронт гнать!

— Э, брат, потише, потише. Как бы того... офицеры не услышали. Они, поди, лучше нас с тобою знают, что полицейским самое место в тылу греться. Кто, скажи на милость, будет охранять помещика?

— От кого ж его охранять? — недоумевают солдат.— От германца, что ли? Так германцу до моей губернии далеко.

— Зачем от германца? От твоей, брат, жены.

Солдат вопросительно смотрит на меня.

— От твоей, брат, жены,— повторяю я.— Помещик сколько ей платит за день? Копеек по тридцать, как у нас, в Новгородской губернии? А твоя жена в самую страду возьми и скажи помещику: «Меньше полтинника и не давай, не выйду в поле — и вся недолга». Помещик — за полицией: смутьяны-де, бунтовщики объявились, забастовщики, на германскую, дескать, мельницу воду льют. Урядник тут как тут: «Не извольте, барин, беспокоиться», — да и жену твою за косу — цап!..

— Так их и распротак... Хоть бы царь догадался всех их на фронт, сюда, к нам...

— Ну-у, царь... Ему, поди, самому полиция нужна. Забыл, что ли, пятый-то год? А знаешь, что летом четырнадцатого в Питере рабочие опять подниматься стали? Кто против рабочих полицию и казаков посылал? Кто теперь твою жену усмирит? Я тебе вот что скажу: покуда есть царь, будет твоя жена на помещика хребет гнуть, а мы с тобой в болоте этом гнить и ждать германского «подарочка» свинцового.

Мой собеседник ошарашен. Он испуган. Он растерян. Но суть, конечно, не в испуге и растерянности, а в том, что в голове его началась работа мысли, трудная, неспорая, однако началась. И я «закругляюсь»:

— Ох, как много нам, мужикам, думать надо. Непременно думать, мозгами vorочать... Теперь давай-ка разойдемся, а то унтер, глядишь, схватится: «Чего это они там гудят?..»

Бывало, после такой беседы иной собеседник перепугается, меня в дальнейшем избегает, глаза отводит,

будто и не было у нас с ним никакого разговора. Что ж, неизбежные издержки... Зато другой, напротив, ищет меня, незаметно подходит: «Когда, брат, еще погутарим? Ты за меня не сумлевайся, крой смело...»

Конечно, далеко не каждый день удавались беседы вроде той, что я описал. И не с каждым солдатом получались; с некоторыми сам обрывал разговор. И все же кое-какие успехи обозначались. Но с каким трудом они были добыты!

Один в поле не воин... Один ли? Нет ли еще большевиков? Или хоть тех, кто в 1912—1914 годах читал «Правду», воспитывался на ней? (Я, конечно, не мог тогда знать следующих слов В. И. Ленина из его письма от ноября 1914 года: «...работа нашей партии теперь стала во 100 раз труднее. И все же мы ее поведем! «Правда» воспитала тысячи сознательных рабочих...»<sup>1</sup>)

Мне помог случай. Но в нем не было ничего случайного. Нас повели в полковую канцелярию: уточнить документы, выдать личные номера. Один из писарей приструнил нас весело и грубовато:

— Эй, серая скотинка, не все сразу!

Когда я приблизился к столу, то нарочито отрубил:

— Серая скотинка Гразкин явился в ваше распоряжение!

Писарь в упор глянул на меня и усмехнулся:

— Очень извиняюсь, господин защитник отечества...

— ...Веры, царя и престола! — негромко отбарабанил я с подчеркнутой иронией.

Писарь, перебирая бумаги и не поднимая головы:

— Что ж, дай бог нашему теленку волка съесть.

— Хотя телята волков покамест не ели, да ведь чем черт не шутит, когда бог спит.

— Васильев! — прикрикнул старший писарь. — Что это ты с ним торгуешься? Давай, поторапливайся.

— Да вот, недотепа: фамилию — и ту толком называть не может.

Васильев, слегка улыбаясь, ткнул палец в бумагу, где значилась моя фамилия, и вопросительно посмотрел на меня.

— Граз-кин я, Гра-аз-кин! — подчеркнуто ответил я.

— Ясно, можешь идти.

Вот с того момента я навсегда стал Гразкиным.

---

<sup>1</sup> Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 49, с. 37.

Но кто такой Васильев? Очень хотелось поверить в то, что он «политик». Через несколько дней роту повели в баню. Я сказал отделенному, что надо бы мне в канцелярию полка, писарь неправильно записал место моего рождения. Как потом выяснилось, Васильев тоже нетерпеливо ждал нашей новой встречи: и он искал в полку своих. Васильев повел меня в какой-то сарай. Волнуясь, мы напряженно помолчали, затем обменялись отрывистыми, торопливыми фразами. Каждый обдумывал ответ, осторожничал, боясь угодить впросак. Наконец писарь в упор спросил:

— Ты «политик»?

Вышла пауза. Тогда Васильев решительно объявил:

— Я социал-демократ.

— А в полку еще есть такие?

Васильев, конечно, понимал, что я тяну с ответом. Однако и он был не лыком шит, на вопрос ответил вопросом:

— А тебе зачем знать?

Вижу, разговор уперся в тупик. Тогда признал, что я тоже член РСДРП. Васильев уточнил: он не просто социал-демократ, а большевик. Я возликовал:

— Будем знакомы, дорогой товарищ! До чего же здорово!

Мы обнялись. Наша радость стала еще сильнее, когда выяснилось, что мы оба — питерские большевики<sup>1</sup>. Васильев оказался лесснеровцем. Как часто в двенадцатом году продавал я «Правду», подбегал к проходной заводов Лесснера, однако Васильева не встречал. Я коротко рассказал о себе.

Будучи писарем, сталкиваясь с людьми, мой новый товарищ, конечно, лучше был осведомлен о полковых делах. Разговор с ним подтвердил мои впечатления: солдаты в массе своей глухо недовольны войной, недовольны и офицерством, но никак не возьмут в толк, некому им объяснить, кто виноват в бедствиях, обрушившихся на Россию, не понимают, что виноваты в войне царь, капиталисты, помещики, что и немецкие солдаты — такая же жертва империализма, как и наши.

---

<sup>1</sup> Александр Григорьевич Васильев до призыва в армию работал в петербургском большевистском подполье. Активный участник Октябрьской революции, он был избран членом ВЦИК 2-го созыва. Затем участвовал в боях против белогвардейцев и интервентов. Умер вскоре после окончания гражданской войны,

Есть ли в полку еще социал-демократы или нас только двое? Есть эсдек капитан Кан, но он ярый оборонец, нам не друг, а скорее противник. Есть еще поручик Хаустов, революционно настроен, но к нему надо быть внимательно присмотреться. Затем зауряд-прапорщик Сиверс, с офицерами не в ладу. Мы условились: Васильев встретится с Сиверсом, потолкует с ним и, если убедится в его надежности, вызовет меня под каким-нибудь предлогом, а там уж видно будет.

Не прошло и нескольких дней, как меня потребовали в полковую канцелярию. Не доходя до нее, я увидел в придорожных кустах Васильева. Он поманил меня и представил прапорщику. Тот подал мне руку: Сиверс. Запечатлелся в памяти молодой офицер в поношенной шинели, среднего роста, сухощавый, очень бледный, со строгими пытливыми глазами<sup>1</sup>. Понравилась его немногословие, прямота вопросов и ответов. Позднее узнал, что он питерский, до войны служил конторщиком на заводе медицинских инструментов, а его отец — бухгалтер охотничьего магазина «Порох» на Невском. Я вспомнил, как в июле четырнадцатого, проходя с товарищем мимо этого магазина, мы вздыхали: «Вот бы добыть здесь ружей и патронов...»

Сиверс был человек, несомненно, настроенный по революционному, читал кое-какую революционную литературу, но политические его убеждения пока что не очень-то определенные. Он согласился работать с нами, большевиками.

Итак, нас уже трое. Мы пришли к выводу: единственной формой революционной работы в полку, по крайней мере в ближайшем будущем, может быть, во-первых, индивидуальная пропаганда и агитация, во-вторых, выпуск листовок. Я рассказал о своем опыте, товарищи одобрили его. Затем обсудили, как выпускать листовки в наших условиях. Выработали точку зрения: листовка должна связывать большевистские оценки общих политических задач с фактами полковой, солдатской жизни. Писать будет каждый из нас, размножать — Васильев (канцелярия располагала множительным аппаратом; главное — урвать время, чтобы, не вызывая подозрений,

---

<sup>1</sup> Рудольфу Фердинандовичу Сиверсу в ту пору было 24 года. В 1916 году он стал на фронте членом большевистской партии. Активно участвовал в Октябрьской революции и гражданской войне. Один из строителей Красной Армии, Сиверс умер в 1918 году от тяжелого ранения, полученного в бою с белыми.



оставаться Васильеву одному в канцелярии). Но напечатанное надо где-то прятать. А кто будет распространять? Сразу подумали о команде связи; она квартирует неподалеку от штаба и канцелярии, состоит из наиболее развитых солдат, связисты часто бывают в ротах.

Так в Новоладожском полку возникла и приступила к подпольной работе большевистская ячейка. Одолевала нас мысль: нет ли большевиков в других полках дивизии или в соседних дивизиях? Не может быть, чтоб мы трое оказались исключением.

Как позднее мне удалось установить, большевики на нашем Северном фронте были и в других частях. Когда я готовил книгу о газете «Окопная правда», то знакомился с некоторыми архивами и нашел, в частности, донесение командующего XII армией командующему Северным фронтом о том, что раскрыты две революционные организации, которые ставили своей целью «распространять преступную антиправительственную и антимилитаристскую пропаганду в войсках». Кто мог «распространять пропаганду» такого рода? Конечно, пролетарские интернационалисты, большевики. В архиве я обнаружил и документ, из которого явствует: за отказ идти в наступление преданы суду 167 солдат 17-го Сибирского полка, 24 солдата по приговору суда казнены<sup>1</sup>.

Головой рисковали большевики за революционную работу в армии.

Вскоре Сиверсу удалось определить меня в денщики. Я теперь под предлогом выполнения приказа «его благородия» мог идти по своим делам (пропагандистским, агитаторским), имел время для чтения газет. Получали мы монархическую и буржуазную периодику, но и оттуда удавалось выуживать информацию для бесед с солдатами, для наших листовок.

Мы выпустили всего три листовки, они были в восьмушку листа каждая. Писали мы их от руки прямо на восковке, а с нее Васильев печатал на ротаторе. Почти каждый солдат, к которому попадала листовка, чуть ли не заучивал ее наизусть, потом отдавал самому близкому другу, тот прочтет раз, другой, передаст третьему... Находились, конечно, подлецы, что относили прокламацию офицерам, но таких все же было мало.

Первую листовку мы посвятили суду над балтийцами, выступившими против войны, и забастовке питер-

---

<sup>1</sup> См.: *Гразкин Д. И. Окопная правда*. М., 1958, с. 30, 31.

ских рабочих, вставших на защиту матросов. Вторая листовка сообщала солдатам, что в ноябре в Петрограде произошли новые забастовки, антивоенные митинги. Мы писали: рабочие выдвинули как экономические, так и политические требования; к рабочим с Выборгской стороны примкнули солдаты 181-го запасного полка, конные жандармы хотели разогнать митинг, но рабочим помогли ополченцы.

Третья листовка была тоже о стачках в столице. Каждую листовку заканчивали призывами: «Долой самодержавие!», «Долой войну!»

В октябре Васильеву подвернулся случай съездить в Петроград. Дал я ему несколько адресов, не зная, впрочем, на воле ли те люди, с которыми хорошо было бы установить связь. Увы, ни с одним большевиком Васильеву повидаться не удалось.

Я оказался счастливее. Однажды с группой солдат был послан в Ригу за музыкальными инструментами. У одного солдата была в городе знакомая семья, и мы зашли на огонек. А там собралась компания молодежи. Разговорился я с гимназистом. Он проповедовал интернационалистические взгляды. Я спросил, не знает ли он большевиков. Юноша смущенно ответил, что знает только одного, который, «кажется, политик».

Меня познакомили с ним на улице. Удалились мы в какой-то скверик, где терпеливо «прощупывали» друг друга. Мой новый товарищ оказался Карлом Петерсоном, латышским социал-демократом, за спиной которого уже были тюрьмы, ссылки<sup>1</sup>. Я рассказал о настроении солдат нашего полка, просил помочь регулярно получать политическую информацию, установки ЦК, литературу. Петерсон обещал.

Вскоре на явке молодой товарищ, к которому меня привели, сообщил, что революционное брожение в рабочем классе Петрограда нарастает с каждым днем, можно ожидать взрыва, надо быть готовыми к событиями громаднейшей важности.

Воодушевленный, я вернулся в полк. Мы собрали большевистскую ячейку полка (называли ее кружком). Помимо нас троих — Васильева, Сиверса и меня — собрались распропагандированные нами: Груничев,

---

<sup>1</sup> Карл Петерсон, деятельный участник Октябрьской революции, был делегатом II Всероссийского съезда Советов, избирался членом ВЦИК нескольких созывов, в 1919 году — один из членов правительства Советской Латвии, позднее — в Красной Армии. Петерсон скончался в 1926 году.

Иванов, Кириллов, Новожилов и, кажется, Тимофеев. Да, нас уже было в полку восьмеро. Я сжато передал полученную информацию, мы пришли к единодушному выводу: быть готовыми к революционным событиям.

Сиверс, пользуясь положением офицера, часто бывал в Риге. Это помогло наладить связь с рижским подпольем. Рижане связали нас и с товарищем, звавшимся «Пелекие» («Пелекие» в переводе с латышского значит «Серый»). Он служил в дезинфекционном отряде и под видом служебных дел мог нас навещать хоть каждый день. От «Пелекие» мы получили сведения о забастовке на Путиловском, увлекшей рабочих многих других предприятий столицы, о массовом стачечном движении и демонстрациях в Петрограде 23 февраля 1917 года, в Международный женский день, о лозунгах на улицах: «Долой войну!», «Мира и хлеба!», «Долой царское правительство!»

Такого рода информацию мы всеми средствами старались распространять среди верных, надежных солдат, на которых можно было положиться, а те уж распространяли ее в своих ротах.

## 26

---

**В Петрограде революция! — Первое легальное партийное собрание. — Солдатские комитеты. — Изучаем Апрельские тезисы Ленина. — Борьба против социал-оборонцев. — Как мы разоблачали замыслы контрреволюционного генералитета.**

Сиверсу удалось добиться разрешения на кратковременную поездку в Петроград. Насколько помню, вернулся он ночью 28 февраля. Был он радостно возбужден: в Петрограде — революция, с рабочими братаются солдаты, правительство безвластно, отречение царя — дело дней. Нашему ликованию не было конца.

Утром в полку состоялось первое легальное партийное собрание. В тот же день мы созвали полковой митинг, на следующий день — митинги в других полках дивизии. Повсюду присутствовали Васильев, Сиверс или я. Перед солдатами выступали и другие большевики. Мы познакомились с ними. Возникла дивизионная организация РСДРП. Меня избрали председателем партийного комитета дивизии.

Получив известный приказ № 1, изданный Петроградским Советом 1 марта 1917 года, мы провели выборы солдатских комитетов. Вышло так, что я стал председателем солдатских комитетов полка и дивизии. При тогдашней нехватке политических работников такое «совмещение должностей» не считалось необычным. Но дел навалилось по самую макушку. Чтобы поспевать во все подразделения, я заполучил в свое распоряжение верховую лошадь.

Мы сознавали: важно разъяснить солдатам, для чего, для какой цели нужна организация. Требовалась четкая программа ближайших действий. Мы выработали документ, озаглавленный нами так: «Основная программа (Требование)». Документ главным образом излагал программу-минимум РСДРП, потому что тогда мы полагали (как подсказывали первые номера «Правды»<sup>1</sup>), что теперь надо завершить буржуазно-демократическую революцию. Были в «Основной программе» и пункты, выдвигавшиеся армейской действительностью. Поскольку генералы и офицеры, придерживавшиеся монархических взглядов, могли всадить нож в спину революции, то в документ мы включили требование «контроля над операционной частью штабов солдатскими исполнительными комитетами».

К сожалению, были в нашем документе допущены и ошибки. Так, неверной была формулировка 15-го пункта: «Считаем нужным и необходимым контроль над Временным правительством с целью доведения революции до конца» (подразумевалось: контроль будет осуществлять Совет рабочих депутатов). В первоначальном проекте пункта о контроле вовсе не было. В момент, когда обсуждался проект, из Петрограда приехал Васильев и предложил вставить пункт насчет контроля над Временным правительством. Вначале Сиверс и я возражали. Васильев заявил: в Питере он виделся со Шляпниковым и с Каменевым, последний-то и высказал мысль о контроле — это-де точка зрения Бюро ЦК партии. Мы с Сиверсом согласились, пункт приняли.

На другой день Васильев информировал дивизионный комитет о поездке в Петроград. Мы уже оправились от вчерашней растерянности, стали оспаривать пункт о контроле над Временным правительством. Рассуждали так: «Разве буржуазное правительство во главе с

---

<sup>1</sup> «Правда» вновь стала выходить с 5 марта 1917 года.

князем Львовым станет двигать вперед революцию? Абсурд!» Васильев согласился с подобными доводами. Злополучный пункт (а заодно и некоторые другие неудачные формулировки) убрали.

В исправленном виде «Основная программа» была оглашена на митинге представителей дивизии. Митинг состоялся 17 марта, и документ был принят. Мы послали его в Петроград, он был помещен в «Правде» без изменений, ибо «Основная программа» по своему направлению в общем соответствовала тогдашней линии газеты.

Васильев привез с собой из Питера первые восемь номеров «Правды». Внимательно проштудировав их, мы убедились: газета ставит задачей завершение буржуазно-демократической революции, установление революционно-демократической диктатуры рабочих и крестьян. Например, 9 марта «Правда» напечатала постановление Бюро ЦК, в котором было заявлено: «Теперешнее Временное правительство, по существу, контрреволюционно, так как состоит из представителей крупной буржуазии и дворянства, а потому с ним не может быть никаких соглашений». А дальше в постановлении говорилось, что «задачей революционной демократии является создание Временного революционного правительства демократического характера (диктатура пролетариата и крестьянства)».

Как хорошо известно, это было требование, выдвинутое Лениным в первой русской революции и абсолютно правильно для 1905 года. Во вторую революцию (февраль 1917 года) оно не соответствовало новым историческим условиям. Однако до возвращения В. И. Ленина из эмиграции мы этого не понимали, и, в общем, продолжали держаться прежней установки.

Никогда не забыть ту радость, которая охватила нас при известии, что вечером 3 апреля Ильич прибыл в Петроград. Трудно передать, с каким жадным вниманием мы читали и перечитывали номер «Правды» за 7 апреля, в котором появились знаменитые Апрельские тезисы Ленина («О задачах пролетариата в данной революции»). В следующих номерах — еще и еще ленинские статьи, а с 25 апреля стали печататься документы Апрельской конференции РСДРП (б) — газетные отчеты о докладах Владимира Ильича о текущем моменте, по аграрному вопросу, резолюции конференции по этим вопросам, а также о Советах рабочих и солдатских

депутатов, об отношении к Временному правительству и другие.

Ленинская статья «О двоевластии» удивительно отчетливо показала нам историческую обстановку и вытекающие из нее задачи (статья была напечатана в «Правде» 9 апреля, значит, мы ее читали никак не позднее 11-го или 12-го). Сначала Ленин напомнил марксистскую истину: коренной вопрос всякой революции — это вопрос о власти в государстве. А вслед за этим писал: «В высшей степени замечательное своеобразие нашей революции состоит в том, что она создала *двоевластие*. Этот факт надо уяснить себе прежде всего; не поняв его, нельзя идти вперед». И далее: «Старые «формулы», например, большевизма надо уметь дополнить и исправить, ибо они, как оказалось, были верны в общем, но конкретное осуществление *оказалось* иное. О двоевластии *никто* раньше не думал и думать не мог». В чем оно выражается? Владимир Ильич ответил и на этот вопрос. Наряду с буржуазным Временным правительством «сложилось еще слабое, зачаточное, но все-таки несомненно существующее на деле и растущее *другое правительство*: Советы рабочих и солдатских депутатов»<sup>1</sup>.

Вот и следовало большевикам повсеместно повести энергичнейшую работу, чтобы завоевать массы на сторону этого «другого правительства», на сторону Советов, революционного пролетариата. Надо было нам завоевать весь тот трудовой люд, который, будучи разбужен революцией к политической жизни, оказался захлестнутым мелкобуржуазной волной, охвачен оборонческим угаром («добросовестным оборончеством»), пошел за меньшевиками и эсерами. (А таких, обманутых лживой фразой эсеров и меньшевиков, таких политически нейскушенных, сбитых с толку солдат мы видели у себя в армии в каждом полку.)

Армейские большевики всей душой восприняли новый исторический курс, сформулированный и обобщенный в ленинских произведениях, в документах партии, — курс на переход от первого, буржуазно-демократического, этапа революции ко второму, социалистическому, этапу.

«Основную программу» сначала приняли солдаты Нововоложского полка; они с первых дней революции шли за большевистской организацией. Вскоре к ней

<sup>1</sup> Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 31, с. 145.

присоединились солдаты двадцати с лишним полков нашего корпуса и некоторых частей за его пределами.

События все дальше разводили в стороны большевиков и эсеро-меньшевиков. Об этом свидетельствовали факты. Вот один из них.

В марте эсеры и меньшевики собрали в Риге представителей различных частей XII армии. От нас, большевиков, организаторы этого совещания тайлись, зато получили «добро» командования и не пожалели сил, чтобы собрать в рижском театре преимущественно делегатов от штабов и тыловиков. Совещание было объявлено «всеармейским», на нем быстренько сформировали Исполнительный комитет солдатских депутатов (сокращенно: Искосол) во главе с Лихачем (член ЦК эсеров), Дюбуа и Кучиным (члены ЦК меньшевиков).

О том, что в Риге происходит такое совещание, я узнал случайно, поспешил туда и, прибыв, попросил слова.

— Вы, — сказал я, повернувшись лицом к президиуму, — повсюду кричите о демократии, а созвали совещание тайком от революционной общественности, узурпировали права многих солдатских комитетов. От имени комитета 109-й дивизии заявляю: самозванного Искосола мы не признаем и будем бороться за создание всеармейской солдатской организации демократическим путем<sup>1</sup>.

Некоторое время спустя Искосол собрал в Таренсберге корпусной митинг. День был назначен такой, когда Сиверс уехал в Петроград, а Васильев в Псков. Цель митинга: обработать солдат в духе «революционного оборончества», поддержки Временного правительства.

На сцене театра, рядом с эсерами и меньшевиками, уселись и генералы, в том числе командир корпуса монархист Болдырев (тот самый, что в 1918 году, будучи представителем белогвардейского «Союза возрождения России», входил в известную Уфимскую директорию, которая проложила путь Колчаку).

Организаторы этого митинга опять-таки постарались собрать побольше делегатов от штабов и тыловых

---

<sup>1</sup> Большевики входили в Искосол. В своих выступлениях и предложениях мы стремились разоблачить прислужничество руководителей Искосола перед буржуазным Временным правительством, добиться изменения состава этой организации. Но до Октябрьской революции в Искосоле все же преобладали социал-оборонцы.

учреждений, поменьше от фронтовых частей. Для делегатов 109-й дивизии не нашлось места даже на площади у театра.

Я все же проник в зал. Подавляющая часть присутствующих встретила мое выступление, мягко выражаясь, недружелюбно. Настроение, однако, начало изменяться, когда искосольцы предложили обсудить резолюцию, а я — вносить поправки или уточнения. Некоторые пункты голосовали раз по пять. В пункт о войне я внес поправку: необходимы немедленные меры к заключению мира, хотя бы через головы буржуазных правительств. Оборонцы поднялись на дыбы. Фронтвики осадили их:

— Правильно солдат говорит, правильно! Кончать войну! Долой!

Эсеры, меньшевики, генералы ушли из президиума, не дожидаясь принятия резолюции в целом. Принята она была с поправками, негодными для устроителей митинга. Эсеры и меньшевики, успевшие обзавестись газетами, вообще не напечатали резолюцию. Офицерская газета — и такая уже выходила, — не гнушаясь подлогом, опубликовала не резолюцию, а ее первоначальный проект.

Контрреволюционеры не брезговали и провокациями.

В дивизии служил поручик Булак-Балахович. В прошлом за хулиганство и дебоширство он был исключен из офицерских собраний. И вот этот-то прохвост состряпал грязный пасквиль с целью опорочить большевистскую организацию. В сочиненной и распространенной им листовке утверждалось: большевик Сиверс — «немецкий шпион», а сверх того, и каратель, участник подавления революции 1905 года в Латвии, Балахович не случайно обрушился на Сиверса. Во-первых, Сиверс — офицер, во-вторых, фамилия-то немецкая (Сиверс происходил из обрусевших немцев), в-третьих, в пятом году одну из карательных экспедиций возглавлял генерал, его однофамилец.

По нашему предложению, солдатские комитеты потребовали суда чести над Балаховичем. Суд состоялся в просторном курзале — уж мы-то широко оповестили полки о публичном разборе дела провокатора. В качестве заседателя я задал Балаховичу свыше двадцати вопросов. Он запутался, потерял самоуверенность, признался, что не располагает фактами, чернящими Сиверса, листовку писал «по настроению», готов «дать удовлетворение» Сиверсу на дуэли.



Я ответил: провокатор изобличен, у нас, революционеров, есть дела поважнее дурацких дворянских дуэлей, мы найдем средство защитить честь членов большевистской партии... А в конце речи обратился к офицерам с призывом идти вместе с народом против контрреволюционеров.

Если бы у нас в армии была своя газета!.. Кому первому пришла в голову эта мысль, теперь уж и не определишь. Васильеву? Мне? Другому товарищу? Скорее всего, многим одновременно. Провокации контрреволюционеров еще и еще раз напоминали о необходимости собственной газеты для широкого распространения большевистских идей и для обличения врагов революции.

Клевета Балаховича оказалась пустяком по сравнению с коварной игрой командования. Новоладожскому полку был отдан приказ: сняться с позиций и отойти на отдых, а бригаде латышских стрелков — занять дислокацию полка. Когда мы стали отходить, латышей оповестили, что Новоладожский полк будто бы самовольно бросил позиции и наступает на Ригу. Легко представить себе, как возмутились латышские стрелки! Они развернулись в боевой порядок, намереваясь огнем остановить наш полк. Сиверс и я, узнав о провокации, вскочили на коней и помчались к латышам. Глядим, отчаянными жестами нас останавливает гонец. То оказался товарищ, посланный предупредить нас о засаде, устроенной Балаховичем. Он с шайкой головорезов намеревался пристрелить любого из новоладожцев. Поблагодарили гонца и кружным путем прибыли к латышским товарищам, предъявили им приказ командования о передислокации, разоблачили провокаторов.

Вскоре нам бросилось в глаза, что из дивизии куда-то увозят пулеметы. Одновременно солдатский комитет узнал, что артиллеристам приказано подготовиться к обстрелу германских позиций. Стал очевиден подлый замысел командования: вызвать ответный шквальный огонь по нашим окопам, оставив нам лишь винтовки.

Солдатский комитет немедленно отрядил меня к командующему XII армией (им был тогда Радко-Дмитриев). К нему не пустили. Тогда я, уходя, громко объявил адъютанту:

— Требую незамедлительно сообщить командующему: если он тотчас же не прикажет вернуть нашей дивизии пулеметы, то мы сегодня — слышите: сегодня! — передаем в центральную революционную печать

о том, что здесь происходит. И тогда вся Россия узнает про чудовищное злодеяние.

Едва успел вернуться в свою часть — бегут:

— Валяй к Сулимову!

Генерал Сулимов командовал нашей дивизией. Меня без промедления пригласили в кабинет. Генерала окружали старшие офицеры. Театральным жестом указав на меня, Сулимов произнес:

— Вот-с, прошу! Берите пример с гражданина солдата! Он показал, как надо отстаивать интересы родной дивизии!

Я прямо-таки онемел от этого паглого лицемерия. Не сказав ни слова, покинул генеральский кабинет.

Всю ночь заседал дивизионный комитет, обсуждая, как выйти из создавшегося положения. Под утро меня снова пригласили к командиру дивизии. Изображая простодушное недоумение, Сулимов осведомился, почему я вчера покинул его кабинет.

— Солдат дипломатничать и подличать не приучен. Ведь вы, генерал, знали, что, отбирая у дивизии пулеметы и вызывая немцев на бой, ставите наши полки под угрозу истребления?

Сулимов побагровел:

— Уж не полагаете ли вы, что я в сговоре с неприятелем?

— Это мне покамест неизвестно. Зато известно, что готовилось преступление. Мы этого так не оставим.

Сулимов что-то забубнил. Я молчал, своим молчанием подчеркивая, что не верю ему ни на грош.

Кончилось тем, что приказ насчет пулеметов был отменен, Сулимова под предлогом «нездоровья» убрали.

После этого командование решило изолировать 109-ю дивизию, дабы пресечь «большевистскую заразу». Дивизию перевели на другое направление, а на фланге выставили 4-ю особую дивизию, укомплектованную политически отсталыми солдатами и почти сплошь реакционными офицерами. Нельзя сказать, что революция вовсе не тронула сознания солдат особой дивизии, но если им и толковали о «политике», то разве лишь социал-шовинисты и кадеты.

Партийный комитет поручил мне распропагандировать солдат этой дивизии. Приступил я к делу без подготовки. Что называется, сунулся в воду, не зная броду, не прощупав дна, ни с кем не познакомившись. И был за это в буквальном смысле жестоко наказан.

Узнав, что в одном полку особой дивизии создан митинг, направился туда и принялся разъяснять большевистские взгляды на войну. Война эта, говорю, империалистическая, захватническая с обеих сторон. Кому она выгодна, каким классам? Чью линию гнет Временное правительство, продолжая войну, начатую при царе?

Таких речей здесь и не слыхивали. Офицеры стащили меня с трибуны, кто-то рукояткой револьвера с такой силой саданул по затылку, что я рухнул наземь. Выкрикивая ругательства, офицеры стали топтать меня сапогами. Увертываясь от ударов, я очутился у какой-то землянки. Прыгнул туда. Едва успел стереть кровь с лица, как ворвались озверевшие офицеры. «Сейчас убьют», — подумал я, схватил карабин, висевший на стене, выстрелил наугад, не целясь, и, воспользовавшись суматохой, выскочил из землянки — и на коня!

Перепочевал у артиллеристов, утром надел их форму и в таком виде поехал в особую дивизию знакомиться со связистами. Мысль была такая: связисты — народ обычно городской, часто из рабочих, вообще мне следовало начинать с них, исправлю вчерашнюю оплошность. Расчет оказался правильным. Телеграфисты, телефонисты, самокатчики слушали меня с сочувственным вниманием и вызвались помочь. Слово свое они сдержали. Благодаря им я передвигался из роты в роту, затевал беседы — о войне, о мире, о земле.

Сочтя подготовку достаточной, предложил созвать новый митинг. Теперь уж многие солдаты требовали: «Дайте большевику сказать! Чего рот затыкаете?!»

Только я поднялся на трибуну, как из группы офицеров раздался крик:

— В прошлый раз не добились, так сегодня ждешь смерти?!

Солдаты ошетинились и грозно потребовали тишины. Поначалу слушали выжидательно. Затем послышались реплики: «Верно говорит!» А конец был такой, какого я и не предвидел: раздалось «ура».

По окончании митинга несколько офицеров погнались за мною на рысях. Но солдаты взяли меня под защиту.

Хорошо помню солдатские сходки, посвященные будущей армейской газете большевиков. Что ни собрание — одни и те же вопросы: а что требуется для издания газеты окопников? И один ответ: пужны, во-пер-

вых, деньги — на бумагу, на типографию, а во-вторых, статьи, заметки.

— О чем заметки и письма? О том, как живет фронтникам. О наших нуждах и требованиях. О мыслях, которые тревожат нас здесь, на войне, о наших родных — там, в тылу.

— А деньги-то где возьмешь? Небось не валяются...

— Вот они, тут.— Я хлопал по карману.— В армии нашего брата тысячи. Неужели не соберем? С миром по нитке...

По полкам пустили подписные листы, начался сбор пожертвованных в фонд большевистской газеты.

У нас уже почти повсюду появились друзья, они-то указали на более солидный источник: в полковой казне есть нестраченные «порционные деньги», остались от рядовых, выбывших по ранению или другим причинам. Солдатский комитет потребовал у командира полка раздать «порционные» наличному составу солдат, а солдат попросил пожертвовать полученные деньги на газету. Нежданно-негаданно в нашем распоряжении оказалось девять тысяч рублей. А это уже достаточно для намеченного предприятия.

---

## 27

---

**«Окопная правда».— День — полкам и дивизиям, ночь — газете.— Поездки в Петроград.— Всероссийский крестьянский съезд.— «Открытое письмо» и речь В. И. Ленина.**

Газета прибавила нам работы, напряженной, нервной, подчас опасной, но и очень интересной. На мне, например, лежали обязанности председателя солдатских комитетов полка и дивизии, члена солдатского комитета корпуса и члена Искосола, руководителя партийной организации дивизии. Потом я работал и в бюро большевистской организации XII армии. Это значило: заседания солдатских комитетов, собрания, митинги, конференции, речи, подготовка резолюций, переговоры с командованием, решение множества повседневных политических и организационных вопросов. Теперь прибавились выпуск и редактирование газеты — дело абсолютно незнакомое.

Сравнительно легким, хотя тоже не очень-то простым, оказалось создание материальной базы газеты:

финансов, типографии, бумаги и пр. Но вот другие вопросы, куда более сложные, никогда прежде ни перед одним из нас не возникавшие: кому писать статьи, как их редактировать, как высчитывать, сколько статей, заметок, писем войдет в номер, в какой последовательности их размещать (то есть как верстать), как править корректуру, какие нужны знаки, понятные наборщикам? И другие подобные вопросы.

Солдатский комитет Новоладожского полка выделил редакционную коллегию. В нее вошли Сиверс, Хаустов, Васильев, Иванов и я; техническим секретарем определили связиста Кириллова.

Надо отдать должное энергии Хаустова. Именно он отыскал типографию, заключил договор с владельцем, приобрел бумагу. Но потом Хаустов порядком попортил нам нервы.

Как назвать газету? На заседании редколлегии обсуждались названия: «Колокол» (в память герценовского издания), «Пламя», «Солдатские думы», «Окопная жизнь». Кто-то сказал: «Окопная правда», и предложение сразу приняли. «Окопная» — газета для солдат, находящихся на передовых позициях, «Правда» — потому что будем вести линию центрального органа большевистской партии.

Хаустов внес предложения, вызвавшие горячий спор. Первое: из состава редколлегии одного назначить ответственным редактором (было ясно, что им собирается быть именно он, Хаустов). Это предложение мы сразу отклонили, твердо заявив: редактировать газету будем коллективно. Второе предложение (тоже отклоненное нами): придать «Окопной правде» характер «широко демократической» газеты, чтоб на ее страницах выступали представители «разных политических течений». Для нас было несомненным, что газету должен открывать призыв марксистов: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Однако Хаустов, находившийся тогда в эсеровском тумане, предложил девиз эсеров: «В борьбе обрешь ты право свое». Мы провалили и это предложение.

Из-за неотложных дел я несколько дней находился вне Риги. Вернулся к верстке первого номера, который должен был выйти (и вышел) 30 апреля. Слышу, в типографии скандал. Я — туда. Оказывается, Васильев обнаружил на оттиске первой полосы эсеровский девиз и сказал наборщикам: «Эту строчку выкиньте, взамен наберите: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»»

А Хаустов — ни в какую: он-де арсендовал типографию, договор на его имя, наборщики обязаны слушаться только его.

Мы с Васильевым — к хозяину типографии. Он педоуменно разводит руками: действительно так... да еще Хаустов сверх договора дал «слово офицера», что если с газетой приключатся неприятности, то он «берет их на себя».

Имея в виду Сиверса, находившегося в отлучке, мы говорим:

— В ближайшие дни перезаключим договор. От имени редакции его подпишет другой офицер, он тоже даст вам «слово офицера», а уж у него, будьте уверены, оно крепче крепкого.

Однако перезаключение договора требовало времени. Между тем газету надо было печатать сегодня. Пришлось нам пойти на неприятный компромисс: первые два номера «Окопной правды» были украшены двумя эпиграфами...

Сиверс вернулся, договор мы подписали новый, эсеровский лозунг сняли. Хаустов заволновался, предъявил полковому комитету нечто вроде ультиматума, комитет ультиматум отверг. Хаустов обиделся, почти перестал посещать редакцию.

«Окопная правда» произвела огромное впечатление. Не только в Новоладожском полку, но и в других полках дивизии, корпуса, да и за его пределами. Только и было разговору что про газету («наша»... «солдатская»... «что уж верно, то верно: окопная...»). В Петрограде ее тоже заметили. 17 мая «Правда» сообщила: «...на фронте начала выходить «Окопная правда»... Особенно приятно отметить, что по всем вопросам текущего момента (война, братание, коалиционное министерство) «Окопная правда» заняла ту позицию, которую занимает «Правда»».

Но эта похвала была, так сказать, авансом на будущее. Мы — Сиверс, Васильев, я — с огорчением видели, что газета не во всем выдержанна, что иногда проникают на ее страницы и сырые, плохо отредактированные материалы, порой политически не во всем точные. Сказывалась и наша неопытность.

Особенно отчетливо я понял наши промахи, когда в июне ненадолго приехал в Петроград. Цель поездки — повидать В. И. Ленина, рассказать о положении в XII армии, о наших сражениях с эсеро-меньшевистским Искосолом, услышать советы. (Мы в своей армей-

ской организации наивно думали, что у Владимира Ильича есть время для встречи с каждым приезжим фронтовиком.) В особняке Кшесинской сказали, что Ленин очень занят и со мною побеседует Свердлов.

С первых слов стало ясно, что он знает «Окопную правду», если и не читает ее регулярно, то во всяком случае просматривает.

— Что вы там местничаете? — укоризненно спросил Яков Михайлович. — Все сплошь заполняете местным материалом!

— Мы и про общее пишем.

— Пишете, да недостаточно. Надо местные вопросы сочетать с общеполитическими. — Он протянул мне сводку ПТА<sup>1</sup>. — Вот здесь материал об английском поселе Бьюкенене, обработайте применительно к вашим условиям<sup>2</sup>. Но (Свердлов улыбнулся) не ругайтесь, как извозчики. Поищите пишущего человека, а то у вас язык суконный. — Затем дружески дотронулся до моего плеча: — Мы знаем ваши силы. В общем неплохо получается — работайте!

«Мы знаем ваши силы...» Нашей силой были солдаты. Упомяну некоторых, хотя не все фамилии помню.

В Новоладожском полку отыскиались четыре наборщика, два печатника. Их откомандировали в наше распоряжение. Это была добрая подмога, потому что «Окопной правде» досталась типография маломощная, примитивная, приспособленная для изготовления афиш, рекламных объявлений. В экспедиции тоже работали солдаты — Иванов, Кириллов, Тимофеев; вскоре мы перевели их в редакцию, поручили разбор солдатских писем. Само собою получилось так, что Васильев, Сиверс, Гразкин оказались самыми «опытными» редакторами. А ведь газета, как я уже говорил, была не единственной нашей заботой. День мы (особенно я) отдавали массово-политической и организаторской работе в войсках, а ночь — газете...

---

<sup>1</sup> ПТА — Петроградское телеграфное агентство.

<sup>2</sup> На основе этих материалов ПТА мы написали и поместили в «Окопной правде» статью «Царь Бьюкенен первый». Заглавие отражало суть темы. Английский посол довольно бесцеремонно вмешивался в политику Временного правительства, требовал активизации действий русской армии против германской. До этого он так же вмешивался в дела правительства Николая II, участвовал в дворцовых интригах, короче: чувствовал себя в России как дома. Бьюкенен способствовал контрреволюционному заговору генерала Корнилова, а в годы гражданской войны проявил себя оголтелым вдохновителем интервенции.

Но вот пришло подкрепление в лице большевиков-интеллигентов. Пришло, правда, не сразу.

Первым, кажется, появился К. И. Римша. Подпольщик, недавний студент-медик, Римша много помог редакции и армейской большевистской организации, но пробыл у нас сравнительно недолго (вскоре после VI съезда партии, на который его делегировали большевики нашей армии, он получил другое назначение)<sup>1</sup>. Позднее, осенью, приехал из Петрограда Семен Нахимсон. Он был старше нас, участвовал в первой русской революции, извдал аресты и тюрьмы, был заочно приговорен к смертной казни, провел годы в эмиграции, где работал и учился, сотрудничал в «Правде» (в 1912—1913 годах). В XII армии он был назначен комиссаром всех латышских стрелковых полков, активнейшим образом проявил себя в армейской организации большевиков, в «Окопной правде»<sup>2</sup>. Из молодого пополнения пазову Р. А. Ковнатор. Петроградская студентка, член партии с 1917 года, она приехала в Ригу к родным на летние каникулы. Но какой отдых мог себе тогда позволить революционер! Студентка явилась к нам в редакцию. Пользуясь нынешней классификацией, скажу, что Ковнатор исполняла обязанности литсотрудника и в значительной мере повысила литературный уровень газеты<sup>3</sup>.

В дальнейшем лишь вскользь буду касаться «Окопной правды»; читатель, желающий подробнее ознакомиться с этой газетой, может обратиться к моей книге «Окопная правда» (вышла в Москве в 1958 году).

---

<sup>1</sup> После Октябрьской революции К. И. Римша некоторое время работал в вильнюсском большевистском подполье, затем был в Красной Армии, позднее — в органах здравоохранения, в годы Великой Отечественной войны — военный врач. Скончался он в 1950 году.

<sup>2</sup> С. М. Нахимсон после Октябрьской революции работал в войсках Северного фронта, затем был председателем губисполкома в Ярославле, где в 1918 году во время контрреволюционного мятежа был расстрелян белогвардейцами.

<sup>3</sup> В 1964 году Политиздат выпустил воспоминания Р. Ковнатор «Первые годы». В книге есть такие строки о Д. И. Грязкине: «Опытный подпольщик, он играл заметную роль в большевизации XII армии. Запятый в ту пору общеармейскими делами, он, однако, теснейшими узами был связан со своим детисцем — с «Окопной правдой», входил во все детали ее практической и идейной работы, вносил в редакцию большое оживление. Он ярко и образно рассказывал о событиях в армейских организациях, о построениях в разных полках и т. д.» — *Прим. ред.*



В середине мая состоялась конференция большевистской организации XII армии. Конференция избрала бюро Военной организации РСДРП(б); в него вошли также и мы трое: Васильев, Сиверс и я. В первое время наша армейская организация действовала под руководством Рижского комитета, а когда ячейки возникли и в частях, расположенных далеко от Риги,— под руководством ЦК Социал-демократии Латышского края (ЦК СДЛК). Одновременно мы держали тесный контакт со Всероссийским бюро военных большевистских организаций («Всероссийской военной»). В связи с этим то Васильев, то Сиверс, то я наведывались в Петроград.

В мае в качестве делегата от солдат-крестьян 109-й дивизии я приехал в Петроград на Всероссийский съезд крестьянских депутатов. Подавляющее большинство его участников — эсеры и другие соглашатели. Членов нашей партии было всего девять, в их числе М. В. Фрунзе. Он организовал группу из четырнадцати беспартийных делегатов, которые поддерживали нашу фракцию.

Первый бой мы дали в момент торжественного открытия съезда, когда в зал помпезно внесли на руках Брешко-Брешковскую, «бабушку русской революции», как рекламировали эту старую эсерку, стоявшую на крайнем правом крыле партии социалистов-революционеров и настроенную не по годам воинственно. Я взял слово и подверг резкой критике политику Временного правительства, продолжающего империалистическую войну, и заявил, что эсеры еще дойдут до расстрелов рабочих. Эсеры были взбешены, попытались силой вывести меня из зала. Я пригрозил револьвером. (Замечу, что в кулуарах я чуть было не пристрелил какого-то эсера, который, схватив меня за горло, иступленно орал, что я-де немецкий шпион, на немецкие деньги выпускаю «Окопную правду».) В связи с инцидентом было принято постановление съезда: с оружием на заседания не являться. Между прочим, некоторые буржуазные газеты, пугая обывателей, сообщили, что «выступал большевик с винтовкой».

Еще один инцидент произошел во время шествия на Марсово поле к братским могилам жертв революции. Руководители съезда предложили делегатам построиться под знаменем с эсеровским призывом «Земля и воля». Большевистская фракция и примыкающая к ней группа беспартийных подняли красное знамя:

«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Как только мы вышли на улицу, эсеры пустили в ход кулаки. Несколько человек во главе с Авксентьевым (один из эсеровских лидеров) угрожающе потребовали, чтобы мы шли с «общей» демонстрацией. Мы, конечно, не желали расстаться со своим знаменем. Тогда «столпы демократии» начали силой вырывать из наших рук знамя. Произошла свалка. Мы решительно отказались участвовать в такой демонстрации и отправились во дворец Кшесинской, где тогда находился Центральный Комитет РСДРП (б).

Крестьяне с нетерпением ожидали появления Ленина. Еще до того, как он выступил на съезде, большевистская «Солдатская правда» напечатала его «Открытое письмо к делегатам Всероссийского съезда крестьянских депутатов»<sup>1</sup>. Владимир Ильич с присущей ему четкостью анализа обнажил три главных вопроса, которые разделяли позиции большевиков и эсеро-меньшевиков. То были вопросы о земле, о войне, об устройстве государства.

В ленинском письме было сказано, что по первому вопросу большевики советуют крестьянам, не дожидаясь Учредилки, немедленно брать всю землю, не платя помещикам никакой арендной платы, брать землю возможно более организованно, не допуская порчи имущества и прилагая все усилия к увеличению производства хлеба и мяса. Второй вопрос: большевики, партия сознательных рабочих и беднейших крестьян считают войну, которую продолжает Временное правительство, захватнической, преступной и добиваются скорейшего окончания этой войны посредством свержения капиталистов, рабочей революции во всех странах. И третий вопрос: рабочие и крестьяне — большинство населения, власть должна быть у них, а не у помещиков и капиталистов, власть должна принадлежать Советам.

Владимир Ильич приехал на съезд 22 мая. Накануне мы постарались возможно шире распространить среди делегатов «Открытое письмо». Рядовые делегаты ожидали Ленина с великим нетерпением, руководители съезда — с беспокойством. Эсеры намеревались сорвать выступление Ленина. Мы разделились на три группы: двое последовали за ним на сцену, трое стали около трибуны, остальные заняли места в зале и тоже были готовы защитить нашего вождя.

<sup>1</sup> См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 32, с. 43—47.

Председательствовавший Авксентьев объявил, что слово предоставляется Ленину. Самые заядливые эсеры заорали: «Он не делегат! Не делегат!», «Не давать слова!» Председатель тряс колокольчиком. Крестьяне, желавшие узнать от Ленина о взглядах большевиков, заволновались и напустились на крикунов. В зале уже наступила тишина, а Авксентьев все размахивал колокольчиком, пока из зала на него не цыкнули.

Владимир Ильич спокойно сказал: верно, он не делегат, но фракция большевиков на этом съезде уполномочила его изложить точку зрения своей партии на аграрный вопрос. Пытаясь, видимо, дать сигнал к новой волне обструкции, какой-то эсер завопил: «Вот вам Ленин землю даст!» Нас восхитила мгновенная реакция, с какой Владимир Ильич ответил демагогу:

— Да, мы, большевики, предлагаем крестьянам брать землю сейчас же, немедленно, не дожидаясь Учредительного собрания, или хотя бы запахать ее на один год.

Далее Ленин объяснил, как осуществить это требование большевистской партии. Эсеры, «радетели мужика», словно бы поперхнулись. Ленин продолжал речь, и настроение в зале менялось. Лица эсеровских заправил вытянулись. Делегаты-крестьяне, которые по недоразумению и политической наивности считали себя эсерами, восклицали: «Правильно!», «Мы и сами так думаем!»

Согласно регламенту, после этой речи следовало обсудить и принять резолюцию по аграрному вопросу. Но выступление Владимира Ильича привело к столь очевидному перелому в настроении делегатов, что президиум поспешно объявил перерыв, даже не упомянув об очередном заседании. Затем эсеры вообще не собирали съезда, а убивали время в отчаянной кулуарной агитации за свою резолюцию.

Мы, члены большевистской фракции, старались повсюду попевать и чуть ли не срывали голосовые связки, отстаивая и обосновывая свою точку зрения.

Через два дня, чувствуя, что «теперь можно», президиум созвал очередное заседание, не оповестив об этом всех делегатов (тоже не случайно!). Собралось только несколько сот человек. Мы протестовали — нет кворума. Но по указке президиума заседание объявило себя правомочным. Таким путем эсеры протащили резолюцию, одобряющую политику буржуазного Временного правительства.

В. И. Ленин приходил к нам во фракцию (уже после своей речи). Мы просили высказаться по поводу дальнейшей нашей работы в армии. Беседуя с нами, характеризуя текущий момент, Владимир Ильич просил разъяснить солдатам смысл его открытого письма к крестьянскому съезду, то есть взгляды большевистской партии по вопросам войны, земли, государственного устройства России. К сожалению, помешал какой-то иностранный корреспондент. Он взялся интервьюировать В. И. Ленина.

Возвратившись в армию, я привез ленинское «Открытое письмо», и мы развернули усиленную пропаганду его, а равно и речи Владимира Ильича на съезде крестьянских депутатов. Пропаганду эту вели мы и со страниц «Окопной правды», и в устных выступлениях.

## 28

---

**Растет численность армейской организации РСДРП(б).— Клеветы контрреволюционеров и социал-шовинистов.— Волна репрессий.— Сиверса выманивают из полка и отправляют в петроградскую тюрьму.— «Визит» к командиру корпуса.— Июльские события.**

Нам предстояло привлечь на сторону большевистской партии возможно более широкую массу солдат, а лучших — в ее ряды.

При создании большевистских организаций не обходилось порою без курьезов. Опишу один из них. Я поехал в 80-й Сибирский полк. Захожу в землянку, отведенную солдатскому комитету, и застаю там какое-то собрание. Спрашиваю, есть ли здесь кто из большевиков.

— Да здесь все большевики! — ответил один солдат.

В землянке было не менее тридцати человек, а мы и не знали, что в 80-м полку такая многочисленная ячейка. Председатель, члены президиума собрания подтвердили: все большевики! Из дальнейшего, однако, стало ясно, что это не так. Тогда я разъяснил (слушали внимательно): сочувствовать большевистской партии не значит быть ее членом, состоять в партии может тот, кто признает ее программу и устав, кто сознательно и дисциплинированно проводит ее политическую линию. В ответ слышу:

— Давайте вашу программу и устав. Все запишемся.

Договорились избрать инициативную группу, она начнет запись в РСДРП (б) по ротам, потом соберет записавшихся, и они выберут полковой партийный комитет.

Послышалось возражение:

— Это зачем выбирать? Мы и есть полковой комитет.

Пришлось опять объяснять:

— Полковой комитет солдатских депутатов — это одно, он представляет всех без исключения солдат этого полка, а полковой партийный комитет — это другое, он объединяет только партийных товарищей, а они, партийные, должны в политическом отношении быть единомышленными, вести за собою солдатскую массу.

Этот эпизод показывает, какими наивными были представления о партии многих, даже революционно настроенных, солдат. В дальнейшем «Окопная правда» стала помещать материалы о партийной организации.

Так изо дня в день мы собирали силы, вербовали в партию верных революции людей. В некоторых полках были созданы партийные комитеты, во многих других и на батареях — партийные группы. Точная регистрация членов партии не велась, но мы в середине мая считали, что число большевиков в XII армии уже перевалило за полторы тысячи, а к началу июля — за три тысячи пятисот. К сожалению, списки не сохранились. Одни пришлось сжечь в июльские дни, другие уничтожить в те дни, когда контрреволюционное командование сдало Ригу немцам.

Увеличение численности большевистских организаций и усиление их влияния на солдатскую массу не могли не вызвать ярости как командования, так и поддерживавшего его Искосола. Нас травил эсеро-меньшевистская и буржуазная печать. На большевиков посыпался и град репрессий, особенно после того, как на Северный фронт пожаловал «сам» Керенский, военный министр. В некоторых частях его встретили либо угрюмым молчанием, либо протестами. А в одном сибирском полку какой-то солдат сказал:

— Правительство должно скорее заключить мир...

Солдат хотел продолжить, но министр-«социалист» оборвал его и «наполеоновским» жестом бросил командиру полка:

— Завтра же отдайте в приказе, что этот солдат изымается из рядов доблестной русской армии. Пусть отправляется домой, но все узнают, что он трус.

Ригу наводнили части, верные правительству. Солдату Новоладожского полка нельзя было появляться на улице: на него набрасывались, срывали погоны, даже пытались бить. Из рук газетчиков выхватывали и остервенело изничтожали номера «Окопной правды». Командование намеренно не пополняло революционные полки, не снабжало их вооружением и боевыми припасами. Пришел приказ: перевести 109-ю дивизию на передовую. Расчет был такой: солдаты откажутся, и тогда их обвинят в «измене», в «большевистском духе». Действительно, солдат дивизии возмущало, что их нагло лишают положенного обмундирования и оружия; многие говорили: «В таком виде не пойдем на передовую». Мы развернули агитацию и переубедили солдат, а командованию предъявили резкие требования.

Вскоре начались аресты. Производились они «втихую», чтобы не привлечь внимания солдат. Так выманили из дивизии, затем арестовали наших товарищей Ивана Виша и Жука, из 11-го особого полка — капитана Сабецкого, из 70-го Сибирского — врача Глейзера.

Следующим звеном в цепи репрессий был арест Сиверса. Сами обстоятельства ареста свидетельствовали, насколько неуверенно чувствуют себя контрреволюционеры, какой страх испытывают перед солдатской массой. Взять Сиверса в полку не решились, а вызвали в Псков якобы для вручения там боевой награды. В качестве спутников, а на самом деле конвоиров поехали еще два офицера. Им приказали ни на минуту не оставлять Сиверса одного. Сначала поехали в штаб корпуса, оттуда в Псков, в штаб фронта, где и арестовали.

Я кинулся разыскивать офицеров-конвоиров. Выяснилось, что их откомандировали в другую часть, чуть ли не на другой фронт. У нас были повсюду друзья, они-то и сообщили, что оба офицера еще в Риге, и дали адрес. Я немедленно отправился. Захожу в комнату — денщики торопливо суют вещи в чемоданы...

— Куда, — спрашиваю офицеров, — отвезли Сиверса?

— В Псков, в штаб фронта, — отвечает один сквозь зубы.

— А что было дальше?

— Не знаю.

Я потребовал подробностей. Тут-то они мне и рассказали: сначала начальство велело сопровождать Сиверса, не оставляя одного, в штаб корпуса, в штабе им

двоим вручили пакет для начальника штаба фронта и снова напомнили, как вести себя.

— Значит, вы знали, что везете Сиверса как арестанта?

Офицеры стали клясться «честью», что не знали этого.

— Почему же,— спрашиваю их,— вы бежите из полка?

Ветер прихлопнул входную дверь. Офицеры, вздрогнув, выхватили револьверы.

— Не бойтесь! — сказал я. — Таких людишек, как вы, никто не арестует. Можете бежать, без вас в полку воздух будет чище!

Теперь — «визит» к командиру корпуса Болдыреву. Войдя в его кабинет, спросил, где Сиверс.

— Я отвечаю только старшим по службе.

— А я пришел от имени солдат. И не советую вам с ними ссориться.

Болдырев помолчал и... стал ссылаться на «секретность» дела, на то, что он «по-солдатски» исполняет свой долг.

— Будем,— говорю,— откровенны: и вы, и командование армии просто побоялись арестовать Сиверса в полку. Побоялись!

— Ну, если и так, то существо дела не меняется.

— Но ведь это ж не по-рыцарски. Впрочем, что спрашивать с тех, кто, называя себя «солдатом», не брезгает быть жандармом!

Позднее мы узнали, что и в Пскове Сиверса не оставили, а отправили в Петроград, в «Кресты». Оттуда мы получали его письма. В одном письме (от 22 сентября) он, в частности, писал: «Вчера, наконец, я получил от вас первое известие после рижской августовской катастрофы (Сиверс имел в виду изменническую сдачу командованием Риги.— Д. Г.): вы все или, вероятно, почти все высоко держите наше знамя... Глубоко сожалею, что не могу быть сейчас в ваших рядах. Арестованный по приказу изменника генерала Клембовского, я был передан в руки контрреволюционной прокуратуры, которая наворотила мне кучу статей...» Письмо заканчивалось так: «Желаю вам успеха. Я мысленно всегда с вами в борьбе против векового врага. Смерть или победа! Да здравствует свободный русский народ!»

В течение трех недель (3—24 июня) заседал I Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. Большинство делегатов принадлежало к партиям

эсеров и меньшевиков. На воскресенье 18 июня руководители съезда назначили в Петрограде демонстрацию. Эсеры и меньшевики полагали, что раз съезд подавляющим большинством принимает оборонческие резолюции, то и демонстранты окажутся на их стороне. Не тут-то было! Соглашатели, оторванные от массы, явно не знали ее настроения. На улицы и площади столицы вышло полмиллиона человек, и, как мы с радостью узнали, все они, за малым исключением, шли под большевистскими знаменами, провозглашали лозунги большевиков: «Вся власть Советам!», «Долой 10 министров-капиталистов!», «Ни сепаратного мира с немцами, ни тайных договоров с англо-французскими капиталистами!»

По примеру петроградских оборонцев, Искосол XII армии затеял демонстрацию в Риге, надеясь провести ее под знаком поддержки буржуазного Временного правительства. Однако бюро Военной организации РСДРП (б) тоже готовило силы. Разузнав о нашей активной работе, Искосол неожиданно отменил демонстрацию. Но она все же состоялась и прошла под большевистскими лозунгами. На передовой позиции демонстрации, конечно, не могло быть; там наши товарищи устраивали собрания, а принятые ими резолюции мы печатали в «Окопной правде».

Из литературы достаточно хорошо известны события, происшедшие 3 и 4 июля в Петрограде. Снова состоялись уличные шествия, по призыву большевиков они носили мирный характер. Но контрреволюционеры перешли в наступление, расстреливали безоружных манифестантов.

В развитии революции произошел крутой перелом. Как разъяснил В. И. Ленин, двоевластие в России кончилось, в решающих пунктах верх взяла контрреволюция, из-за измены меньшевиков и эсеров мирный переход власти в руки Советов уже невозможен.

Временное правительство обрушилось с репрессиями на большевистскую партию. Ленин ушел в подполье. «Правда» была разгромлена (она стала выходить под другими названиями). Многих большевиков бросали в тюрьмы.

Ленин обосновал новую тактику, которой впредь следовало придерживаться. Надо было временно снять лозунг «Вся власть Советам!», потому что продолжать настаивать на нем в изменившейся обстановке значило призывать массы верить данным Советам, которые преданы меньшевиками и эсерами. Предстояло готовить



массы к вооруженному восстанию, сочетая легальные и нелегальные формы работы. Мы по-прежнему боремся за Советскую власть, предвидя — на это тоже указывал Ленин, что состав Советов изменится, Советы станут большевистскими.

Внимательно следя за всем, что происходит в центре, мы в XII армии перестраивали свою работу в соответствии с указаниями Ленина, Центрального Комитета.

Напряженное положение создалось и в нашей армии. Ежедневно, даже ежечасно мы ждали какой-нибудь провокации и решили прежде всего всемерно усилить так называемый Левый блок, созданный нами еще весной.

Сохранились некоторые документы тех дней, в частности протокол совещания «объединенных русских и латышских стрелковых и армейских полков» от 11 июля. Протокольная запись начинается так: «Совещание открывает тов. Гразкин в 4 часа дня в присутствии представителей следующих полков...» Затем названы 23 полка (в том числе латышские стрелковые) и другие подразделения. Порядок дня был такой: доклады с мест; о реорганизации Искосола на демократических началах; о противодействии репрессиям над революционными полками и их комитетами; петроградские события; о войне; о государственной власти и другие. В протоколе зафиксировано, что собрание удовлетворило просьбу представителя Искосола (им был меньшевик) присутствовать на заседании. Пусть побудет, нам скрывать нечего!

Цитирую протокол: «Из докладов выясняется, что настроение на местах в смысле боеспособности бодрое и уверенное, но не настроено «наступательно»; но если за наступление окажется большинство, то оно будет поддержано». Это очень важное место. Командование и подпевавшие ему социал-шовинисты, клеветца на большевиков, утверждали, будто бы мы «разлагаем» армию. А представители полков заявляли, что никакого «разложения» нет, полки боеспособны, если большинство армии пойдет в наступление, не подведем товарищей, хотя сами по себе не намерены наступать, чтобы капиталисты и помещики продолжали наживать на нашей крови.

Еще в протоколе было записано, что, как «далее выяснилось из докладов», со стороны командования или Искосола то и дело сыплетя на революционных солдат «целый ряд клевет о развале» и т. п. Выступавшие не

могли предположить, что «лазутчик» Искосола, вернувшись с собрания, сам с ходу включится в травлю большевиков. «После оживленных дебатов», записал секретарь, было постановлено: многие действия Искосола резко расходятся «с настроением большинства солдатских масс», поэтому потребовать быстрейшего армейского съезда, чтобы реорганизовать Искосол «на чисто демократических началах»<sup>1</sup>.

Собрание продолжалось и 12 июля. Пришлось затяться еще одним вопросом. В вышедшем в тот день номере оборонческой газеты, редактором которой был Хараш (тот, что накануне присутствовал от Искосола на нашем собрании), появился пасквиль, обвинявший Левый блок в «раскольничестве». Мы приняли резолюцию протеста «против недостойной клеветнической борьбы», ведущейся Искосолом.

В середине июля получили тревожное сообщение: командование, в согласии с Искосолом, решило расформировать два сибирских полка. Эта акция была опаснее, нежели отдельные аресты. Частям, которым вменили в обязанность расформировать и разоружить два полка, объявили, что эти два полка самовольно якобы оставили позиции и оголили фронт.

Оперативная комиссия Левого блока<sup>2</sup> приняла незамедлительные меры. Солдаты обоих сибирских полков были приведены в боевую готовность; договорились с артиллеристами, чтобы в случае пужды поддержали товарищей сибиряков; выставили дозоры, которые должны были встретить «усмирителей», а в засаде близ лесочка разместили батальон Новоладожского полка. Одновременно послали навстречу «усмирителям» парламентаров, опи-то и разъяснили обманутым солдатам истинное положение дел. Парламентарам, правда, сначала не поверили, но тут вышел батальон новоладожцев и заявил наступавшей части, что она окружена.

---

<sup>1</sup> См.: *Грязкин Д. И.* Окопная правда, с. 140, 141.

<sup>2</sup> После июльских событий был образован постоянно действующий президиум Левого блока и при нем комиссии. Председателем двух комиссий избрали меня — организационной, на которую возложили вовлечение в Левый блок новых частей, и оперативной — для выработки мер против контрреволюционных выступлений. Учитывая создавшуюся обстановку и важность принятия безотлагательных решений, было признано из состава редакционной коллегии «Окопной правды» выделить ответственного редактора газеты. Им был назначен тоже я.

Провокация лопнула. Сибирские полки расформировать не удалось. Командующий армией после такого финала был смещен.

20 июля в Риге состоялась армейская конференция большевиков. На ней присутствовало 400 делегатов. Ввиду создавшейся обстановки конференция постановила создать два комитета Военной организации РСДРП(б) — один легальный (председатель Гразкин), другой нелегальный, на случай перехода в подполье (председатель Римша). Меня знали во многих полках, было бы неразумно назначать меня в нелегальный комитет, зато Римша — человек у нас новый, в XII армии сравнительно мало кому знаком в лицо. В случае ареста старых товарищей он смог бы незамедлительно возглавить организацию. Арестов же мы ждали со дня на день.

## 29

---

**Разгром «Окопной правды». — Выпускаем «Окопный набат». — Контрреволюционеры сдают Ригу немцам. — Большевистски настроенные полки преграждают неприятелю дорогу на революционный Петроград. — Подавление корниловского мятежа.**

21 июля, ближе к полуночи, многочисленный отряд казаков во главе с прокурором Рижского окружного суда занял здание, в котором помещалась наша газета. Начался обыск в редакции, в типографии, в экспедиции. Обыскивали по всем правилам бывшего жандармского искусства — со взломом шкафов и столов, с изъятием статей, писем, чековых книжек.

На следующий день оборонческий «Рижский фронт» восторженно сообщил, что редактор и сотрудники «Окопной правды» будут «привлечены к ответственности по 108-й статье Уголовного уложения». Прочитал сообщение и подумал: дивные дела творятся на белом свете! При императоре Николае меня с товарищами судили по делу о тайной большевистской типографии, а нынче, при «социалисте» Керенском, собираются судить по делу о легальной большевистской газете...

Однако не боялись большевики царя, не испугались и Керенского. После разгрома «Окопной правды» мы (заранее подготовились!) начали выпускать «Окопный

набат». В первом его номере поместили «Приветствие старшему товарищу», то есть центральному органу РСДРП (б), нашей родной, боевой «Правде», продолжавшей выходить под новыми названиями. В приветствии, в частности, говорилось: «...искра сомнения никогда не закрадывалась нам в душу. Наша преданность революции непоколебима».

«Окопный набат» продолжал линию «Окопной правды». В газете, как и в организационно-партийной, массово-политической работе, мы стремились повседневные практические задачи связывать с общими задачами, стоявшими перед партией, рабочим классом. С начала августа программой наших действий стали решения VI съезда РСДРП (б), наметившего курс на вооруженное восстание.

«Окопный набат» сразу завоевал популярность. Солдатам не надо было даже объяснять, что это та же «Окопная правда», но под другим названием.

Продолжение большевистского армейского издания равнярило наших политических врагов. Командующий Северным фронтом предложил «принять решительные меры». Но повторить погром было не так-то просто. Удушение «Окопной правды» вызвало гневный протест солдат 23 пехотных полков, артиллерийских и других частей XII армии. При таком настроении солдатских масс командование армии не осмелилось тотчас разгромить «Окопный набат».

Контрреволюционеры вынашивали планы, куда более коварные и опасные. Первым в этом плане значилось сдать немцам Ригу и тем самым открыть неприятелю дорогу на революционный Петроград. Они намеревались воспринять опыт французских контрреволюционеров, которые в 1871 году прусскими штыками подавили Парижскую коммуну.

Вечером 18 августа среди солдат поползли тревожные слухи: немцы сосредотачиваются на левом берегу Западной Двины, напротив нашего Иксюльского предместного укрепления. Собственно говоря, такого укрепления уже не существовало, потому что еще 10 июля командующий Северным фронтом приказал уничтожить его по причине якобы «стратегической невыгодности». Тогда же, в июле, представители большевистской организации на заседании Искосола обличали командование в подозрительных действиях. Но эсеры и меньшевики, как на поводке, бежали вслед за генералитетом и твердили:

— Подумаешь, «укрепление»! Четыре болотистые версты! Берег низкий, местность нездоровая, солдаты там болеют...

— Берег, — возражали мы, — не такой уж низкий и сырой — раз. Мы вовсе не считаем его неприступной крепостью — два. Но поймите вы, что укрепление важно в качестве форпоста. Пока немцы будут здесь драться, можно подтянуть наши войска.

Эсеры и меньшевики отмахивались от наших протестов.

И вот вечер 18 августа. С часу на час немцы перейдут в наступление, а Икскюльское предместное укрепление сровнено с землей.

Что делать? Мы экстренно собрали бюро Военной большевистской организации. Пришли на заседание лишь те, кто находился в Риге, ждать остальных обстановка не позволяла. Сведения, которыми мы располагали, привели нас к таким выводам и решениям. Вряд ли в боевой обстановке, да при враждебном к нам отношении командования, удастся поддерживать регулярную связь между большевиками разных дивизий и полков. Следовательно, организациям надо будет проявлять самостоятельность и инициативу. Где это только возможно, большевики обязаны сами возглавить военный отпор немцам. Это, может быть, приведет и к действиям чисто партизанского характера. Пусть так, лишь бы ослабить напор немцев, обессилить их, задержать продвижение на Петроград.

Постановили: всем членам бюро немедленно отбыть в свои части. В Риге оставили одного члена бюро (теперь не вспомню, кого), чтобы он держал связь с партийными группами, информировал их о положении на фронте, подготовил эвакуацию имущества бюро и «Оконного набата».

Уехал я с тревогой в душе. Часть пути пришлось одолеть пешком — где дорогой, а где напрямик, через поля и кустарники.

Увы, 109-я дивизия уже отступила, а куда, разузнать я не смог. Зато разведка, что Новоладожский полк отходит по дороге, параллельной Митавскому шоссе. Я кинулся наперерез. Повсюду только и слышно было об оставлении Риги.

Догадал я только один батальон. Оказалось, батальоны (такой приказ им дали) отступали порознь. Остановил батальон и изложил точку зрения Военной большевистской организации на происходящее: большевики ре-

щительно против сдачи Риги, мы считаем это изменой, предательством, мы призываем солдат — русских и латышей — самоотверженно биться с неприятелем, проявить сознательность, мужество, стойкость во имя революции. Мои слова воспринимались сочувственно.

Никогда не забыть тяжелую картину, открывшуюся мне у плавучего моста через Западную Двину, у единственной переправы, по которой отходили наши части (железнодорожный мост не в счет, он был забит эшелонами). Все пространство вокруг было запружено солдатами. Я переходил от одной группы к другой, обращаясь к ним с призывом осознать опасность, противостоять натиску немцев, во что бы то ни стало сорвать наступление неприятеля, чьими руками враги хотят погубить нашу революцию. Такую агитацию большевики вели во многих частях.

Вблизи станции Загевольд я постиг солдат нашей дивизии и полка, а вот офицеров с ними почти не было. Посоветовавшись друг с другом, большевики-солдаты, поддержанные кое-кем из унтер-офицеров, решили организовать оборону. Я увидел одного знакомого офицера Новоладожского полка и предложил ему возглавить сформированный нами отряд. Тот согласился.

Вдоль железнодорожных путей, сплошь занятых подвижным составом, сновал и суетился какой-то унтер с погонями железнодорожных войск. Я ему крикнул:

— Почему держите составы?

Унтер устало огрызнулся:

— «Почему... почему...» Потому, что приказа нет.

— Вот я вам даю приказ: отправляйте цепочкой, один за другим. А не выполните — расстреляем.

Затем я собрал машинистов, предложил им двигать эшелоны, соблюдая интервалы между ними в сто сажен. Вскоре поезд за поездом стал уходить со станции, пробка была ликвидирована.

На станции остался сформированный нами отряд. Тут вдруг появились «смертники»: ярые старорежимники, сколоченные в специальные команды не столько для боевых действий против немцев, сколько для борьбы с русскими солдатами-революционерами. Распоряжаясь прибывшими офицер Великанов, раньше служивший в Новоладожском полку. Он предложил нам немедленно покинуть станцию, здесь-де останется его отряд. Командир «смертников» был страшно удивлен, когда я потребовал от него письменного приказа.

— Что-о-о! Это еще зачем?

— А затем, чтобы вы,— говорю,— и вам подобные не обогнали большевиков: вот, мол, они-то и оставили важный пункт.

Великанов помедлил, а потом написал приказ.

Не успели мы отойти, как нас трусой обогнали «смертники», они так спешили, что мы очутились в их арьергарде. Этот эпизод характерен для замыслов командования, решившего «подарить» Ригу немцам.

Упорнее всего и самоотверженнее сражались в те дни революционно настроенные полки — русские и латышские. Даже некоторые из злейших наших врагов вынуждены были признать, что стойкими и смелыми оказались части, в которых большевики задавали тон. Эти части понесли в боях значительные потери. Дорогой ценой германский вал был остановлен верстах в тридцати от Риги. Противники империалистической войны, сторонники демократического мира, мы, большевики, разоблачали оборончество меньшевиков и эсеров, боролись с ним и в то же время отражали попытки наших врагов использовать немецкие штыки для разгрома революции.

Рига была оставлена 21 августа. А через несколько дней вспыхнул корниловский мятеж.

Генерала Корнилова верхушка капиталистов и помещиков наметила в русские Бонапарты. В июле он был назначен верховным главнокомандующим, а теперь двинул в сторону Петрограда конный корпус, на который рассчитывал опереться, чтобы с его помощью утопить в крови революционный Питер. Как позднее выяснилось, поначалу Корнилов действовал заодно с Керенским. Но когда Корнилов потребовал ввести в столице военное положение, передать ему всю власть — военную и гражданскую, тут Керенский отвернулся от него, потому что и сам не прочь был стать единоличным диктатором.

Временное правительство во главе с Керенским, лидеры меньшевиков и эсеров растерялись. Только большевистская партия оказалась на высоте задач, выдвинутых сложным моментом. В самом Петрограде, в прилегающих к нему местностях, во многих других городах, во фронтовой полосе большевики подняли против контрреволюции массу рабочих и солдат. В расположении XII армии арестовали лазутчиков Корнилова. Были подготовлены к отправке в Петроград на защиту революции два полка, в том числе полк латышских стрелков.

Солдаты частей, обманутые заговорщиками, были распропагандированы большевистскими агитаторами и

отказались пойти против питерского рабочего класса и гарнизона. В считанные дни мятеж оказался ликвидированным.

Жизнь — лучший учитель. Корниловщина открыла глаза многим из тех, кто еще вчера не видел, какая угроза нависает над революцией, и эти люди стали отворачиваться от эсеров и меньшевиков, начали поддерживать большевистскую партию. Именно на те дни приходится начало полосы большевизации Советов.

Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов принял 31 августа резолюцию, предложенную фракцией большевиков. Отныне Петросовет стал оплотом нашей партии в борьбе за вооруженное восстание, за социалистическую революцию. 5 сентября на сторону большевиков перешел Московский Совет. То же происходило во многих других промышленных городах и поселках. Эти факты очень воодушевляли нас, армейских большевиков, удваивали силы. Ускорилось и революционное воспитание тех воинских частей и подразделений, где раньше верховодили соглашатели.

После сдачи Риги бюро Военной большевистской организации XII армии обосновалось в городе Венден. Прежде всего нам предстояло восстановить связи с дивизиями и полками, возобновить издание газеты. И то и другое, хотя и с трудом, удалось.

Вскоре собрали армейскую конференцию. Она сыграла значительную роль в сплочении и росте наших сил.

Некоторые товарищи считали, что, коль скоро большинство Венденской организации РСДРП(б) состоит из русских, незачем-де ей подчиняться ЦК социал-демократии Латвии. Мы были против такой позиции, которая могла бы повлечь отход от принципов пролетарского интернационализма.

Правильность нашей линии подтверждало письмо ЦК большевистской партии, датированное 20 сентября и подписанное Свердловым. В письме было сказано, что товарищи из ЦК РСДРП(б) ввели «разговор с товарищами из ЦК Латвии», что «было бы более желательным издание в Вендене «Окопного Набата», который в свое время уже приобрел местную популярность в рядах широких солдатских масс», что ЦК большевиков предлагает нам «сговориться с товарищами из ЦК Латвии» и предостерегает от какого-то ни было конфликта с ними. Письмо заканчивалось так: «...отсюда едет еще и т. Нахимсон, работавший здесь долгое время с нами. Во всяком случае, желательна единая организация. Надеемся,



что Вам удастся договориться и наладить работу как следует. Желаем всяческих успехов»<sup>1</sup>.

Как и предлагал Центральный Комитет РСДРП(б), всю работу армейской военной организации мы вели рука об руку с ЦК Социал-демократии Латвии.

ЦК большевиков прислал денег, без которых невозможно было бы возродить «Окопный набат». Средства выделил и ЦК СДЛ. 120 пудов бумаги пожертвовали нам рабочие ревельской писчебумажной фабрики.

В предоктябрьские недели мы распределили свои обязанности так: Нахимсон и я помимо редакторской ведут организаторскую, пропагандистско-агитационную работу в частях, Васильев постоянно работает в газете.

## № 0

---

**Приезд Антонова-Овсеевко.— Образование армейского военно-революционного комитета.— Оперативный план восстания.— Солдаты корпуса переходят на сторону Советской власти.— Занятие Валка.— Победа революции в XII армии.**

В середине октября в XII армию с поручением ЦК РСДРП(б) приехал член Петроградского военно-революционного комитета В. А. Антонов-Овсеевко.

В книге об «Окопной правде» я датировал его приезд 15 октября. Антонов-Овсеевко в своих воспоминаниях говорит, что это было после 17 октября. Он пишет, не ручаясь, впрочем, за хронологическую точность, что «должно быть, 17 октября» вечером он вместе с руководителями Всероссийской «Военки» Н. И. Подвойским и В. И. Невским был приглашен к В. И. Ленину на конспиративную квартиру. Разговор шел о конкретных шагах к вооруженному восстанию (встреча состоялась после исторических заседаний ЦК 10 и 16 октября). Ленин требовал точных ответов. В частности, он спросил про Северный фронт. Ему ответили (по-видимому, Антонов-Овсеевко), что, судя по докладу представителей фронта, там прекрасное настроение и можно оттуда ждать большой помощи. Но, чтобы знать точно, надо там побывать.

— Съездите, — сказал Ленин. — Нельзя медлить.

---

<sup>1</sup> Переписка Секретариата ЦК РСДРП(б) с местными партийными организациями (Март — октябрь 1917 г.). М., 1957, с. 44—45.

Антонов-Овсеевко пишет дальше, что «тем же вечером» (выходит, 17 октября? — Д. Г.) он отправился к Я. М. Свердлову доложить об указаниях Ильича, и Свердлов сказал:

— В Вендене как раз наша конференция. Липия ЦК вам известна. Задачи чисто практические. Чем больше сил дадут в Питер, тем лучше...

Конференция в Вендене, на которой Антонов-Овсеевко присутствовал и выступал, — собрание делегатов большевистских военных организаций и большевистских полковых солдатских комитетов. Детально обсудив обстановку в XII армии, собравшиеся единодушно решили: немедленно развернуть подготовку к активным революционным действиям.

Члены бюро Военной организации и другие ведущие партийные работники армии разъехались по частям. Условились, что каждый подробно ознакомится с расстановкой сил на месте, создаст тройки или выделит уполномоченных для подготовки данной воинской части к восстанию.

Все эти дни я находился в разъездах — из одного соединения в другое — и почти не бывал в Вендене. По предложению С. М. Нахимсона бюро Военной организации освободило меня от всех других обязанностей, чтобы я занимался только подготовкой частей к восстанию. Во главе Левого блока стал А. Г. Васильев, во главе бюро Военной организации — С. М. Нахимсон.

Еще в ночь с 16 на 17 октября мы образовали военно-революционный комитет XII армии. В него вошли товарищи из ЦК СДЛ, бюро Военной организации XII армии, бюро Левого блока, Исколастрела<sup>1</sup>, исполкомов Советов солдатских депутатов городов Венден, Юрьев, Вольмар, Искорада XII<sup>2</sup>.

Напряжение нарастало ежечасно. 20 октября в Вендене мы собрали представителей большевистских организаций, преимущественно тех, кто вошел в число троек или уполномоченных. Повестка дня: обсуждение плана подготовки воинских частей к восстанию. На следующий день, 21 октября, провели совещание представителей полков, входивших в Левый блок, с вопросом о поддержке революционных действий рабочих и солдат Петрограда.

<sup>1</sup> Исколастрел — Исполнительный комитет солдатских депутатов латышских стрелковых полков.

<sup>2</sup> Искорада XII — Исполнительный комитет Совета рабочих депутатов XII армии.

Но было и другое серьезное политическое дело — подготовка ко II Всероссийскому съезду Советов рабочих и солдатских депутатов. Социал-оборонцы, стоявшие во главе ЦИК, избранного I Всероссийским съездом, всячески оттягивали II съезд. Опасаясь оказаться на первом съезде в меньшинстве — а иначе и быть не могло, — они прибегали к разным махинациям, говорили, что надо сначала созвать Учредительное собрание (которое, однако, тоже оттягивали) и т. п. И по этим вопросам у нас развернулась борьба с Искосолом. Солдаты, находившиеся под влиянием большевистской партии — число таких солдат непрерывно увеличивалось, — требовали поскорее созвать съезд Советов. Даже в тех частях, которые Искосол считал «своими», произошел перелом. Например, за Искосолом долгое время шла 3-я особая стрелковая дивизия. Но вот 8 октября в ней состоялось расширенное заседание солдатского комитета, и оно, как тому ни противились представители Искосола, подавляющим большинством голосов приняло резолюцию, предложенную нашими товарищами.

Согласно плану вооруженного восстания, разработанному ВРК XII армии, полк латышских стрелков и батальон Новоладожского полка занимают город Валк, расквартированную там Ставку командующего XII армией, а в зависимости от обстоятельств и помещение Искосола. Другой батальон новоладожцев и полк латышских стрелков получили указание захватить Вольмар и в нем ставку командования резерва XII армии (то есть 43-го корпуса). Цель третьего батальона новоладожцев — станция Стакельн. Два полка латышских стрелков направлялись на Венден, овладев которым они должны были стать гарнизоном города и одновременно резервом ВРК.

Ревком паметил и очередность операций: сначала Венден, затем железнодорожная линия Стакельн — Вольмар, от которой зависело занятие Валка и штаба армии.

Вечером 25 октября солдат-связист принес нам копию телеграммы из Петрограда: началась социалистическая революция! Было уже поздно, и сообщение не удалось поместить в наших газетах «Латышский стрелок» и «Окопный набат».

Ночью состоялось экстренное заседание бюро Военной организации. Оно приняло обращение к XII армии: в Петрограде — пролетарская революция, поддержим и защитим ее.

По договоренности с ЦК СДЛ выпустили манифест военно-революционного комитета XII армии. Он заканчивался призывом к полному спокойствию и организованности и предлагал не исполнять приказов и распоряжений штабов о передвижении частей, если эти приказы не подписаны военно-революционным комитетом.

В противовес нам командование и Искосол разослали лживые телеграммы: большевики «пытаются» захватить власть в Петрограде, но солдаты и рабочие «против» большевиков. Кроме того, командование и Искосол предприняли было шаги к отправке на Петроград частей, которые могли бы поддержать Временное правительство. Но большинство солдат шли за военно-революционным комитетом.

Как член ВРК я получил задание возглавить операцию по захвату штаба резерва войск XII армии, расположенного в Вольмаре. Части, выделенные для этой операции, были мне знакомы, солдаты меня знали.

В Вольмаре я пришел в редакцию большевистской латышской газеты «Циня» (орган ЦК СДЛ), там, к своей радости, увидел товарища Янсон — большевичку, с которой встречался еще до Февральской революции. Она рассказала о последних новостях, о положении в городе, связала с Вольмарским партийным комитетом. Ночь провел в экспедиции типографии, а рано утром 28 октября направился в штаб корпуса.

Командир корпуса генерал Новов был удивлен, услышав мое предложение заменить комендантскую команду и местный гарнизон солдатами Новоладожского полка. Против самой замены он не возражал, но...

— Но почему новоладожцы? — недоумевал генерал. — Есть неплохие солдаты и в 110-й дивизии.

В этот момент кабинет заполнили офицеры. Начальник штаба корпуса вмешался в разговор:

— Все вопросы, касающиеся взаимоотношений с солдатами, мы решаем с корпусным комитетом, а не со случайными людьми.

Я сдержанно возразил:

— Думаю, вам хорошо известно, что я председатель полкового комитета и комитета 109-й дивизии.

— Но не корпусного комитета! — парировал начальник штаба и распорядился вызвать прапорщика Маковского.

Тот исполнял обязанности комиссара корпуса и считался фактическим председателем корпусного комитета. Из трех дивизий, составлявших корпус, 109-я была большевистской, две другие долгое время находились

под влиянием оборонцев. Позиция Маковского была очевидной, пререкаться с собравшимися — явно бесполезно, да и время не мог я тратить попусту. Опять обратился к командиру корпуса:

— Мы, революционные части войск, решительно настаиваем на замене комендантских частей Вольмара. Если не угодно принять наше предложение, пустим в ход силу.

Начальника штаба будто ошпарило:

— Да как вы смеете так разговаривать с командиром корпуса?! Мы вас арестуем!

— Попробуйте! — сказал я и удалился.

В Вольмарском комитете партии посоветовались и решили: надо потребовать созыва корпусного собрания. Одновременно я вызвал в Вольмар батальон новолодожцев. Товарищи из комитета обещали незамедлительно связаться с ЦК СДЛ и попросить полк латышских стрелков. Затем я позвонил в ВРК Нахимсону, рассказал о наших намерениях. Он их одобрил.

Маковский, к которому я пришел, отказался подписать телефонограмму насчет корпусного собрания. Прапорщик был растерян, денщик упаковывал чемоданы: комиссар Временного правительства, видать, готовился дать деру. Увидев на столе печать, я взял ее и оттиснул на заранее подготовленном тексте телефонограммы; Маковский развел руками, секунду помедлил и подписал.

Проследив за отправкой телефонограммы в части, я снова пошел к командиру корпуса. Меня сопровождали два товарища из городского комитета партии. Я им сказал:

— Вы подождите у штаба. Если через час не выйду, значит, арестовали. Тогда передайте в ревком, пусть направляют батальон для занятия штаба корпуса.

В кабинете генерала было полно офицеров. Я снова предложил заменить гарнизонные части Вольмара солдатами Новолодожского полка и положил на стол проект приказа.

Генерал оторвался от книги (я заметил: он читал «Былое и думы» Герцена), покосился на бумагу, перевел глаза на начальника штаба и промолвил:

— В конце концов, не все ли равно, какая часть...

Начальник штаба молча пожал плечами. Тогда командир корпуса протянул проект приказа дежурному офицеру:

— Исполните по форме и верните мне — подпишу.

29-го утром приехали делегаты частей на корпусное собрание. Примчался также один из руководителей Искосола — эсер Лихач. Я постарался оттянуть начало до прибытия нашего батальона. Пришлось, однако, открыть собрание. Лихач, другие оборонцы осыпали большевиков потоками брани. Они, в частности, «резвились» вокруг такого выдуманного ими тезиса: большевики подрывают обороноспособность России, открывают немцам дорогу в глубь страны.

.. Настроение собравшихся заколебалось. «Еще провалят нашу резолюцию», — подумал я.

В это время к штабу приблизился наш батальон. Зал заполнили новолодожцы. Теперь каждое слово демагогов и клеветников встречало громкий протест. Мы, большевики, поняли: пора кончать дискуссию.

Я сказал собравшимся делегатам (солдаты прибывшего батальона Новоладожского полка в голосовании, естественно, не участвовали):

— Вот, товарищи, перед вами две резолюции. Вы их слышали. Одна за то, чтобы поддержать происшедшую в Петрограде революцию. Она за мир, за землю народу, за Советскую власть. Кто за эту резолюцию, пусть выходит через левую дверь и ставит свою подпись. А кто против мира, против передачи земли народу, против Советской власти, пусть выходит через правую дверь и там ставит подпись. Подписывайте, как вам честь и совесть подскажут!

На собрании было двести с лишним делегатов. Тринадцать из них подписались под антисоветской резолюцией, остальные голосовали за Советскую власть. После этого переизбрали корпусный солдатский комитет. Список предложили большевики, и он прошел.

Генерал Новов согласился идти с солдатами и подписал соответствующий приказ.

Занятие Вольмара ревкомовскими (теперь уже можно было сказать: советскими) частями означало, что ставка командования XII армии по шоссе на дороге отрезана от линии фронта, а с занятием нами станции Стакельн — и по железной дороге. Осталось выполнить третью, завершающую часть плана — занять Валк.

В Вольмаре мы оставили роту новолодожцев, ее было достаточно для гарнизонной службы. Две другие роты, еще один батальон Новоладожского полка и Тукумский полк направились в Валк. Когда я туда прибыл, операция заканчивалась, ставка уже была в руках наших войск.

Я отправился в помещение Искосола, где второй день кряду длились речи: переливали из пустого в порожнее — правомерно или неправомерно Октябрьское вооруженное восстание.

Нужно было дело делать, а тут — говорильня. Мы предложили Нахимсону: давай-ка займем здание Искосола и выдворим говорунов-демагогов. Решили совершить все «по возможности гладко» и с этой целью ввести в здание две роты в четыре утра, когда лидеры Искосола почивают. Так и поступили. В здании расположились новолодожцы. Комендантом назначили большевика-латыша и наказали ему: без нашего пропуска никого не пускать.

7 ноября (по старому стилю) можно считать днем победы революции в XII армии.

Политические перемены мы подкрепили и организационными. Командующим XII армии назначен был генерал Новов. Председателем нового Искосола избрали Семена Нахимсона, он стал и комиссаром армии.

Я выехал в Юрьев, где председателем Совета был Римша. Нужно было помочь ему задержать эшелоны, двигавшиеся к Петрограду для поддержки Керенского. С этим мы довольно легко справились. Стоило только солдатам объяснить, куда и с какой целью их везут, как они отказывались следовать дальше. Я вернулся в Валк.

## 31

---

**Из Валка в Петроград.— Меня оставляют в столице.— Открытие Чрезвычайного Всероссийского крестьянского съезда.— Тактика большевистской фракции.— Репортаж Джона Рида.**

Итак, 7 ноября XII армия стала опорой Советской власти на Северном фронте. Еще через день я в качестве делегата от крестьян — солдат 109-й дивизии уехал в Петроград на II Всероссийский съезд крестьянских депутатов.

Я был уверен, что в столице пробуду недолго и, только съезд окончится, сразу без задержки вернусь в Валк. Так и товарищам сказал. И ошибся.

Еще шел съезд, как Я. М. Свердлов сказал мне:

— Придется, товарищ Гразкин, остаться в Петрограде. Решено поручить вам работу в Исполкоме крестьянских Советов.

Я опешил:

— А работа в армии?

— У нас там теперь прочно обосновался Нахимсон. Это опытный товарищ, надежный. Он уже хорошо знает положение дел. Да и его хорошо успели узнать, как вы думаете?

— Это,— говорю,— верно. Нахимсон пользуется доверием и уважением.

— Вот видите. Значит, все в порядке.— И Свердлов пожал мне руку, дав понять, что разговор окончен. Он вообще все делал быстро, не теряя лишнего времени. В этой его особености я потом не раз убеждался.

Но я забежал вперед. Надо вернуться к началу крестьянского съезда.

Нас, делегатов-большевиков, поджидали видные деятели партии. Запомнились мне В. И. Невский, Инесса Арманд, М. М. Харитонов, С. Гусев, В. Соловьев, Иванов (позднее был председателем Смоленского губисполкома). Первый же обмен мнениями подтвердил, что мы в XII армии были правы, предвидя сложную обстановку на съезде.

Мы знали, что Исполнительный комитет (ИК) крестьянских Советов всячески задерживает созыв II Всероссийского крестьянского съезда. Чем дальше развивалась революция, чем больший размах приобретали крестьянские восстания в стране, тем дольше оттягивал ИК предстоящий съезд.

Все же бесконечно тянуть ИК не мог, и тогда стал прибегать к махинациям, которые, как он предполагал, внесут сумятицу, неразбериху в местные крестьянские организации.

Раньше на места пошла телеграмма ИК: съезд назначен на 20 сентября в Петрограде. События нарастали, и телеграмма была отменена: съезд будет не 20 сентября, а 20 октября. Одновременно ИК затеял чехарду с нормами представительства. По одной директиве каждый делегат должен был представлять 150 тысяч человек сельского населения, по другой, во многом отменяющей первую, на съезд допускались только представители от губернских и от армейских крестьянских организаций, ни в коем случае не ниже. ИК страшился крестьянской и солдатской массы с ее ярким революционным настроением. Не представителей уездов и волостей, дивизий и полков хотел он видеть на съезде, а представителей верхушечных крестьянских организаций, которые от низов подалежке, да и по привычке к известным привилегиям.



Жизнь сокрушила намерения эсеров. То, чему они противились, сделала Советская власть.

II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов закончил работу под утро 27 октября. Несколькими часами позже состоялось первое заседание нового Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета (ВЦИК). В числе других самых неотложных вопросов он обсудил вопрос «о созыве в срочном порядке» Второго крестьянского съезда, образовал комиссию для подготовки съезда и назначил дату открытия: 9 ноября.

К 9 ноября из-за противоречивых и парочито сбивчивых директив «Авксентьевской Фонтанки»<sup>1</sup> в Петроград прибыло немногим больше ста делегатов. Исполком предложил: ограничиться совещанием, а съезд перенести на 30-е (опять перенести!). Совещание отклонило это предложение Исполкома. Оно отказалось также лишить права уездные и волостные Советы, дивизионные крестьянские комитеты послать на съезд своих представителей. Решено было открыть съезд, но так как делегатов было пока что действительно недостаточно, то именовать его не Вторым (очередным), а Чрезвычайным.

Съезд открылся 11 ноября. Делегаты между тем продолжали прибывать. По данным мандатной комиссии, 18 ноября на съезде присутствовало уже 335 делегатов, из них левых эсеров — 195, правых эсеров и эсеров центра — 65, большевиков — 37, членов других партий и групп, а также беспартийных — 33. Численно мы занимали третье место, зато первое по сплоченности и дисциплинированности, это всем сразу стало ясно.

Согласно партийной принадлежности, делегаты разбились на фракции. Председателем большевистской фракции избрали меня. В качестве такового я ездил в Смольный к Владимиру Ильичу, информировал его о том, что происходит на съезде, получал от него указания. Советы В. И. Ленина помогли успешной работе нашей фракции, гибкости и целеустремленности ее поведения.

Левые эсеры, оппозиционные к «Авксентьевской Фонтанке», и большевики составляли 70 процентов участников съезда. Такое соотношение сил диктовало нам соответствующую тактику. Коротко она выража-

<sup>1</sup> Исполком крестьянских Советов помещался на Фонтанке, председателем его был правый эсер Авксентьев. Отсюда и бытовавшее среди нас выражение «Авксентьевская Фонтанка».

лась в следующем: правых эсеров (и меньшевиков) беспощадно разоблачать, на левых эсеров — «давить», «жать», отделять их от правых, приближать к нам, к общей работе, служащей укреплению социалистической революции.

И в Народном доме, где началась регистрация делегатов, и на Фонтанке, 6, в здании, где при царизме помещалось аристократическое училище правоведения, а теперь находился крестьянский исполком и происходил наш съезд, и в Инженерном замке, в казармах которого мы почевали, — во всех этих местах, а также по дороге из «дома» на съезд и со съезда «домой» то и дело вспыхивали словесные перепалки.

Не все делегаты-большевики были достаточно искусными агитаторами и пропагандистами. Помогало нам печатное большевистское слово. Отмечу влияние «Правды». Мы ее раздавали делегатам. Революционный топ и революционное содержание газеты не могли не влиять. Например, номер от 9 ноября открывался набранной крупным шрифтом «шапкой» над всей первой страницей:

**«СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ ПРИСТУПИЛ СОГЛАСНО ВОЛЕ ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА СОВЕТОВ К ПЕРЕГОВОРАМ О МИРЕ И В ЭТИХ ЦЕЛЯХ ОФИЦИАЛЬНО ПРЕДЛОЖИЛ ПЕРЕМИРИЕ НА ВСЕХ ФРОНТАХ. ВСЕМ ПОСЛАМ ВРУЧЕНА НОТА РАБОЧЕГО И КРЕСТЬЯНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА, ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ ДУХОВИНУ ОТДАН СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПРИКАЗ.**

**ВЗДОХНИТЕ С ОБЛЕГЧЕНИЕМ, ТОВАРИЩИ СОЛДАТЫ,— ВАШИМ МУКАМ ПРИХОДИТ КОНЕЦ.**

**ПРИВЕТСТВУЙТЕ ПРИБЛИЖАЮЩИЙСЯ МИР, ТОВАРИЩИ РАБОЧИЕ! В НЕМ ЗАЛОГ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ГАЗУШАЮЩЕГОСЯ ХОЗЯЙСТВА.**

**ТОВАРИЩИ КРЕСТЬЯНЕ! МИР ВЕРНЕТ В ДЕРЕВНЮ ВАШИХ БРАТЬЕВ И СЫНОВЕЙ.**

**ДА ЗДРАВСТВУЕТ ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ МИР!**

**ДОЛОЙ ВСЕХ ТЕХ, КТО ПОПЫТАЕТСЯ ЕМУ ПРЕПЯТСТВОВАТЬ И ДЛИТЬ ПРЕСТУПНУЮ ВОЙНУ!»**

На делегатов-окопников подобные призывы действовали неотразимо. Как правило, такие делегаты приехали от дивизионных крестьянских комитетов.

Политическое значение съезда было огромным, и понятен интерес к нему всей тогдашней прессы — от большевистской до махрово контрреволюционной. Пришли на съезд и иностранные корреспонденты. Среди них был Джон Рид (вскоре под влиянием Октябрьской революции он стал коммунистом, одним из основателей Коммунистической партии США). Через год-два его имя стало

известно многим — в России и за границей, а в ту пору никто из нас его не знал.

События, которые Рид наблюдал, он старался рассматривать, и действительно рассматривал, «оком добро-совестного летописца, заинтересованного в том, чтобы запечатлеть истину»<sup>1</sup>. Запечатлел он также борьбу на крестьянском съезде и вокруг съезда.

У нас его книга впервые была напечатана в 1923 году. Я ее сразу прочитал. Особенно большое впечатление произвела на меня последняя, двенадцатая глава — «Крестьянский съезд». Рид пишет: «Огромный зал был набит шумной толпой. Глубокая, упорная вражда разделила делегатов на непримиримые группы. На правой стороне сверкали офицерские погоны, были видны патриархальные бородатые лица пожилых, более зажиточных крестьян, в центре было немного крестьян, унтер-офицеров и несколько солдат, слева же сидели почти исключительно рядовые солдаты. То было молодое поколение, служившее в армии». (Читаю и думаю: среди этих солдат и я сидел в левой части зала, я тоже принадлежал к молодому поколению, в войну взятому в армию, — за неделю до съезда мне исполнилось 26 лет.) Рид продолжает: «Галереи были переполнены рабочими, которые в России еще помнят о своем крестьянском происхождении...» (Читаю и думаю: не служи я в армии, тоже мог бы подпиться на галерку, сидеть среди рабочих, бывших крестьян-бедняков.)

Американский товарищ уловил характер раздоров — вражды, как он точно заметил, — разделивших съезд с первой же минуты. Он свидетельствует: «Почти весь первый день ушел на ожесточенные споры о том, допустить ли к участию в съезде представителей волостных Советов или только делегатов от губернских организаций. Но в конце концов, как было и на съезде рабочих и солдат<sup>2</sup>, подавляющее большинство высказалось за самое широкое представительство. После этого старый исполнительный комитет покинул зал заседаний...»<sup>3</sup>

Могу добавить, что старый исполком возмутился не только тем, что не прошло его предложение оставить на съезде делегатов лишь от верхушечных крестьянских организаций. Провалено было и его предложение предоставить право решающего голоса всем членам Исполко-

<sup>1</sup> Рид Д. 10 дней, которые потрясли мир. М., 1957, с. 13.

<sup>2</sup> Джон Рид имеет в виду II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов.

<sup>3</sup> Рид Д. 10 дней, которые потрясли мир, с. 237, 238.

ма, а их было несколько десятков. Большинство съезда постановило: предоставить право совещательного голоса.

Кстати, правые эсеры «хлопали дверью» не один раз. Например, 14 ноября была оглашена телеграмма нового Верховного главнокомандующего Крыленко, назначенного взамен смещенного Духонина. Из Ставки пришла телеграмма о начале переговоров о перемирии. Трудно описать, что творилось в зале. Рядовые делегаты, особенно солдаты, в едином порыве поднялись и стали кричать: «Ура!», «Да здравствует Интернационал!» Правые эсеры тоже встали со своих мест, но для того, чтобы... уйти из зала.

Если память мне не изменяет, это была их третья подобная демонстрация. Они потом возвращались под «благородным» мотивом: не хотим-де раскалывать съезд. Но имели они в виду другое: запугать левых эсеров. На тех такие фокусы действовали. Ведь, несмотря на значительные расхождения во взглядах, левые эсеры еще оставались в одной партии с Авксентьевым, Черновым и им подобными. Только во второй половине ноября левые эсеры выделились в отдельную партию. Но и позднее они колебались вправо.

Непоследовательность этих мелкобуржуазных революционеров обнаружилась, в частности, когда съезд обсудил вопрос о государственной власти.

Левые эсеры не признавали идеи диктатуры пролетариата. Выступить, однако, прямо против власти Советов, против диктатуры пролетариата они не могли. Разве не из рук пролетарского государства получало крестьянство землю? Разве не Советская власть одним ударом освободила крестьян от помещичьей эксплуатации?

Вопрос о власти вызвал горячие дебаты. Резолюцию съезд принял нечеткую, противоречивую, и причиной тому было поведение левых эсеров. С одной стороны, резолюция настаивала на правительстве «из всех социалистических партий», то есть включая правых эсеров, меньшевиков, даже совсем правых энесовцев («народных социалистов»); это требование означало фактическое непризнание правительства, назначенного II Всероссийским съездом Советов рабочих и солдатских депутатов. А с другой стороны, резолюция заявляла, что в задачу правительства входит осуществление программы II Всероссийского съезда Советов, что правительство должно быть ответственным перед Советами и что Исполком крестьянских Советов должен слиться со ВЦИК.

В Смольном у Владимира Ильича.— Речь Ленина по аграрному вопросу.— Обсуждение резолюции.— Исполком крестьянских Советов сливается со ВЦИК.— За темной ночью день вставал...

Что ни день, съезд пополнялся новыми делегатами. Придя в Смольный и рассказывая Владимиру Ильичу о съездовских делах, я высказал предположение, что радиограмма о созыве съезда, возможно, пришла в провинцию с опозданием. Иначе не объяснить, почему сейчас прибывает делегатов больше, чем раньше.

Владимир Ильич спросил:

— Вы говорите, больше?

Я подтвердил, что это так.

Вошел Я. М. Свердлов. Ленин обратился к нему:

— Слышите, что рассказывает товарищ Грязкин? По-видимому, Авксентьев и Чернов хотят зацепиться за крестьянский съезд.— И добавил: — Должно быть, правые эсеры тоже разослали приглашения. «Запоздавшие» умышленно запаздывают. Правые задумали добиться большинства, получить тем самым «свой» исполком, а если им это не удастся, то из «запоздавших» составить новый съезд.

Свердлов усмехнулся:

— Слетев с седла, на хвосте лошади не удержишься.

Ленин стремительно поднялся со стула и сказал:

— Надо скорее столкнуть их и с хвоста!

Я молча корил себя: как же это мы не поняли, в чем дело?

Вернувшись на съезд, поделился во фракции услышанным в Смольном, и мы другими глазами взглянули на вновь прибывших делегатов. Действительно, многие явились в Петроград не по приглашению ВЦИК, а по зову «Авксентьевской Фонтанки».

Колебания левых эсеров сказались и в том, как они противодействовали выступлению на съезде В. И. Ленина в качестве председателя Совнаркома. Левые эсеры считали: раз Ленин выступит как глава Советского правительства, то это предрешит вопрос о власти. Исходя из этого опасения, они своими голосами провалили предложение пригласить на съезд и послушать председателя Совнаркома. Когда Владимир Ильич узнал об этом голосовании, он (12 ноября) написал следующее заявление в нашу фракцию:

«Мы<sup>1</sup> категорически требуем, чтобы большевики ультимативно потребовали открытого *голосования* вопроса о *немедленном* приглашении представителей *Р*авительства».

Если отклонят *прочтение* этого предложения и голосование его на полном заседании, то вся фракция большевиков должна в виде протеста **уйти с заседания**<sup>2</sup>.

Мы предъявили соответствующее требование. Позиция правых эсеров, эсеров центра и примыкающих к ним была предельно отрицательной. Сложнее оказалось положение левых эсеров. Они стали колебаться. Отвергнуть предложение большевиков нельзя, ведь уже начались переговоры о вхождении левых эсеров в Советское правительство. С другой стороны, согласиться тоже боязно: левые эсеры выторговывали себе наилучшие, с их точки зрения (а не с точки зрения социалистической революции), условия. Сошлись на таком решении: съезд пригласит В. И. Ленина выступить, но не в качестве «официального лица», председателя Совнаркома, а «персонально».

Центральный Комитет РСДРП(б) согласился с этим решением. Важны были не «престижные» соображения, а существо дела. Пусть делегаты послушают В. И. Ленина. Кто из них не знает, что вождь большевистской партии и председатель Совнаркома — один и тот же человек?!

Владимир Ильич приехал 14-го. В это время обсуждался аграрный вопрос. Речь держал левый эсер. Ленин внимательно его слушал, делал пометки в блокноте, а потом получил слово.

Правые подняли невообразимый шум. Их крики потонули в приветственных возгласах и аплодисментах товарищей, сидевших на левых скамьях и частично в центре, а также рабочих с галерей. «Да потише вы!! Дайте говорить!!!» — То рядовые крестьяне, впервые увидевшие Ленина, хотели услышать его слово.

Владимир Ильич подошел к трибуне, поднял руку с мандатом<sup>3</sup> и сказал, что пришел сюда не как председатель Совета Народных Комиссаров, а как член больше-

<sup>1</sup> Вслед за В. И. Лениным заявление подписали другие члены ЦК большевистской партии.

<sup>2</sup> *Ленин В. И.* Полн. собр. соч., т. 35, с. 93.

<sup>3</sup> Мандат гласил: «Настоящим удостоверяется, что товарищ В. И. Ульянов (Ленин) делегирован ЦК РСДРП на Всероссийский крестьянский съезд» (см.: *Клопов Э. В.* Ленин в Смольном. М., 1965, с. 209).

вистской фракции. Жест был умиротворяющий: не верьте слухам и наветам, все будет, как условились.

К сожалению, речь Ленина не стенографировалась. Сохранился лишь краткий газетный отчет. Он дает только самое приблизительное представление о том, что сказал Владимир Ильич. А ведь речь была такой содержательной и так построена, что ни один из «проклятых вопросов», мучивших крестьянство, не был обойден.

Излагая большевистскую точку зрения на аграрный вопрос, говоря о первых шагах ВЦИК и Совнаркома в этой области, Владимир Ильич вместе с тем резко критиковал правых и «центристских» эсеров. Досталось и левым эсерам — за их половинчатость, за то, что качаются, как маятник, из стороны в сторону — то налево, то направо, не знаешь, куда склонятся их лидеры, так они неустойчивы.

Повторяю: газетный отчет слишком краток, я бы даже сказал — отрывочен; в Полном собрании сочинений В. И. Ленина он занимает неполные две страницы<sup>1</sup>. Естественно, что он не может дать представления о железной логике, которая скрепляла одно лепинское высказывание с последующими высказываниями, об острой полемичности речи. Впрочем, и в газетном отчете они в известной мере отображены. Например, говоря о колебании левых эсеров, Ленин прибег к весьма зримому образу: «...левые эсеры, — сказал он, — и до сих пор подают всю руку Авксентьеву, протягивая рабочим лишь мизинец». Или: ссылаясь на слова предыдущего оратора, заявившего, что работа Учредительного собрания будет зависеть от настроения в стране, Владимир Ильич добавил: «...а я скажу: на настроение надейся, а винтовки не забывай». Не забывай оружия, не бросай его, потому что вокруг беспощадный враг, контрреволюция не дремлет. Вывод: пролетарии и крестьяне, будьте бдительны, не дайте себя обмануть!

Ленин не ограничивался призывами. Он приводил убедительнейшие доказательства правоты большевиков, раскрывал глаза крестьянам-делегатам на истинное положение дел.

Речь Владимира Ильича, предложенная им резолюция привели к несомненному перелому в настроениях многих делегатов. Я имею в виду тех делегатов, которые до этого колебались, сомневались, не могли выйти

---

<sup>1</sup> См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 35, с. 94—95.

на правильную дорогу. В тот же день члены двух фракций — большевиков и левых эсеров — решили слить Исполком крестьянских Советов со ВЦИК.

15 ноября на заседании ВЦИК присутствовали члены президиума нашего съезда. Я. М. Свердлов сообщил о состоявшемся вчера соглашении, оно было единодушно одобрено, после чего члены президиума Чрезвычайного крестьянского съезда покинули Смольный, чтобы выступить перед делегатами.

Очередное заседание Чрезвычайного съезда прошло в торжественной атмосфере, которую никогда не позабыть. В зале находились представители ВЦИК, петерского пролетариата, гарнизона, балтийцев. Нас горячо приветствовали рабочие Василеостровского и Петроградского районов, страстную речь произнес матрос, затем от имени Социалистической партии Соединенных Штатов Америки выступил Б. Рейнштейн. Он сказал: «Товарищи! День соглашения съезда Советов крестьянских депутатов и Советов рабочих и солдатских депутатов — один из самых важных дней революции. Он откликнется глубоким эхом по всему миру: и в Париже, и в Лондоне, и за океаном — в Нью-Йорке».

Особенно радостным стало настроение, когда выступал Свердлов. Он приветствовал делегатов и пригласил их в Смольный: «Вашим соединением с Советами рабочих и солдатских депутатов вы закрепили дело всемирной революции. Это соглашение — один из самых выдающихся фактов революции».

Заседание закрылось в 5 часов 15 минут вечера. Делегаты, возбужденно переговариваясь, вышли на улицу. В Петрограде в это время тогда уже темно, а на душе было светло.

Здесь я вновь прибегну к достоверному репортажу Джона Рида (он и на этом заседании присутствовал, и в Смольный шагал с нами):

«Ночь уже наступила, и на обледенелом снегу отражались бледные лики луны и звезд. На набережной выстроился в полном походном порядке Павловский полк. Его оркестр играл «Марсельезу». Под громкие приветственные крики солдат крестьяне выстроились в колонну и развернули огромное красное знамя Исполнительного комитета всероссийских Советов крестьянских депутатов... Затем следовали другие знамена, знамена районных Советов. На знамени Путиловского завода было написано: «Мы преклоняемся перед этим знаменем, чтобы создать братство всех народов!»



Рид продолжает: «Откуда-то появились факелы, осветившие ночь темно-багровым светом. Тысячекратно отражаясь на гранях льда, дымились они над толпой, с пением двигавшейся по набережной Фонтанки... Так шла через весь город эта огромная процессия. К ней беспрестанно примыкали, над ней разворачивались новые красные знамена... Двое согбенных трудом старых крестьян шли рука об руку, и на их лицах сияла детская радость... Около Смольного по обеим сторонам улицы выстроились восторженные красногвардейцы... На ступенях Смольного столпилось около ста рабочих и крестьянских депутатов со знаменами, черневшими на фоне яркого света, бывшего из дома... Как волна в бурю, бросились они вниз по лестнице, обнимая крестьян и целуя их. И вся процессия хлынула в двери...»<sup>1</sup>

Началось объединенное заседание ВЦИК, Чрезвычайного крестьянского съезда, Петроградского Совета.

Собравшихся горячо приветствовал Я. М. Свердлов. Затем выступили М. А. Спиридонова (от крестьянского съезда), Н. В. Крыленко (от советского военного командования), большевик-матрос П. Е. Дыбенко (от Балтийского флота он передал привет «отцам-крестьянам»), А. В. Луначарский (от большевистской фракции), С. А. Лозовский (от Центрального Совета профсоюзов), Н. А. Скрышник (от фабрично-заводских комитетов), П. П. Прошьян (от фракции левых эсеров) и другие.

Очень сильное впечатление произвели бесхитростные и сердечные слова крестьянина Сташкова: «Я представитель уездного Совета рабочих и крестьянских депутатов. Мне поручено передать, что вся власть должна принадлежать Советам. Жили мы не на воле, не на свете, а в каких-то гробах. Но наши борцы за народ страдали больше нас. Скованных, сажали их и гноили в тюрьмах. Сегодня великий день. От Фонтанки до Смольного я не шел, а летел. Не могу описать своей радости...»<sup>2</sup>

Эта речь всех страшно взволновала. И меня в том числе. Пелена закрыла глаза, в груди стеснение, какого никогда раньше не бывало. А внутренний голос шепчет: «Вот, Грызкин — Гразкин, вот и исполнилась мечта твоей жизни... За темной ночью день вставал...»

Но предстояла еще немалая борьба, причем борьба и на самом Чрезвычайном крестьянском съезде.

<sup>1</sup> Рид Д. 10 дней, которые потрясли мир, с. 246—247.

<sup>2</sup> Протоколы заседаний ВЦИК II созыва. Пг., 1918, с. 68.

Не случайно Владимир Ильич 18 ноября вновь пришел на съезд. В тот день он дважды поднимался на трибуну.

В первой речи он дал отповедь викжелевцу<sup>1</sup>. Тот осмелился ни более ни менее, как приписать Советской власти разжигание гражданской войны. Владимир Ильич, основываясь на фактах, показал, что такую войну начинают контрреволюционные генералы, в частности ставка Духонина. Они делают все, чтобы сорвать переговоры о перемирии, создать хаос и неразбериху. Викжель кичится своим «нейтралитетом», и потому-де он может вносить «беспристрастные» предложения крестьянскому съезду и другим организациям трудящихся. Но что это за революционеры, которые в разгар острой политической борьбы стоят в сторонке, а свое равнодушие — «нейтралитет» — выдают за некое достоинство? Кому на руку такая позиция, как не контрреволюционерам? Да и не существует никакого «нейтралитета» Викжеля. В действительности (Ленин опять привел факты) Викжель саботирует начинания Советской власти, мешает революционному народу.

Позднее Владимир Ильич произнес заключительное слово по аграрному вопросу.

Как сейчас, вижу немного склонившуюся вперед фигуру Ленина, беседующего с залом. Именно беседующего. Он вслух рассуждал и как бы приглашал делегатов поразмыслить вместе с ним и сообща прийти к выводам. Сперва могло показаться, будто оратор говорит о том, что и не связано с аграрным вопросом. Но постепенно убеждаешься: темы, которые он осветил, больше всего тревожили крестьян, солдат, их семьи.

И эта речь Ленина, к сожалению, не стенографировалась, сохранился лишь газетный отчет. Насколько мне запомнилось, Владимир Ильич говорил крестьянам-делегатам: не верьте никому на слово, требуйте дела. Что вам на протяжении последних месяцев обещали правые эсеры и меньшевики? А что в действительности дали? Сопоставьте слова и дела и увидите, что эти партии фактически оказались заодно с капиталистами и помещиками, а не с рабочим классом и трудовой деревней. А вот за что ратовали все эти месяцы большевики и вот что они сделали с первых же дней Октябрьской революции.

---

<sup>1</sup> Викжель — Всероссийский исполнительный комитет железнодорожников; находился в руках правых эсеров и меньшевиков.

Пожалуйста, сопоставьте наши слова и наши дела и вы убедитесь в их единстве.

Дальше, как помнится, Владимир Ильич говорил приблизительно так. Социалистическая революция означает, что теперь городские рабочие, пролетарии и вы, трудящиеся крестьяне,— единственные хозяева России. Вам в союзе с пролетариатом и под его руководством надо самим строить новую жизнь. Дело это очень сложное, но оно вам по плечу. Не надейтесь, что кто-то другой, кроме рабочих и крестьян, построит для вас светлую, социалистическую жизнь. Беритесь за работу, беритесь смелее и повсеместно. Не верьте нелепым рассказам о неспособности низов управлять государством. Мы докажем миру, на что способны трудящиеся массы, освободившиеся от ярма наемного рабства. Мы, большевики, не обещаем сразу молочных рек и кисельных берегов. Мы говорим: впереди напряженная работа, впереди благородная возвышенная цель. Трудящейся массе города и деревни надо проявить собственный почин и, не жалея сил, налаживать жизнь на социалистических началах.

Наши недруги продолжали муссировать слух насчет непрочности и недолговечности соглашения большевиков с левыми эсерами. Крестьянских делегатов и этим слухом пытались сбить с толку. Владимир Ильич не обошел его. Он спросил зал: что нужно для прочности такого союза? И ответил: прежде всего, чтобы левые эсеры признали и совершенно недвусмысленно заявили, что наша революция — социалистическая. Ответ этот был понятен делегатам, большинство разделяло его, было с ним согласно.

Особенно тревожило крестьян из фракции левых эсеров следующее. Большевики стояли за национализацию земли, а эсеры проповедовали социализацию. Правые эсеры, не отказавшиеся от попыток расколоть крестьянский съезд, твердили: вот пойдете вы, делегаты, за большевиками, а большевики потом сделают все по-своему, а не так, как требуют крестьянские наказания. Ленин знал об этих пашептываниях и потому сказал в заключительном слове: «...да, мы против эсеровской социализации земли, но это не помешает нам быть в честном союзе с левыми эсерами»<sup>1</sup>.

Речь закончена. Все сказано и все разъяснено. Но Владимир Ильич не сошел с трибуны, а огласил при-

<sup>1</sup> Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 35, с. 101.

сланную ему записку: как поступят большевики, если в Учредительном собрании левые эсеры окажутся в меньшинстве и предложат закон о социализации земли? Большевики, ответил Ленин, не воздержатся от голосования, они проголосуют за закон о социализации, заявив при этом, что голосуют за поддержку крестьян против их врагов.

### 33

*Выборы Исполкома крестьянских Советов.— Я становлюсь членом ВЦИК.— Очередной Всероссийский крестьянский съезд.— Выступление Владимира Ильича.— Контакт рабочих, солдат, крестьян.*

Помню, я был убежден, да и товарищи по фракции тоже, что наш вождь объяснил делегатам решительно все и вопрос исчерпан. Каково же было наше изумление, когда на следующее утро, развернув «Правду», мы увидели напечатанное в ней письмо В. И. Ленина. Оно начиналось следующими словами: «Сегодня, в субботу 18 ноября, когда мне пришлось выступать на крестьянском съезде, мне задан был публично вопрос, на который я тотчас же ответил. Необходимо, чтобы этот вопрос и мой ответ стали немедленно известны всей читающей публике, ибо, говоря формально, от своего только собственного имени, я, по существу дела, говорил от имени всей партии большевиков»<sup>1</sup>.

Выходит, ответив на вопрос, Владимир Ильич вовсе не считал, что все уже сделано: ответ слышали сотни крестьян и солдат, а вопрос-то интересует миллионы, надобно, чтобы эти миллионы знали мнение большевистской партии.

Письмо было напечатано в воскресенье, а на следующий день — в понедельник — предстояли выборы. Чрезвычайный съезд избирал новый Всероссийский исполнительный комитет крестьянских Советов. Согласно ранее достигнутому соглашению, он вошел в состав ВЦИК. Избранный в новый Исполком, я, таким образом, стал членом ВЦИК.

Через неделю, 26 ноября, тоже в понедельник, в Александровском зале Петроградской городской думы открылся Второй (то есть очередной) Всероссийский

<sup>1</sup> Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 35, с. 102.

съезд Советов крестьянских депутатов; в него полностью влился весь состав Чрезвычайного крестьянского съезда. Он был многочисленнее предыдущего и значительно представительнее. Делегатов собралось 790 человек, из коих 91 большевик и 350 левых эсеров. Правых эсеров и эсеров центра было много — 305 человек, что определило острую политическую борьбу.

Левый блок имел перевес, однако для того, чтобы он оказался действенной силой, требовалась твердость левых эсеров. На Втором крестьянском съезде они вели себя не всегда последовательно, но в общем-то держались лучше, чем на Чрезвычайном. Успешно завершались переговоры о вхождении левых эсеров в Совет Народных Комиссаров. Углублялся процесс полевения трудового крестьянства, усиливалось влияние большевистской партии в сельских местностях. Лидеры левых эсеров не могли не считаться с этими очевидными фактами. Надо было выбирать дорогу: направо или налево. Блокироваться с правыми эсерами и меньшевиками, сдать им? Но это значило бы подписать себе смертный приговор как политической партии. Лидеры левых эсеров решились на коалицию с большевиками.

У правых эсеров был свой расчет на съезде. Их покидала надежда на то, что бывшее влияние на деревню «сработает», что демагогией и клеветой удастся склонить на свою сторону многих левых эсеров и тех, кто считал себя беспартийными.

Правые эсеры, точнее их вожди, распространили на съезде антисоветский документ. Мы, делегаты-большевики, были возмущены. А Ленин дал этому нашему возмущению неожиданный выход. Он посоветовал вести усиленную агитацию за Советскую власть не только среди левых эсеров (что мы делали), но и среди правых эсеров (чего мы не делали). Поняв мое настроение, Владимир Ильич мне сказал примерно так:

— Вы не смущайтесь. Эти депутаты называют себя социалистами-революционерами. Но это слова. На самом деле не все они такие испоганившиеся и прожженные политики, как Авксентьев и Чернов. В большинстве это обманутые солдаты и крестьяне. Они не разобрались в политике своих вождей и пошли за «фирмой» эсеров по укorenившемуся мнению, будто одни лишь социалисты-революционеры — «за мужика». Рядовым делегатам надо терпеливо и настойчиво, по-товарищески разъяснить, какова разница между нашей политикой и политикой Авксентьева, Маслова, Чернова.

Владимир Ильич взял со своего стола обращение правых эсеров и стал разъяснять, как можно и должно, ли на шаг не уходя в сторону от того, что насочиняли эсеры, повернуть их же собственное обращение — пункт за пунктом — против авторов.

— Смотрите, — сказал Владимир Ильич, — что они тут утверждают? Ага, «ни одного дня без Учредительного собрания». Что ж, прочтите эту строку и спросите: «Это вы писали? Хорошо, запомним. А раньше, до Октябрьской революции, почему вы не говорили о немедленном созыве Учредительного собрания?» И сразу приводите факты: один, другой, третий. Бейте их фактами. Керенский обещал собрать Учредительное собрание 8 июня? Обещал и надул. Назвал новый срок — 17 сентября? И опять надул. Как вели себя тогда Авксентьевы и черновы? Обличали они Керенского? Ничуть не бывало. Они молчали. А почему молчали? Потому что они только на словах за народовластие, фактически же — за власть буржуазии.

Владимир Ильич улыбнулся и продолжил:

— Поглядим-ка, что там дальше в их обращении? Что Временное правительство объявило об окончательной разработке закона о передаче земли в распоряжение крестьянских комитетов? А вы их спросите: каких таких земельных комитетов? Тех самых, которых Временное правительство Керенского арестовывало за захват помещичьих владений?! Почему же во время этих арестов Авксентьев и Чернов молчали? Почему не слышно было их голоса, когда карательные экспедиции Временного правительства хватали и расстреливали крестьян как «бунтовщиков»? Потому молчали авксентьевы, что защищали помещика от крестьянина, а не крестьянина от помещика. Сейчас-то они заговорили о земле, ясно, почему заговорили: восемь месяцев кормили крестьян обещаниями, восемь месяцев удерживали от революционных действий. Терпение крестьянства лопнуло, мужик сам стал брать землю, а тут еще наш съезд Советов издал Декрет о земле. Деваться эсеровским лидерам некуда. Вот где правда!

Телефонный звонок прервал разговор. Владимир Ильич сказал, что занят, у него товарищ с крестьянского съезда, скоро беседа закончится и он освободится.

— Тут, — говорил Ленин, — они нишут и о мире. Как же, как же! Им теперь без этого не обойтись. Эти господа готовы разыграть роль миролюбцев. Разъясняйте делегатам, что эсеры и не думали о скором, тем более

демократическом мире. Кто не помнит их лозунгов: «Война до победного конца»? Они не мира хотят, а выигрыша времени для собирания сил контрреволюции. Они готовы пригласить в Россию англичан, французов, немцев, кого хотите, только бы задушить власть Советов.

Отложив в сторону эсеровское обращение, Владимир Ильич напоследок сказал:

— Старательно разъясняйте делегатам, что правительство Советов не на словах, а на деле дало крестьянам землю, что наша власть одновременно с Декретом о земле приняла и Декрет о мире. Крестьяне жаждали земли и мира, мы эту жажду удовлетворяем. Теперь от самих крестьян зависит отстаивать свои права против помещиков и их эсеровских подручных. Внушайте делегатам: пусть крестьяне-труженики расправят спины, пусть поведут себя как истинные хозяева, пусть берут землю, берегут и обрабатывают ее, пусть повсеместно проявляют собственный почин в строительстве социалистической жизни в союзе с рабочим классом.

Обо всем, услышанном от В. И. Ленина, я сообщал на собраниях большевистской фракции. Бывали случаи, когда время не позволяло всех собрать, тогда информировал поодиночке или группами. Так или иначе ленинские советы знали все большевики-депутаты и исполняли их, каждый по мере сил и опыта. Мы выступали на заседаниях, беседовали с делегатами в коридорах, в столовой.

Левые эсеры легче поддавались нашей агитации. Да и среди правых мы — я имею в виду рядовых делегатов — тоже добивались успеха. Не такой была их верухушка. Та пользовалась любой зацепкой, чтобы клеветать на Советскую власть.

Одной из таких зацепок был арест кадетских лидеров. Факты изобличили их в организации контрреволюционного заговора для свержения Советской власти. Правые эсеры в качестве радетелей «свободы» и «демократии» обрушились с потоками брани на Советское правительство: заключили, мол, в тюрьму конституционных демократов! И, конечно, ни слова о том, что эти самые «конституционные демократы» собирались потопить революцию в крови рабочих и крестьян.

Демагогия правых эсеров дошла даже до того, что они, как это сделал один их оратор, заявили, что завтра большевики разгонят штыками... Советы. Эта глупейшая пошлость была произнесена 2 декабря. Как раз в это время на съезде появился В. И. Ленин. Он под-

пился в президиум, но не сел, а стал поодаль, так что даже не все делегаты заметили его, а оратор, стоявший спиной к президиуму, и подавно не видел. Этот словоблуд до того расноясался, что повторял отвратительную ложь буржуазной прессы времен Керенского: и насчет пресловутого «пломбированного вагона», в котором Лени и другие большевистские деятели вернулись из эмиграции, проехав через Германию, и насчет «немецких денег», насчет «шпионов» и пр.

Владимир Ильич слушал спокойно, а потом рассмеялся. По рядам прошел шепоток, делегаты толкали друг друга в бок, показывали в сторону президиума, на Ленина и, зараженные его смехом, сами стали смеяться. Эсер ничего не понимал. В недоумении он смотрел то в зал, то по сторонам, а потом повернулся всем туловищем к президиуму, увидел председателя Совнаркома и прямо-таки оцемел. Его сразил смех Ленина. Потом эсер пришел в себя и не прокричал, а взвизгнул:

— Посмотрите, посмотрите! Этот человек еще смеется!

Зал покотился со смеху. А эсер все на той же визгливой ноте бросил в зал:

— Вы-то чего смеетесь?! Вот Ленин разгонит вас штыками, разгонит ваши Советы.

Но договорить ему не дали, и он не сошел, а сбежал с трибуны.

Слово предоставили Владимиру Ильичу. «Ну,— подумал я,— он задаст эсеру». А Ленин начал с другого. Он прежде всего заявил, что, как и на Чрезвычайном крестьянском съезде, явился не от Совета Народных Комиссаров, а как представитель фракции большевиков, «потому что мне важно, чтобы мнение партии большевиков было известно вам, съезду крестьянских депутатов»<sup>1</sup>.

Лишь после этого, дав понять делегатам, что ознакомит их со взглядами, с политикой большевистской партии, Владимир Ильич упомянул незадачливого эсера.

По мысли Ленина, рабочий класс, крестьянская беднота в своем политическом развитии, в росте своего революционного сознания достигли такого уровня, что совершили социалистическую революцию, и теперь только тупица может думать, будто отдельный человек в состоянии навязать стране свою волю. Наша революция на то и социалистическая, что совершается массой

---

<sup>1</sup> Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 35, с. 139.



и что только сама масса трудящихся управляет страной, строит новые общественные отношения. «Когда мне,— сказал Владимир Ильич,— говорят и кричат из враждебной печати, что штыки могут направиться на Советы, я смеюсь. Штыки находятся в руках рабочих, солдат и крестьян и из их рук они никогда не направятся на Советы»<sup>1</sup>.

Ленин уехал. Прения продолжались. Продолжались столь долго, что многие делегаты устали и ушли. Этим не преминули воспользоваться правые эсеры. Они внесли резолюцию с осуждением Совнаркома за арест кадетов. В голосовании участвовали 680 человек, на сто с лишним человек меньше, чем было делегатов на съезде. Из 680 правые эсеры собрали 359 голосов, то есть большинство. Но они рано возликовали. День спустя большевистская фракция потребовала переголосовать резолюцию. Съезд отверг прежнюю резолюцию и принял новую. Правые эсеры, верные своей обструкционистской тактике, покинули заседание. Мы им кричали вслед: «Скатертью дорога!» Съезд продолжал работу без них.

Среди резолюций съезда была и осуждающая деятельность старого крестьянского исполкома. Таким образом, «Авксентьевская Фонтанка» получила оценку, какую и заслужила.

Без правых эсеров работа нашего съезда двинулась слаженно и деловито. Съезд подтвердил постановление Чрезвычайного крестьянского съезда и решил присоединиться к постановлениям II Всероссийского съезда рабочих и солдатских депутатов. Это означало полное и безоговорочное признание и одобрение Великой Октябрьской социалистической революции.

Был избран новый Исполнительный комитет крестьянских Советов. Съезд вменил ему в обязанность совместно со ВЦИК принять меры к осуществлению требований крестьянства о земле и мире. В новый исполком вошло 108 членов, из них 81 левый эсер, 20 большевиков, 1 эсер-максималист, 6 беспартийных. Все эти 108 членов Исполкома крестьянских Советов (в который избрали и меня) влились в состав ВЦИК.

Не слишком ли много места я уделил крестьянским съездам? Но это, право, не потому, что сам участвовал в политической борьбе на этих съездах, а единственно потому, что они имели большое значение в тогдашний

---

<sup>1</sup> Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 35, с. 140.

переломный исторический момент. Они знаменовали успех нашей партии в завоевании трудящихся крестьян на сторону рабочего класса, социалистической революции.

II Всероссийский крестьянский съезд закончился 10 декабря. А три дня спустя В. И. Ленин, выступая на Всероссийском съезде железнодорожных рабочих и мастеровых, сказал: «...Второй крестьянский съезд дал победу Советской власти. С Советом крестьянских депутатов второго созыва у нас установился тесный контакт. С ними мы организовали Советскую власть рабочих, солдат и крестьян»<sup>1</sup>.

А накануне состоялось заседание ВЦИК в полном составе.

Хорошо помню, как его председатель Я. М. Свердлов заявил, что отныне ВЦИК — центральный исполнительный орган не только Советов рабочих и солдатских депутатов, а и Советов крестьянских депутатов. Заявил кратко как о факте, значение которого ясно всем участникам заседания. Я потом часто наблюдал, что, когда принимались решения даже очень важного политического значения, Свердлов — вообще-то человек веселый, жизнерадостный, любивший шутку — был скуп на слова, он дорожил временем — своим и нашим.

Я стал работать во ВЦИКе. Началась новая полоса в моей жизни.

## 34

---

*ВЦИК и его отделы.— Переезд Советского правительства из Петрограда в Москву.— Чрезвычайные меры Советской власти против кулачества.— Истерика левых эсеров.— Переход на работу в ВЧК.*

Хотя после II Всероссийского съезда Советов старый ЦИК, избранный в июне, сложил свои полномочия, но его руководители не отказались от злобных выпадов против Советской власти. На III Всероссийском съезде Советов (январь 1918 года) Свердлов упомянул, что руководители прежнего ЦИК присвоили все дела, отчеты. Новому ВЦИК, возникшему в дни Октябрьской революции, надо было заново заводить даже делопроизводство.

---

<sup>1</sup> Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 35, с. 167.

К счастью, существовал Военно-революционный комитет (ВРК). Он, по словам Свердлова, «взял на себя все задачи, вытекавшие из условий момента»<sup>1</sup>. Постепенно работу, которую поначалу делал ВРК, брали на себя отделы ВЦИК.

В одном из этих отделов, в Крестьянском (он назывался также Крестьянской секцией), пришлось и мне работать.

Я уже говорил, что левые эсеры преобладали в исполкоме, избранном II Всероссийским крестьянским съездом, и прилагали все усилия, чтобы превратить крестьянский отдел в «свой», левозэсеровский. Но ведь Крестьянский отдел ВЦИК не избранный орган, а часть рабочего аппарата ВЦИК, как и другие отделы, например, экономический, военный или юридический. Конечно, они стремились влиять на работу и других отделов, куда были приглашены. Ведь уже существовала коалиция большевистской партии и партии левых эсеров, в Совнарком вошли левые эсеры (после довольно долгих проволочек и торга с их стороны).

Как мне помнится, во ВЦИК было до десяти отделов. Почти все они возглавлялись большевиками. Агитационным отделом руководил М. М. Володарский, национальным — М. С. Урицкий, юридическим — П. И. Стучка, финансовым — И. С. Упшлихт.

Некоторые отделы дублировали возникшие или возникавшие наркоматы, было очевидно, что когда созреют условия, то такие отделы придется ликвидировать. Действительно, скоро функции Экономического отдела ВЦИК перешли к Высшему Совету Народного Хозяйства (ВСНХ), функции Национального отдела — к Наркомату по делам национальностей. Крестьянский отдел тоже был ликвидирован, но позднее — в конце 1918 года.

Во ВЦИК этот отдел стоял как бы особняком, хотя бы потому, что им заведовала лидер левых эсеров М. А. Спиридонова. Она откровенно добивалась автономности, «независимости» отдела. Ей хотелось, чтобы отдел был полностью самостоятелен, вроде он Исполком крестьянских Советов (хотя эти Советы уже слились с Советами рабочих и солдатских депутатов). Спиридонова и ее сторонники продолжали утверждать, что именно их партия, и только она, целиком представляет интересы деревни. То обстоятельство, что деревня неоднородна, что она состоит не из одних трудящихся крестьян

<sup>1</sup> *Свердлов Я. М.* Избранные произведения. М., 1959, т. 2, с. 103.

ян — бедняков и середняков, что есть там кулаки, сельская буржуазия, — это умалчивалось или упоминалось вскользь.

Руководили отделом трое: заведующий и два секретаря; одним секретарем был я, другим — левый эсер. Имелась канцелярия — несколько технических сотрудников. Приходил я в Смольный к 8 утра, иногда раньше, уходил часов в 9—10 вечера. Так каждый день, в воскресенье тоже.

Работа была самая разнообразная. Не только перемороженная временем, но и, случалось, непредвиденная. В обязанности отдела входили организация курсов, подбор, инструктирование и отправка агитаторов в сельские местности, издание и рассылка литературы, прием бесчисленных ходочков, прибывавших в столицу со своими вопросами.

На помощь моей памяти приходит небольшая брошюрка, вышедшая в Москве в конце 1918 года. Она озаглавлена: «Доклад о деятельности Крестьянского отдела Всер. Цент. Исп. Ком. Советов (К ликвидации Крестьян. отдела ВЦИК)».

Приведу несколько данных из брошюры. За время с 1 января по 15 сентября 1918 года Крестьянский отдел ВЦИК направил в губернии и воинские части 1329 агитаторов. По своей партийной принадлежности большинство их были коммунистами и левыми эсерами. За эти восемь с половиной месяцев в отделе побывало 1788 деревенских ходочков, литературы было послано в провинцию: багажом 127 пудов, бандеролями — около 330 пудов (всего бандеролей 3296).

В марте отдел сформировал курсы агитаторов, инструкторов, учителей, а также сельскохозяйственные курсы. Продолжительность их была различной. Агитаторы учились по две недели; инструкторы, которым предстояло помогать на местах осуществлять закон о социализации земли, — полтора месяца; учителя — два месяца, в программе учительских курсов значились социальные и экономические проблемы.

Ясно, как много времени уходило у нас на то, чтобы подобрать будущих агитаторов, слушателей и преподавателей всех этих курсов, продумать и утвердить программы занятий. Времени требовали также подбор и рассылка литературы.

Но главное, конечно, заключалось в другом: каковы политические воззрения агитаторов, преподавателей и лекторов, какова политическая направленность брошюр,

газет, листовок, каковы были ответы, которые получали прибывавшие в отдел ходоки.

Вот беседуешь с ходоком, а то и с несколькими сразу, но в то же время стараешься уловить, о чем толкует другой секретарь отдела, левый эсер; ведь и он принимает ходока или ходоков. Разговариваешь с будущими лекторами курсов, вникаешь в предложенную им учебную программу, а тебя сверлит мысль: надо бы заглянуть в канцелярию, посмотреть, что именно вкладывают сотрудники в багдероли или в багаж.

Отношения со Спиридоновой были сложными.

Стычки происходили еще в Петрограде, в Смольном, а когда в марте Советское правительство переехало в Москву, они стали более частыми. Разумеется, не потому, что столицу перенесли в Москву, а потому, что социалистическая революция в стране углублялась.

О самом переезде скажу немного.

Переезд осуществлялся по всем правилам революционной конспирации. Я, например, о переезде был извещен чуть ли не за несколько часов до того, как следовало отправиться на вокзал. Мне сказали: «Если есть оружие, берите с собой». У меня был карабин, и я его не выпускал из рук до самого прибытия в Москву.

Болч-Бруевич, руководивший операцией, пишет, что членов ВЦИК разместили в двух поездах, отправлявшихся с Николаевского вокзала, а В. И. Ленин и другие руководящие работники разместились в отдельном поезде, ушедшем с Цветочной площадки. Самой этой площадки не запомнил, но мне — не знаю, по каким причинам — предложили ехать в этом, отдельном, поезде (Владимира Ильича я в пути не видел, из вагона, который мне указали, я не выходил).

По сравнению с бурлившим Петроградом Москва, в которой я никогда раньше не бывал, показалась мне тихим городом. Скоро это впечатление улетучилось. По ночам в Москве, как и в Питере, слышалась беспорядочная, но гулкая стрельба. Не так уж и тихо...

Когда 12 марта мы вышли на Каланчевскую (ныне Комсомольская) площадь, меня и несколько других товарищей посадили в автомобиль и отвезли на Поварскую (ныне улица Воровского), где поселили в богатой квартире, владелец которой, видимо, бежал на юг, к белым. Здесь я жил недолго, вскоре обосновался на Рождественке (теперь улица Жданова) в бывшей гостинице. Там мне отвели маленький номер. Был в гостинице ре-

сторап, но он бездействовал, а сама гостиница превратилась в заурадное общежитие.

С Рождественки до Крестьянского отдела ВЦИК было рукой подать. Отдел разместился на углу Моховой и Воздвиженки (потом она называлась улицей Коминтерна, теперь — проспект Калинина). В этом здании позднее была приемная председателя ВЦИК, пынешняя приемная Президиума Верховного Совета СССР.

Возвращаюсь, однако, к рассказу о работе отдела и взаимоотношениях с левыми эсерами. Поначалу в этих отношениях была едва заметная трещина. Потом она и расширилась и углубилась. Спиридонова хотела, чтобы среди агитаторов, которых мы подбирали, было побольше левых эсеров, чтобы ходоков обрабатывали в левозэсеровском духе и чтобы литература, посылаемая на места, была преимущественно левозэсеровской. Я, естественно, противился этому.

Был у меня разговор с Я. М. Свердловым. Я жаловался на Спиридонову, спрашивал, как быть.

— Как быть? — невесело усмехнулся Свердлов. — Работать, вот как быть. Уж не думаешь ли, что надо рвать с ними? Ну, ладно, порвем, а что крестьянам скажем, как объясним причины разрыва?

Этот разговор был еще в Петрограде, когда левые эсеры входили в Совнарком (а вообще-то даже в то время пытались играть роль эдакой «парламентской оппозиции» — они были и против крутых мер, которые ВЧК, защищая власть Советов, принимала к контрреволюционерам, и против предполагаемого мира с Германией и Австрией). Значительно ухудшились отношения, когда был решен вопрос о подписании мира в Бресте.

Здесь — несколько слов о двух съездах.

В Петрограде 6 марта 1918 года открылся VII экстренный съезд большевистской партии. Борьба, которая происходила на нем между сторонниками Ленина и между «левыми коммунистами» по вопросу о Брестском мире, достаточно известна, как известно и то, что линия Ленина, единственно правильная и подтвержденная историей, победила. Теперь следовало утвердить это нелегко давшееся решение «в советском порядке». Это было сделано на IV Всероссийском съезде Советов, который начался 14 марта, но уже не в Петрограде, а в Москве.

Хорошо запомнились истерические выступления левых эсеров против заключения мира. Какие только ультрареволюционные фразы не швыряли они с трибуны

съезда Советов и в его кулуарах! А ведь именно мир и полученная благодаря ему мирная передышка давали (и дали) возможность собраться с силами, отстоять завоевания Октябрьской революции. Левые эсеры оказались в меньшинстве и заявили, что их представители выходят из Совнаркома. Но в Советах, в том числе во ВЦИК, они оставались.

Значит, в Крестьянском отделе продолжалась наша совместная работа, хотя, легко понять, атмосфера была довольно напряженной.

Стараясь не замечать раздражительный тон и отвести придирки Спиридоновой, я ей говорил: давайте будем укреплять то, что нас объединяет. Сначала она согласно кивала головой, но потом стала отмахиваться.

Весною 1918 года в Советской республике резко усилился продовольственный кризис. На страну надвинулся самый настоящий голод. Правительство стало перед сложнейшей задачей: чем кормить рабочих, чем кормить создававшуюся Рабоче-Крестьянскую Красную Армию?

Уже до первой мировой войны половину всего товарного хлеба, который поступал на русский рынок, поставляли кулацкие хозяйства и лишь немногим более 20 процентов — помещичьи. Октябрьская революция ликвидировала помещичье землевладение, класс помещиков перестал существовать. Теперь кулачество было главным представителем крупного сельскохозяйственного производства. Сельская буржуазия стремилась использовать свои силы и возможности для реставрации капиталистических устоев.

В марте восемнадцатого года уже была очевидна хлебная стачка, повсеместно объявленная кулаками. Мироеды срывали хлебную монополию, отказывались продавать Советскому государству хлеб, дико взвизгивали цены. Сведения из деревень, рассказы многих ходоков показывали, что кулачество объявило бой и деревенской бедноте, озлобилось также на трудовых крестьян-середняков.

Буржуазно-помещичья контрреволюция и кулаки действовали заодно: белогвардейцы намеревались утопить Советскую власть, рабочий класс и крестьянскую бедноту в крови, кулаки — задушить голодом.

Положение было тяжелым. Германские и австро-венгерские войска заняли Украину, двигались по приглашению белогвардейцев на Северный Кавказ. Значит, отошли от нас хлебородные районы. В марте в Мурман-

ске высадились английские интервенты, в апреле во Владивостоке — японские и английские.

А тут еще голод. Подвоз хлеба в города, включая Москву и Петроград, катастрофически уменьшался. Бедняки и батраки в деревнях получили землю, но у них не было ни запасов хлеба, ни семян для посевов, а кулаки злорадствовали: «Получили землю? Ну и жрите ее, голодранцы! Пускай большевики вас кормят!»

Диктатуре пролетариата следовало ответить беспощадным ударом по наглому врагу. Она так и сделала.

До сих пор я помню, какой громкий резонанс получил декрет ВЦИК, обнародованный в конце апреля. Под ним стояли подписи: председатель ВЦИК Я. Свердлов, Председатель Совнаркома В. Ульянов (Ленин), секретарь ВЦИК В. Аванесов.

Этот закон, который вводился в действие по телеграфу, начинался характеристикой обстановки: «Гибельный процесс развала продовольственного дела страны, тяжкое наследие четырехлетней войны, продолжается все более расширяться и обостряться. В то время, как потребляющие губернии голодают, в производящих губерниях в настоящий момент имеются по-прежнему большие запасы даже не обмолоченного еще хлеба урожая 1916 и 1917 годов. Хлеб этот находится в руках деревенских кулаков и богачей, в руках деревенской буржуазии. Сытая и обеспеченная, скопившая огромные суммы денег, вырученных за годы войны, деревенская буржуазия остается упорно глухой и безучастной к стонам голодающих рабочих и крестьянской бедноты, не вывозит хлеба к ссыпным пунктам в расчете принудить государство к новому и новому повышению хлебных цен и продает в то же время хлеб у себя на месте по баснословным ценам хлебным спекулянтам-мешочникам».

Отметив, что срыв твердых цен и хлебной монополии сделал бы хлеб совершенно недоступным для многомиллионной массы трудящихся и подверг бы их мучительной голодной смерти, ВЦИК и Совнарком заявляли:

«На насилия владельцев хлеба над голодающей беднотой ответом должно быть насилие над буржуазией.

Ни один пуд хлеба не должен оставаться на руках держателей, за исключением количества, необходимого для обсеменения их полей и на продовольствие их семей до нового урожая»<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Декреты Советской власти. М., 1959, т. 2, с. 264.



Правительство обязало весь избыток хлеба сдать в недельный срок, постановило всех, имеющих избыток хлеба и не вывезящих его на ссыльные пункты, а также расточающих хлеб на самогонку, объявить врагами народа, предавать революционному суду, заключать в тюрьму на срок не менее 10 лет, подвергать все имущество конфискации, изгонять навсегда из общины, а самогонщиков, сверх того, привлекать к принудительным общественным работам.

Не буду излагать других пунктов этого закона, отмечу лишь призыв ко всем трудящимся и неимущим крестьянам: объединиться для борьбы с кулаками. Отмечаю это, чтобы читатель видел связь между принятыми ВЦИК и Совнаркомом чрезвычайными мерами с последующей организацией в деревне комитетов бедноты (комбедов), сыгравших в свое время большую роль.

Партия левых эсеров отозвалась на эти меры отрицательно. Было очевидно, что ее лидеры берут под защиту кулака, то есть именно того, кто пытался погубить социалистическую революцию. Чем больше углублялась революция в деревне, тем больше правела партия левых эсеров.

А ведь Ленин не раз предостерегал левых эсеров от опрометчивых шагов, увещевал их, призывая серьезно взвешивать положение вещей, оценивать обстановку объективно, без истерики.

Помню Политехнический музей 29 апреля 1918 года: там состоялось заседание ВЦИК. Оно было многолюдным — приглашены были представители московского пролетариата, актив партийных и советских работников. Ленин сделал на заседании программный доклад об очередных задачах Советской власти. Меня поразили впечатляющий образ, к которому прибег Владимир Ильич, характеризую метания эсеров. Он сказал, что если составить кривую, показывающую, на чью сторону становилась эта партия с февраля семнадцатого года — на сторону ли пролетариата или буржуазии, — то получилась бы кривая, «нечто вроде скорбного листа», глядя на который каждый сказал бы: а лихорадка удивительно упорная!

Когда я услышал про «скорбный лист», то вспомнил фронтowej госпиталь (лежал в нем после того, как в конце 1916 года был обморожен в бою) и эти скорбные листы (теперь говорят: «истории болезни»). Сестры милосердия день за днем чертили на них линию темпера-

туры и выеживалн у койки, чтобы врач сразу мог определять, держится ли у больного жар. Вот «кривая» у левых эсеров была лихорадочной, а позднее, в июле 1918 года, скакнула так, что занесла эту партию в стан контрреволюции. Когда в день мятежа левые эсеры открыли огонь по Кремлю, они расстреляли собственную партию. От нее отшатнулись те крестьяне, которые ей еще доверяли, и она политически погибла.

Но в июле я уже работал не во ВЦИК, а в ВЧК.

Повторяю: работать со Спиридоновой было нелегко. Отношения между нами явно ухудшались. Она не могла не знать, что я не только беседую с агитаторами и ходоками, которые шли ко мне, но порой стараюсь перехватить тех, которых успели «обработать» левые эсеры, расспросить, как они (эти агитаторы или ходоки) понимают такой-то вопрос. Но кроме того, мне было почти что физически больно смотреть на то, что из отдела идет на места левоэсеровская литература. Запретить? Нельзя. Что же делать? Я еще в Петрограде — сначала от случая к случаю, потом чаще — стал поручать работникам канцелярии вкладывать в пачки левоэсеровской литературы и нашу, большевистскую.

Однажды меня срочно вызвали к Свердлову.

Был сумрачный, холодный день. В некоторых комнатах горел свет. В комнате, где работал Яков Михайлович, свет зажжен не был. Я вошел, вижу у двери стоят два человека, рассматривают какой-то документ. Кто эти люди, не разглядел.

Свердлов позвал меня, предложил сесть, секунду-другую молчит, потом спрашивает:

— Ну, рассказывайте, как вы контрабандой наши листовки и брошюры рассылаете по деревням?

— Какая такая «контрабанда»? — недоумеваю я.

— Будто и не знаете... Спиридонова громы и молнии мечет.

Поняв, в чем дело, стал отвечать запальчиво: не могу я спокойно видеть, как они (понимай: левые эсеры) мешают Советской власти, не могу! Не социалисты они, а мелкие буржуа.

Свердлов перебил меня:

— Успокойтесь!

В эту минуту один из двух товарищей, находившихся в кабинете, приближается к нам, протягивает мне руку, и я вижу: Владимир Ильич! А он говорит:

— Вы ведь неправы, товарищ Гразкин. Совсем неправы. Подумайте, стоит ли нам из-за мелочей ссорить-

ся со Спиридоновой, срывать совместную, и так-то не очень гладкую, работу?

Я понял: Ленин знает, зачем меня вызывал Свердлов.

— Разве, — продолжал Владимир Ильич, — у нас с вами нет других возможностей идейного воздействия на деревню? Многого ли вы добьетесь тем небольшим количеством литературы, что вкладываете в их бандероли?

Свердлов, рассмеявшись, вставил:

— Вряд ли, когда руки делают что-то рапьше, чем мысль.

Ленин тоже рассмеялся и сказал:

— Яков Михайлович уже готов защитить вас. — И серьезным тоном: — Намерения у вас превосходные, никто из нас не сомневается. А вот Спиридонова не верит. Посудите сами: разве можно необдуманно поступками усложнять серьезные политические разногласия? В политике это не годится.

Свердлов обращается ко мне с советом:

— Выдержки, больше выдержки, друг!

В это время к столу приблизился Ф. Э. Дзержинский. Оказывается, это с ним беседовал Владимир Ильич. Дзержинского я видел довольно часто — и в Смольном, и здесь, в Кремле, но знакомы мы не были. Феликс Эдмундович подхватил последнюю реплику Свердлова:

— Выдержки у товарища, убежден, хватит. А со Спиридоновой ему работать дальше, думаю, не очень ловко. Отдайте товарища Гразкина нам, в Чрезвычайную комиссию.

Владимир Ильич говорит:

— Неожиданное предложение.

Яков Михайлович подтверждает:

— Неожиданное. — Посмотрел в мою сторону: — Может, подумаете?

— Чего же думать? — отвечаю. — Согласен.

— Ну и отлично, — сказал Свердлов.

Потом я перешел на работу во Всероссийскую Чрезвычайную Комиссию (ВЧК). Последовательно занимал должности: следователя, заведующего пограничным отделом, члена коллегии инструкторского отдела.

Работая в ВЧК, оставался членом ВЦИК. На IV, V, VI Всероссийских съездах Советов меня по-прежнему удостоивали этой чести, избирали во Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет.

Мандат Всероссийской Чрезвычайной Комиссии.— Изучаю транспортное дело.— В Реввоенсовете республики и в Наркомате путей сообщения.— Поручение Ленина.— Поездка в Архангельск.— Трудовой подвиг северян.

У меня сохранился мандат, выданный 10 июня 1919 года транспортным отделом Всероссийской Чрезвычайной Комиссии по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями по должности. Мандат гласил, что мне поручено ревизовать и инспектировать районные и участковые транспортные чрезвычайные комиссии, отстранять виновных в злоупотреблениях и привлекать их к судебной ответственности.

Для того чтобы ревизовать и инспектировать упомянутые учреждения, надо было хоть сколько-нибудь знать транспортное дело. Я его и старался постичь. Это приключилось мне, когда я был переведен на военную работу, на которой исполнял обязанности комиссара управления военных сообщений, начальника дислокаторского отдела полевого штаба Реввоенсовета республики.

В феврале 1920 года меня в числе других товарищей назначили в Наркомат путей сообщения (НКПС). До этого мы настолько были поглощены военной работой, что перевод из Реввоенсовета прямо-таки расстроил нас, выбил из колеи, мы сочли это неправильным. Явилась мысль пойти к В. И. Ленину, пожаловаться, что нас неправильно используют.

Даже неловко вспоминать про этот эпизод, но он был, значит, надо рассказать.

К Ленину мы попали 8 февраля. Запомнил это число потому, что в тот день — секретарь предупредила нас — он должен был выступить на беспартийной конференции Благущее-Лефортовского района.

Только мы подошли к двери ленинского кабинета, как она отворилась и появился — уже в пальто — Владимир Ильич.

— Вы ко мне? — спросил он и, как бы извиняясь, добавил: — Я очень спешу...

Мы на ходу коротко изложили причину, которая нас привела к нему. У лестницы Ленин приостановился и сказал:

— На транспорте, товарищи, положение архискверное. Транспорт тянет народное хозяйство назад. Нужно

во что бы то ни стало исправить положение. И то, что вас направляют в Наркомпуть, пусть вас не смущает.

Четыре дня спустя «Правда» поместила отчет о речи В. И. Ленина на беспартийной конференции. Речь, как сказано в отчете, касалась «двух жгучих вопросов советской современности» — международного положения республики и трудового фронта. Характеризуя задачи трудового фронта, Ленин сказал: «...мы подходим к весне, пережив небывало трудную зиму холода, голода, сыпняка и железнодорожной разрухи». И далее: «Мы должны победить и этот фронт. Если мы сумели во время войны все принести в жертву, отдать все лучшие силы, — передовые рабочие, коммунисты и курсанты впереди всех погибали, поднимая этим настроение всей армии, — то и теперь мы говорим: нам надо выдержать этот фронт хозяйственной разрухи; как и тогда, коммунисты и передовые рабочие, самые добросовестные, самые честные, самые хорошие, самые твердые, вперед! За каждый поезд, за каждый паровоз надо воевать, надо бороться. К этому я призываю беспартийную конференцию»<sup>1</sup>.

Легко понять мое состояние: если Ленин призывает беспартийных рабочих бороться за восстановление каждого поезда, каждого паровоза, то ведь с меня, коммуниста, спрос куда больший! А мы обиделись, а мы жаловаться...

Получив «урок» Ленина, я через несколько недель получил и его деловое задание. Слова могу назвать точную дату: 29 марта 1920 года. В этот день меня, уже работника НКПС, вызвали в Кремль. Я пришел во время заседания Совета рабоче-крестьянской обороны. Дождался перерыва, вошел в зал. Увидел В. В. Фомина<sup>2</sup>. Он мне сказал:

— Слушай, Владимир Ильич хочет расспросить тебя о вывозке грузов из Архангельска...

Фомин сообщил, что особоуполномоченным по транспортировке грузов назначен товарищ Леонов (начальник Северной железной дороги), а я — комиссаром при особоуполномоченном.

<sup>1</sup> Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 40, с. 127.

<sup>2</sup> В. В. Фомин, большевик-подпольщик, в 1918—1920 годах входил в состав коллегии ВЧК, был военным комиссаром на железнодорожном транспорте, позднее — комиссар Главного управления путей сообщения, заместитель наркома путей сообщения,

— Вот, комиссар, и прикинь, как дело организовать, — продолжал Фомин. — Только будь краток: сам понимаешь, товарищ Ленин очень занят.

Я задумался. Кое-какой опыт по этой части уже имелся, но поручение-то было не из легких.

Вскоре появился Владимир Ильич. Завидев меня, быстро подошел, сказал, что я назначен ответственным за вывоз грузов из освобожденного Архангельска. Дело важное, требуется исполнить его без промедления, и спросил, какие у меня есть предложения.

Следует, отвечаю, создать в Вологде и Ярославле тройки (или комиссии) из руководящих работников тамошних железнодорожных узлов. На тройки (или комиссии) возложить ответственность за бесперебойное движение архангельских составов. Сверх того, хорошо бы, чтобы каждый эшелон сопровождал уполномоченный (или начальник), знакомый с железнодорожной техникой и правилами эксплуатации; на этих людей возложить ответственность за прохождение эшелона, но и наделить их необходимыми правами.

Ленин помолчал, потом сказал, что предложения правильны, их можно принять, он даст соответствующее задание. И добавил:

— О деталях договоритесь в Наркомпути.

Позднее я прочитал некоторые опубликованные документы. Бойцы VI армии, наступавшие в сторону Архангельска, действовали в условиях весьма суровой зимы (случалось, морозы достигали 37 градусов). Белогвардейцы и английские интервенты были несравненно лучше экипированы и вооружены, однако, деморализованные, отступали под ударами красноармейцев. В оперативной сводке от 21—23 февраля говорилось: «На железнодорожном направлении наши войска, используя бронепоезд противника и 21 февраля встреченные делегацией рабочих и населения, вступили в Архангельск». Далее шел перечень трофеев, в том числе и «большие запасы продовольствия»<sup>1</sup>.

Гражданская война продолжалась. Красная Армия крайне нуждалась в продовольствии и снаряжении. Понятно, взоры обратились также к запасам, отнятым у врага на Севере.

Реввоенсовет Западного фронта просил центр перебросить в его распоряжение хотя бы часть продоволь-

---

<sup>1</sup> Борьба за торжество Советской власти на Севере. Сборник документов (1918—1920). Архангельск, 1967, с. 158—159.

ствия из Архангельска. На этой телеграмме Ленин сначала поставил дату получения: «28 марта 1920», а затем пометил: «*В Совет Оборонь* на повестку»<sup>1</sup>.

Значит, это было накануне того дня, когда меня вызвали к Ленину. Все совершалось продуманно и с оперативной скоростью.

Через несколько часов после разговора в Кремле я выехал из Москвы. Перед отъездом мне вручили мандат за несколькими подписями. Первой стояла подпись Председателя Совета Оборонь В. Ульянова (Ленина), затем — зам. председателя Реввоенсовета Э. Склианского, зам. Наркомпути В. Свердлова, зам. Чусоснабарма Эйсмонта.

Мандат начинался так: «Предъявитель сего Комиссар Военного Отдела Эксплуатационного Управления Дмитрий Иванович Гразкин командирован в Архангельск в качестве комиссара при Особоуполномоченном Совете оборонь и НКПС с целью организации руководства и наблюдения за планомерными нагрузкой и вывозом грузов из Архангельского узла, для чего Гразкину предоставляется право...» Затем шли пять пунктов этого «предоставленного права». Заключительный абзац гласил: «Все Советские Учреждения и Организации обязаны выполнять все указания Гразкина, а Реввоенсовет VI армии окажет Гразкину всемерное содействие к успешному выполнению возложенных на него задач».

Разруха на железных дорогах царила ужасающая. Еще во время империалистической войны подвижной состав был изрядно потрепан и изношен. Гражданская война и иностранная интервенция усугубили беду. Бои тогда велись преимущественно вдоль железнодорожных линий, множество вагонов и локомотивов сгорело, часть вышла из строя. Какой бы железнодорожный узел того времени ни взять, почти каждый напоминал кладбище. Прибавьте топливный кризис. О каменном угле уж и не мечтали — были бы дрова, по и их часто не бывало.

В Архангельске мы тотчас встретились с учетной комиссией, в обязанности которой входило составление точной описи трофеев Красной Армии.

Затем созвали совещание, на нем установили очередность погрузки и отбытия эшелонов на Вологду и дальше к месту назначения. На совещании присутствовал товарищ из VI армии, он обещал прислать воинские команды.

<sup>1</sup> Ленинский сборник XXXIV, с. 285.

Состоялось еще одно совещание. На него мы пригласили работников станций Архангельск и Исакогорки (в сущности говоря, то было одно хозяйство) и представителей профсоюзов. Сообща решили назначить дежурных — каждый из них будет отвечать за своевременную подачу порожняка и принимать меры к немедленному исправлению «больных» вагонов и паровозов.

Все будто бы предусматривали. Увы, появились трудности с рабочей силой. VI армия начала передислокацию, Архангельск покидали воинские части, получив назначение на запад. Помощь красноармейцев ослабевала, через некоторое время она могла и вовсе прекратиться.

Обратились к местным советским властям. Хлопот у губисполкома было по горло, но товарищи живо откликнулись на нашу просьбу. Посоветовались и решили: часть рабочей силы выделит железная дорога, другую часть составят жители Архангельска.

Требовалось и немало гужевого транспорта, его в городе не хватало. Губисполком предложил каждому сельскому Совету ежедневно присылать в Архангельск по пять лошадей. Так как еще не везде успели возродиться Советы, то в такие деревни послали уполномоченных с требованием лошадей.

В общем дело было поставлено на военную ногу.

В Архангельск стали ежедневно прибывать составы за нашим грузом. Прибывали они, мягко говоря, далеко не в лучшем виде. Прежде чем подавать вагоны под погрузку, их тщательнейшим образом осматривали, и тут-то выяснялось, что многие пуждаются в срочном ремонте, порой довольно серьезном. Бывало и так: состав готов к отправке, а локомотив — нет. Безотказно, самоотверженно работали в те дни, правильнее сказать в те сутки, железнодорожники, нередко они оставались и на ночь, потому что заранее невозможно было определить, когда закончится ремонт и можно отправлять эшелон. Сам я в тот апрель спал не больше чем по три-четыре часа в сутки.

Время стояло еще холодное, было оно и голодное. Вместо хлеба выдавали людям овес, да и то немного. Погрузка же и ремонт требовали большой затраты физических сил. Мы добились от вышестоящих властей разрешения выдавать рабочим, особенно занятым и в ночные часы, долю продовольствия из трофейных запасов.

Отправка основных партий грузов заняла две недели, а весь груз полностью вывезен за месяц. Всего снарядили около ста эшелонов — по тем временам, можно сказать, рекорд.



Комиссар Главода.— Первый в жизни отпуск.— Снова в Великом Дворе.— Разговор у М. И. Калинина.— Письмо во ВЦИК и в ЦК РКП(б).— Беседа с Владимиром Ильичем.— Ленин вникает в опыт и наблюдения практиков.— Канун перехода к новой экономической политике.

Известна роль X съезда РКП(б) в истории социалистического строительства. Этот съезд был рубежом между исчерпавшей себя политикой военного коммунизма и новой экономической политикой (нэпом). Основы последней создали гений Ленина, его анализ острых противоречий живой действительности, его мастерское умение отметить то, что еще вчера было полезным и необходимым, а сегодня, обветшав, порождает кризисные явления, тормозит борьбу за социализм.

Я говорю здесь не о всех проблемах, обсуждавшихся съездом, а лишь об одной, разъясненной в докладе В. И. Ленина (и в заключительном слове по докладу), — о замене разверстки натуральным налогом. Говорю об этом потому, что я был в числе тех практиков, которых Владимир Ильич во время подготовки съезда пригласил к себе, расспрашивал, выслушивал.

Трудно передать впечатление, которое произвели на всех нас этот доклад и постановление X партийного съезда. Ведь замена разверстки налогом затрагивала интересы всего крестьянства, волновал этот вопрос и рабочий класс. Не случайно Владимир Ильич подчеркнул тогда, что это прежде всего вопрос политический, ибо суть его — в отношении рабочего класса к крестьянству. Был сделан первый решительный шаг в новой экономической политике, советское общество вступило в новую эпоху своего развития.

Замена продовольственной разверстки продовольственным налогом, другие проблемы новой экономической политики горячо обсуждались и на партийных собраниях, и в разговорах коммунистов друг с другом, освещал я их и в своей агитационной работе.

Поскольку речь зашла о X партсъезде, то скажу, что лично меня заинтересовало также коротенькое постановление съезда «Об организации курсов по изучению марксизма».

Я загорелся желанием попасть в число слушателей будущих курсов. Узнал, что первый набор будет со-

стоять из коммунистов-подпольщиков. Пошел в ЦК. Говорил, что за моими плечами только трехклассная сельская школа и то, что удалось приобрести путем самообразования. Мне не отказывали: надо, непременно надо зачислить, «подходите по всем статьям», но... «побудьте еще немного на практической работе, а потом уж направим на учебу».

«Еще немного» продолжалось четыре года. Роптать было бы грешно: работа досталась интересная — до осени 1921 оставался в НКПС, позже был переведен в аппарат Центрального Комитета партии, где меня сначала утвердили инструктором орготдела, а в 1922 году — одним из помощников генерального секретаря ЦК.

Забегая вперед, скажу, что в 1925 году меня наконец командировали на курсы марксизма при Коммунистической академии<sup>1</sup>. Говорю «наконец», потому что давно и страстно мечтал об учебе. Занятия на курсах были насыщенными и в достаточной степени эффективными. Подход преподавателей к слушателям был строго индивидуальный: учитывались и общее, и политическое образование каждого, и практический опыт. Программа охватывала не только социально-экономические науки (политэкономия, философия, история РКП(б), история мирового революционного рабочего движения и т. д.), но и общеобразовательные предметы. Непременно изучались первоисточники — важнейшие произведения Маркса, включая «Капитал», Энгельса, Ленина. Кроме того, занятия были теснейшим образом связаны с политической жизнью; все мы, слушатели, вели агитационно-пропагандистскую работу на московских предприятиях — кто на фабрике, кто на заводе или в железнодорожном депо.

Возвращаюсь к зиме 1920/21 года.

В НКПС я был сначала комиссаром военного отдела. Первейшая обязанность — в обеспечении бесперебойной переброски войск (шла война на Западном фронте с белополяками, на Южном — с Врангелем). Требовалось незамедлительное восстановление желез-

<sup>1</sup> Коммунистическая академия (до 1923 года называлась: Социалистическая академия) представляла собою, если воспользоваться определением энциклопедии, «высшее марксистско-ленинское научное учреждение». В состав Комкадемии входили научные институты (философии, истории, мировой политики и экономики), ряд секций (например, аграрная, права и государства, экономики, литературы и искусства), общество историков-марксистов, общество биологов-материалистов и т. п. (см.: Малая Советская Энциклопедия. М., 1930, т. 4, с. 104—105).

подорожных линий, мостов, других сооружений, срочный ремонт подвижного состава, от чего в значительной мере зависела маневроспособность Красной Армии. В функции отдела входила, между прочим, организация головных и подвижных ремонтных поездов, различных мастерских.

Дел, как говорится, хватало, и не только в центральном аппарате, в Москве, но и на фронтах, на которые я не раз выезжал в годы гражданской войны. (В 1919 году, работая в Реввоенсовете, во время поездки в район бабдитского рейда белогвардейской конницы был контужен разрывом снаряда, получил сотрясение мозга.)

В начале зимы 1920/21 года железнодорожный и водный транспорт были слиты в единое ведомство — НКПС. Я был назначен помощником комиссара главного управления водного транспорта (сокращенно: Главвод). Вскоре мне предоставили отпуск, первый в моей жизни. Я прихварывал после контузии, напряженная работа, недостаток питания тоже сказались. Самое понятие «отпуск» было непривычным. Да и как-то неловко отдыхать, когда вокруг прощась дел. Мне внушили: на дворе зима, реки замерзли, самый раз передохнуть.

Отпуск решил провести в Великом Дворе. На родине я не был пять лет, с того дня, как забрали в царскую армию. Отец, мать, сестра страшно обрадовались моему неожиданному приезду (я не успел предупредить). Я тоже был очень рад свиданию, но и взгрустнул: уж очень сильно согнуло время моих родителей, совсем, бедняги, состарились...

Соседей — из нашей деревни и окрестных селений — взбудоражило появление «комиссара». Да ведь и прибыл-то откуда — из самой из Москвы! Хотя и комиссар, а наш, великодворский. Ивана Грызкина сынок!

Пошли расспросы: что и как? И жалобы посыпались. Только успевай отвечать.

Сами расспросы показывали, что даже в таком углу, как Зауломовская волость, мысль мужиков перелетела плетень собственной избы. Спрашивали: прочен ли мир, надолго ли приутихли империалисты, да как там, на Дальнем Востоке, скоро японца прогоним?

Жалобы были двоякого рода: местного, так сказать, значения и общегосударственного плана.

Жаловались на самодуров и взяточников, проникших в сельские органы власти, на случаи тупоумия и

произвола, которые возмущают, раздражают парод. По этому поводу я считал долгом пойти в вслисполком, имел там крупный разговор.

Но больше всего земляки сетовали на упадок хозяйства. С кем ни толкую, кого ни слушаю — ропот, недовольство, недоумение. Ход рассуждений был приблизительно таков. Советская власть отобрала у помещиков и монастырей землю, передала землю крестьянам — спасибо, превеликое спасибо. Теперь что же? Никакого интереса нет пахать и сеять. Зачем? Что ни поднимешь — наши-то урожаи сам знаешь, — все и заберут по продразверстке.

Объясняю причины введения разверстки. Без нее погибли бы завоевания революции. Помните, в восемнадцатом году кулаки саботаж устроили, не продавали хлеб государству, спекулировали? Красную Армию надо было кормить? Рабочий класс? Красноармеец и так сидел на голодном пайке, а рабочий жил и живет впроголодь...

— Это, брат, мы тыщу раз слыхивали, — вздыхают мужики. — Кто ж, скажи, возражает? Понимаем, что к чему, да и сами воевали. Ты давай про другое. Война кончилась? Кончилась. А разверстка остается? Остается. Доколе будет? Как жить-то дальше? Как хозяйничать, ежели без всякого интересу?

В общем, о чем бы ни заходила речь, а непременно утыкалась она в разверстку: стоит на дороге — ни обойти, ни объехать...

Возвращаясь в Москву, только об этих разговорах и думал. Не давали они мне покоя.

Первый вывод, какой я сделал: как приеду — сразу пойду к Калинин, обо всем ему расскажу. Калинин, наш «всероссийский староста», отлично знал крестьянское хозяйство, крестьянскую психологию. Кроме того, я знал, что к Михаилу Ивановичу поступает множество писем из деревни, ходоки ходят, в президиуме ВЦИК в последнее время работает специальный представитель от Наркомпрода, изучающий положение в сельском хозяйстве, настроение крестьянства.

С М. И. Калининим я был знаком. Знакомство наше состоялось в Москве в 1919 году, и состоялось не в служебной обстановке, а... за шахматной доской.

В числе других товарищей я обедал в кремлевской столовой. Звучит громко: «кремлевская столовая», и кормили там худо. Рацион тогда был скудный, готовили

невкусно<sup>1</sup>. Но была одна особенность весьма привлекательная: за столом встречались старые товарищи, испытанные революционеры, фронтовики, партийные и государственные работники. Происходил живой, интересный, откровенный обмен мнениями, впечатлениями, мыслями.

Так как на «трапезу» уходили какие-то минуты, то Калинин — я это заметил — иногда остаток времени отдавал шахматам. Вот он однажды озирается в поисках партнера, замечает, что я уже управился с кашей, и спрашивает, не играю ли в шахматы и не «сгоняю» ли с ним «партийку». Я ответил: отчего же и «не сгонять», но только шахматист я неважный.

— А и я, землячок, не чемпион, — рассмеялся Михаил Иванович.

После этого мы с ним несколько раз играли в шахматы, за игрой беседовали. Покорял он мудрой простотой, умом, сердечной общительностью. Удивительным обладал он свойством: умел слушать.

Из отпуска я вернулся в последних числах января 1921 года. Подробно рассказал Калинин обо всем, что видел и слышал в деревне, о своих мыслях. Михаил Иванович не перебивал, лишь изредка задавал вопросы, а потом предложил изложить все письменно, причем не только во ВЦИК, но и в ЦК партии.

Так я и сделал. Написал. Один экземпляр отнес во ВЦИК для М. И. Калинина, другой — в ЦК РКП(б). Секретарь ЦК Н. Н. Крестинский прочитал при мне, сказав: «Это надо непременно Владимиру Ильичу передать», и тут же распорядился перепечатать.

Дня два или три спустя мне позвонили и предложили срочно прибыть в Кремль к товарищу Ленину. Точное число не запомнил, но вот недавно прочитал, что мое письмо Крестинский передал Владимиру Ильичу 9 февраля<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Из воспоминаний А. М. Горького видно, что это обстоятельство огорчало Владимира Ильича. В один из приездов в Москву (из Петрограда) Горький, как обычно, направился к Ленину. Ленин осведомился: гость-то пообедал? Писатель ответил — обедал в кремлевской столовой. Ленин сказал: «— Я слышал — скверно готовят там». И начал, как пишет Горький, «сердито ворчать»: «— Что же они там, умелого повара не смогут найти? Люди работают буквально до обморока, их нужно кормить вкусно, чтобы они ели больше. Я знаю, что продуктов мало и плохи они, — тут нужен искусный повар» (Воспоминания о В. И. Ленине, т. 2, с. 267).

<sup>2</sup> См.: Генкина Э. Б. Государственная деятельность В. И. Ленина. 1921—1923. М., 1969, с. 81.

Когда я вошел в ленинский кабинет, Владимир Ильич взял со стола письмо и стал расспрашивать. Поскольку письмо сохранилось, приведу некоторые отрывки. Надеюсь, читатель отнесется снисходительно к стилю этого письма.

Итак, «будучи в отпуску, Кирилловском уезде Череповецкой губ.<sup>1</sup>, работая в центре, я был поражен положением в деревне — как в экономическом, так и политическом, если так может быть правильно выражено, то и в правовом». Я писал, что «фабрикантов почти в деревне» нету, крестьяне «не получают даже обещанный керосин за лесную рубку».

Дальше перешел к собственно крестьянской экономике. «Хозяйство крестьян влачит жалкое существование. Уже теперь крестьянство в две коровы — редкость, а раньше это было самое бедное. Причина этого, без сомнения, неправильный подход к крестьянству. Когда начали собирать разверстку с состояния крестьянского хозяйства, то мужик со свойственной ему мелкобуржуазной эгоистической психологией решил, что если он вместо трех коров будет иметь одну, то с него ничего не возьмут, а если возьмут, то столько же, сколько у того, у кого имеется одна корова; чтобы не так обидно было платить больше другого, начали уничтожать скот и запускать свое хозяйство. Когда же под влиянием голода все-таки пришлось работать и известные проценты отчислять, то тут уже начала появляться за свои ошибки и за отбирание продуктов ненависть к власти».

Далее в письме названы предложения, возникшие у меня в результате размышлений над увиденным и услышанным. Я писал, что, по-моему, надо бы «установить процентную норму взимания продуктов всех видов с ревизской души<sup>2</sup> или десятины. Это подходит под оборочную<sup>3</sup> психологию крестьян. Но надо, чтобы крестьянин знал раньше, чем с него возьмут, и столько-то.

---

<sup>1</sup> Раньше Кирилловский уезд входил в Новгородскую губернию, в 1920 году — в Череповецкую. В настоящее время район включен в Вологодскую область.

<sup>2</sup> Я сам удивился, увидев эти два слова в своем письме начала 1921 года. Значит, понятие «ревизская душа» тогда еще употреблялось (редко, конечно). Нынешний читатель его не знает. Объясню: «ревизская душа» — лицо податного состояния, занесенное в «ревизскую сказку»; «ревизской сказкой» назывался во времена крепостного права список лиц податного состояния, преимущественно крестьян, подаваемый при переписях — ревизиях — населения.

<sup>3</sup> Опять в письме архаизм.

А для того, чтобы не могли те или другие лица самовольно повышать или понижать, надо напечатать такие же оброчные книжки...». В таких книжках, рассуждал я, следует изложить правила процентного сбора продуктов сельского хозяйства, вносить записи «о выполнении наряда» и уплаты за него «деньгами или фабрикатами», а также об индивидуальном премировании, что, «без сомнения, исключит возможность произвола», он «сейчас наблюдается довольно часто и вызывает общее недовольство...».

Тут я коснулся того, что называл правовым положением крестьян. Я писал о частых обысках на крестьянских дворах, о конфискации телег и пр. «...Для поднятия авторитета власти необходимо, чтобы все жалобы крестьян направлялись в местные суды, которые бы публично разбирали эти жалобы, что, без сомнения, создало бы более осторожное отношение со стороны власти, а у крестьян убеждение, что для Советской власти — все равно, что крестьянин или власть имеющий», каждый «одинаково отвечает за свои проступки».

Впечатление от того, что я видел и слышал в Кирилловском уезде, было настолько сильным, что я писал: «...если до весны никаких решительных шагов в эту область не предпримем, то можем оказаться перед попыткой крестьянского реванша».

Я сделал пространные выдержки, чтобы читатель видел, что привлекло к себе внимание В. И. Ленина. А думал он тогда о главном — о переходе к новой экономической политике.

Должен подчеркнуть, что я был только одним из тех, с кем Владимир Ильич беседовал в период с VIII Всероссийского съезда Советов, состоявшегося в декабре 1920 года, и до марта 1921 года, когда собрался X партийный съезд. Как я позднее узнал, на съезде Советов М. И. Калинин по просьбе Владимира Ильича собрал группу делегатов — беспартийных крестьян. Ленин пришел на совещание, но не выступал, а слушал делегатов, которые без обиняков высказывали свои претензии и требования, говорили о наблевшем. В те недели Владимир Ильич читал сводки крестьянских писем, принимал ходяков, беседовал с работниками из провинций, с практиками. Тема все та же: положение в деревне, настроение крестьян. И самое основное — о союзе рабочего класса и крестьянства, каким может и должен быть этот союз в новых исторических условиях.

Загляните в «Даты жизни и деятельности В. И. Ленина», приложенные к каждому тому его Полного собрания сочинений. В томах приведены не все даты, а тем не менее какая впечатляющая картина! Из этого раздела видно, что в первой половине того самого февраля, когда я был вызван в Кремль, Владимир Ильич беседовал с уполномоченным Наркомзема по Сибири и членом Сибревкома В. Н. Соколовым о положении в сибирской деревне после введения там в 1920 году продразверстки и о предложении Соколова изменить формы разверстки, предоставив крестьянам право распоряжаться излишками хлеба; с членом коллегии Наркомата РКИ А. К. Пайкесом о переходе к новой экономической политике; с крестьянином Иркутской губернии О. И. Черновым, который прочел Владимиру Ильичу свой доклад о положении крестьянства и о продразверстке в Сибири; секретарем Тамбовского губкома РКП(б) Н. М. Немцовым (дважды — утром и вечером) и с тамбовскими крестьянами — двумя бедняками, двумя середняками, двумя кулаками — о продразверстке, об отношении к Советской власти<sup>1</sup>.

8 февраля на заседании Политбюро ЦК партии, которое обсуждало вопрос о предстоящей весенней посевной кампании и о положении крестьянства, Ленин написал «Предварительный, черновой набросок тезисов насчет крестьянства». Это был первый документ, определяющий новую экономическую основу союза рабочего класса с крестьянством, наметки конкретного перехода от политики «военного коммунизма» к нэпу.

Впервые он был опубликован летом 1930 года. Когда я читал его в «Правде», то только тогда полностью понял, почему Ленин пригласил меня для беседы. В моем письме он увидел какое-то отображение тогдашней жизни крестьянства в глубинном районе России и хотел выяснить еще некоторые подробности.

Понятно, что по дороге из Главода в Кремль я волновался: как воспринял мое письмо Ленин, что он скажет? То было естественное волнение рядового функционера, которого вызывает великий вожьд великой революции, а вовсе не волнение подчиненного, гадающего, ждет ли его начальственный гнев или поощрение. Могу полностью присоединиться к словам из воспоминаний о Владимире Ильиче Б. М. Волина: «Ни робость, ни тем

---

<sup>1</sup> См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 42, с. 580, 583, 584, 586—587.



более боязнь никогда не закрадывались в душу, когда мы шли к нему на прием или совещание»<sup>1</sup>.

Владимир Ильич, поздоровавшись, сразу начал спрашивать про то, какие раньше типы крестьянских хозяйств существовали в наших местах, каково было их положение до мировой войны, какое положение создалось к осени 1916 года, и особенно подробно о том, каково нынешнее их состояние. Он просил приводить факты. Еще он спрашивал: велики ли наделы у наших крестьян? Сколько и какой земли входит в надел: пахотной, сенокосной, пастбищ? Какая почва преобладает? Какие культуры выращиваются? Каков урожай?

Когда на последний вопрос я ответил: «сам-пят», «сам-шест», а «сам-сем» считается хорошим урожаем, то Владимир Ильич воскликнул:

— Какое варварское хозяйство! Сколько отнимает труда, а результат ничтожный.— И тут же спросил:— Может ли такое хозяйство обеспечить крестьянина?

Я ответил, что крестьяне никогда не жили одним землепашеством. У нас сравнительно неплохо было развито скотоводство. Многие крестьяне имели по две коровы, а некоторые и по три.

Ленин спросил, каков был прежде надой молока, куда оно сбывалось. Я сказал, что скупщик по договору со всей деревней законтрактовывал молоко для своей маслодельни, а масло отвозил в Рыбинск или Петербург, снятое же молоко возвращал крестьянам.

По поводу последнего Владимир Ильич заметил:

— Это не хозяйственно. Из снятого молока можно делать сыры. В этом случае молоко использовалось бы более рационально.— И тут же спросил:— А сколько скупщик платил за молоко?

— Когда я в детстве еще жил в деревне, то работал на маслодельне. Тогда цена была сорок копеек за пуд молока, а перед войной четырнадцатого года — кажется, полтинник.

— Да это же прямой грабеж! Сколько же скупщик наживал на молоке?!

— Он наживался не только на молоке. Он еще и лавку держал, в которой крестьяне за сданное молоко обязаны были брать товары. Такой же порядок существовал и на лесоразработках.

— Сколько около крестьянина было загребущих рук, сколько «колунаевых» и «разуваевых»! — Затем

<sup>1</sup> Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине. М., 1979, т. 4, с. 110.

Ленин спросил:— А какой был годовой доход крестьянина при двух коровах?

Я ответил:

— Самое большее — рублей 80—100 в год. Да рублей 50—60 на лесоразработках.

Владимир Ильич взял карандаш и начал в блокноте подсчитывать. Попутно, как бы уточняя, задавал вопросы:

— Только картошка? А овощей не было принято разводить? А из зерновых рожь и меньше овес? — И, подсчитав, спросил:— Как же жили крестьяне? Доходы чудовищно, неправдоподобно малы...

— Владимир Ильич, про нашу местность давно явят: «Улома дура, белянки без крупы»

Ленин невесело улыбнулся:

— Да, при урожае «сам-пят» не много круп наде-ласшь! Наверно, хлеба и на полгода не хватало.— И добавил:— Ничего-то про крестьянские хозяйства эти аграрные «теоретики» не знали, зато обывательской спеси хоть отбавляй.

Помолчав немного, заметил:

— Пожалуй, нам придется подумать о контракта-ции сельскохозяйственных продуктов.— И после не-большой паузы:— Но для этого надо иметь достаточное количество промышленных товаров и устойчивые цены.

Потом спросил:

— А сокращение запасек земли в настоящее вре-мя вызвано сокращением поголовья скота и лоша-дей?

— Нет, Владимир Ильич, не только этим. Мне крестьяне нашей деревни и соседних деревень прямо говорили, что нет никакого смысла подымать хозяй-ство, когда все отбирают.

Ленин показал рукой на мое письмо:

— Вы в письме предлагаете заранее установить нор-му взимания продуктов с крестьянского хозяйства. А куда крестьяне будут девать излишки? Продавать? Зна-чит, нужна торговля?

(Я подумал: вот писал о нормах взимания продук-тов, а мне и в голову не пришло, что это вызовет.)

Ленин подчеркивал что-то в блокноте и как бы про-себя вполголоса проговорил:

— Теперь увеличение сельскохозяйственных про-дуктов — основное. Старые объемы крестьянского хо-зяйства при старых формах в дальнейшем не могут удовлетворить потребности страны.

Всю глубину этой ленинской мысли я осознал годы спустя, когда развернулась социалистическая индустриализация СССР и коллективизация сельского хозяйства.

Меня поразил всесторонний интерес В. И. Ленина к тому, что волнует трудящихся, каковы их будни, повседневные тревоги и заботы. Прежде чем предложить какое-нибудь важное политическое решение, Владимир Ильич тщательно изучал вопрос. И вот что очень и очень существенно: изучал не только по официальным документам, статистическим и другим данным, по прессе, но и в живом, непосредственном, непринужденном общении с практиками, с людьми из массы.

Эта моя беседа с Владимиром Ильичем была последней. Больше, увы, не довелось...

**1**

*«Улома дура, белянки без крупы». — Изыскания статистика из Кирилловского уезда. — Наследие крепостного права. — Трехклассная деревенская школа. — Мне уготовлена роль «мальчика» в Петербурге. — Выпадет ли «фарт», найдут ли «линию жизни»?*

11

**2**

*С берегов Шексны на берега Невы. — Булочные заведения капиталистического толка и патриархального уклада. — Всегда в синяках и кровоподтеках, голодный и невыспавшийся. — Изнанка хозяйской «доброты». — Штрейк-брехеры.*

19

**3**

*И на Васильевском острове не слаще. — Три моих самых страшных врага. — Маленькие радости. — Первое столкновение с полицейским. — «Есть на свете и правильные люди...» — Цепочка вопросов. Кто на них ответит?*

26

**4**

*Разговоры о Кровавом воскресенье. — Впервые услышанное слово «революция». — Студенты, листовки, бомба. — Прокламация в пекарне. — Что такое «РСДРП»? — «Серяк» досаждаст своим врагам.*

29

**5**

*Старший приказчик «вразумляет» нас примером пекарей Лондона. — Студент называет мне имя Карла Маркса. — Первый урок политграмоты. — Тетрадка, с которой началось мое политическое самообразование. — Прокламация о крестьянстве.*

35

**6**

*Перевод на Румянцевскую площадь. — Катастрофа: меня выгоняют с работы. — Только рабочие помогают рабочим. — Заработок на Калашиниковской набережной. — Почлежка для беспаспортных. — Знакомство с «дном».*

44

267

Как цепка в половодье...— «Хочу быть с вами, с революционерками».— Царский манифест.— Воззвание ЦК РСДРП.— На улицах Питера в день 18 октября.— Ночевка в покойницкой.— Как я чуть не стал штрейкбрехером.

53

Снова «господил случай».— В новой пекарне.— Конфликт.— Первая годовщина Кровавого воскресенья.— «Спасибо, товарищ Дмитрий, за рабочую поддержку».— Поход за десятью гитарными струнами.— Читаем большевистскую «Волну».

61

Первое собрание.— Профсоюз начинает забастовку.— Требования к хозяевам.— Разгаданный маневр.— Печи погашены, работа остановлена.— Держаться тесно, дружно, стойко!

71

Связной профсоюза.— В пикете.— На пароходе с красным флагом.— Безуспешные попытки хозяев расколоть ряды стачечников.— Соглашение. Забастовка окончена.— Почему старший пекарь покидает Питер.— Меня увольняют.

75

Земляки-революционеры.— В Народном доме Паниной впервые вижу и слушаю Ленина.— Я занесен в черный список.— Попытка разобраться в экономическом учении Маркса.— Первое устное выступление.— Философская записная книжка.

81

Уроки конспирации.— «У Каспари, у ворот, стоит Рачеевский завод».— В роли зачинщика забастовки.— Третьеиюньский переворот.— Вступаю в большевистский кружок.— Изучение основ политической экономии, дискуссии «на злобу дня».

88

Первые партийные поручения.— Кампания выборов в III Государственную думу.— Агитация среди «молодцов» торговых заведений.— Рабочие клубы.— Баталии между большевиками и ликвидаторами.— Ответ школьнице из далекой деревни Никитцы.

96

Центральная городская группа РСДРП.— Получено задание: создать нелегальную типографию.— Конспиративная квартира на Алексеевской.— Как «сбывались» напечатанные прокламации.— Провокатор. Обыск. Арест.

103

15

*В одиночной камере.— Случай на прогулке.— Пытка «смешанным» карцером.— Тюремный университет.— Две «невесты».— Как держаться перед жандармским следователем?*

109

16

*В карете на Таврическую.— Допросы в жандармском управлении.— Игра в протаска.— Следствие подделывает мою метрику.— Из «Крестов» в «предварилку».— Суд. Приговор. Высылка.— Человек без паспорта.*

115

17

*Возвращение в Петербург.— Начало нового революционного подъема.— Партийные поручения.— Вербую рабкоров для большевистской «Звезды».— Об одном «рабочем аристократе».— Нелегальное пристанище.*

122

18

*Расстрел рабочих на Ленских приисках.— Боевые призывы «Звезды».— Распространяю газету у заводских ворот.— Разговор с Ольминским.— Массовые стачки, политические демонстрации.*

129

19

*Минусы и плюсы апрельских выступлений.— Инициатива «пизов», возникновение «майских комитетов».— История первомайской прокламации и как ее оценил Ленин.— «Боевики» 1912 года.— Расправа у Апраксина рынка.*

136

20

*Рождение «Правды».— С Ивановской улицы — на фабричные окраины.— Становимся заправскими газетчиками.— Гордое звание: «Правдист».— Второй арест, вторая высылка.— Нелегальное возвращение в Питер.— Кампания выборов в IV Думу.*

143

21

*Страховая кампания.— Решения Пражской конференции и Краковского совещания.— Агитация против думского законопроекта.— Борьба в Думе между «шестеркой» и «семеркой».— Третий арест.— Ссылка в Сибирь.*

152

22

*Питерский пролетариат поддерживает бакинских товарищей.— В преддверии мировой войны.— Германские суда вывозят продовольствие из России.— Полиция стреляет в путиловских рабочих.— Июльские демонстрации.— На паровичке за Невскую заставу.*

159

23

*Политические беседы.— Движение выходит за рамки трехдневной забастовки.— Портовые грузчики примыкают к фабрично-заводским рабочим.— Меня опознали.— Баррикады.*

167

269

*Первые из Петербурга без коновя. — Архангельск. — Война. — Нахожу единомышленника-ленинца. — Организация рабочих кружков. — Нелегальное возвращение в столицу. — Питер первого военного года. — Отъезд в деревню. — Повестка.*

172

*С маршевой ротой — на Северный фронт. — Как агитировать окопников? — Знакомство в полковой канцелярии. — Организация нелегальной ячейки. — Наши листовки. — Связь с рижским подпольем. — Революционные события нарастают.*

176

*В Петрограде революция! — Первое легальное партийное собрание. — Солдатские комитеты. — Изучаем Апрельские тезисы Ленина. — Борьба против социал-оборонцев. — Как мы разоблачали замыслы контрреволюционного генералитета.*

186

*«Окопная правда». — День — полкам и дивизиям, ночь — газете. — Поездки в Петроград. — Всероссийский крестьянский съезд. — «Открытое письмо» и речь В. И. Ленина.*

195

*Растет численность армейской организации РСДРП(б). — Клеветы контрреволюционеров и социал-шовинистов. — Волна репрессий. — Сиверса выманяют из полка и отправляют в петроградскую тюрьму. — «Визит» к командиру корпуса. — Июльские события.*

203

*Разгром «Окопной правды». — Выпускаем «Окопный пабат». — Контрреволюционеры сдают Ригу немцам. — Большевицки настроенные полки преграждают неприятелю дорогу на революционный Петроград. — Подавление корниловского мятежа.*

210

*Приезд Антонова-Овсеенко. — Образование армейского Военно-революционного комитета. — Оперативный план восстания. — Солдаты корпуса переходят на сторону Советской власти. — Занятие Валка. — Победа революции в XII армии.*

216

*Из Валка в Петроград. — Меня оставляют в столице. — Открытие Чрезвычайного Всероссийского крестьянского съезда. — Тактика большевистской фракции. — Репортаж Джона Рида.*

222

**32**

*В Смольном у Владимира Ильича.— Речь Ленина по аграрному вопросу.— Обсуждение резолюции.— Исполком крестьянских Советов сливается со ВЦИК.— За темной ночью день вставал...*

228

**33**

*Выборы Исполкома крестьянских Советов.— Я становлюсь членом ВЦИК.— Очередной Всероссийский крестьянский съезд.— Выступление Владимира Ильича.— Контакт рабочих, солдат, крестьян.*

235

**34**

*ВЦИК и его отделы.— Переезд Советского правительства из Петрограда в Москву.— Чрезвычайные меры Советской власти против кулачества.— Истерика левых эсеров.— Переход на работу в ВЧК.*

241

**35**

*Мандат Всероссийской Чрезвычайной Комиссии.— Изучаю транспортное дело.— В Резвоенсовете республики и в Наркомате путей сообщения.— Поручение Ленина.— Поездка в Архангельск.— Трудовой подвиг северян.*

251

**36**

*Комиссар Главвода.— Первый в жизни отпуск.— Снова в Великом Дворе.— Разговор у М. И. Калинина.— Письмо во ВЦИК и в ЦК РКП(б).— Беседа с Владимиром Ильичем.— Ленин вникает в опыт и наблюдения практиков.— Канун перехода к новой экономической политике.*

256



**Дмитрий Иванович Грязкин**

## **ЗА ТЕМНОЙ НОЧЬЮ ДЕНЬ ВСТАВАЛ...**

Воспоминания старого большевика

---

Заведующий редакцией *К. К. Яцкевич*

Редактор *В. Г. Букатова*

Младший редактор *Г. А. Карликова*

Художник *В. П. Логинов*

Художественный редактор *Г. Ф. Семиреченко*

Технический редактор *Ю. А. Мухин*

**ИБ № 3439**

Сдано в набор 04.01.82. Подписано в печать 07.05.82. А00093. Формат 84 × 108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Услови. печ. л. 14,28. Услови. кр.-отт. 14,49. Учетно-изд. л. 15,38. Тираж 200 тыс. экз. Заказ 1978. Цена 55 коп.

Политиздат. 125811, ГСП, Москва, А-47, Миусская пл., 7.

Ордена Ленина типография «Красный пролетарий»,  
103473, Москва, И-473, Краснопролетарская, 16.